

НИНА КАТЕРЛИ

СЕННАЯ ПЛОЩАДЬ



литературное приложение
к альманаху
«ПЕТЕРБУРГ. XXI ВЕК»

От Издателей

Издательский отдел
фирмы «ПОЗИСОФТ»

приступил к выпуску ряда книг,
группирующихся в серии: Петербург. XXI век, Sфинкс, Семинар Ф.

Одна из этих книг, выходящая в как приложение
к альманаху

«ПЕТЕРБУРГ. XXI ВЕК»

в ваших руках.

Эти книги

будут тщательно выбираться и составляться
под руководством

Б. Стругацкого.

Они будут разных жанров:

фантастика, детектив, "суровый" реализм,

но

объединены они будут

петербургской тематикой и петербургским духом,

а также высоким качеством.

Тираж их будет невелик,

не для массового читателя,

а для избранных.

Волею типографии

сначала выходит приложение альманаху,

но в самое короткое время выйдет

сам альманах.

Заявки на альманах и приложения к нему
можно направлять по адресу:

г. Санкт-Петербург, Московский пр. 189,
книжный магазин «ЭНЕРГИЯ».

Литературное приложение к альманаху

Б.Н.Стругацкого

«Петербург. XXI век»

Редколлегия альманаха:

Главный редактор:
Борис Стругацкий

Члены редколлегии:
Владимир Васин
Андрей Измайлов, ответственный секретарь.
Александр Полуда
Вячеслав Рыбаков
Андрей Столяров.

Ответственный за выпуск серии:
В.Васин.

Книги серии:

Нина Катерли. Сенная площадь

Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий. За миллиард лет до конца света.

Андрей Измайлов. Час тref.

Вячеслав Рыбаков. Дерни за веревочку.

и другие...

«ПОЗИСОФТ»

НИНА КАТЕРЛИ

СЕННАЯ ПЛОЩАДЬ

повести:

Сенная площадь
Червец

рассказы:

Волшебная лампа
Коллекция доктора Эмиля
Человек Фирфаров и трактор

вступительная статья
Ольги Хрустальной и Андрея Кузнецова

"Home Fantasy"

Санкт-Петербург

1992

Н. Катерли.

**Сенная площадь. Повести и рассказы. - СПб
СП «СОВИТТУРС», 1992, 320с.**

Сборник повестей и рассказов известной петербургской писательницы Нины Катерли. Грусть и ирония переплетаются в фантазмагорическом мире нашей странной реальности.

**Нина Катерли
Сенная площадь**

Подписано к печати 01.1992 г. Формат 84x108 1/32.
Бумага офсетная № 1. Гарнитура - «Таймс».
Печать офсетная. Усл. печати. листов 16,8.

Тираж 30 000 экз. Заказ № 53.
Отпечатано в типографии им. И. Е. Котлякова.
195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, д. 13.

- © Б.Н.Стругацкий, составление, название серии.
- © В.С.Бедин, обложка, разработка серийного оформления.
- © О.Хрусталева, А.Кузнецов. Вступ. статья.

Компьютерный набор: Ю.Брундасов, О.Пономарева, О.Радько.
Компьютерная верстка - А.Полуда, В.Васин.
Корректор - Е.П.Темлякова.

Издание подготовлено Т.О.О. «ПОЗИСОФТ».

HOME FANTASY

Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, ясные и очевидные выходы из которых нас не устраивают. Но мы к подобному привыкли. То есть к такому положению дел, когда кругом — сплошь безысходность. Словно живем в заколдованном месте: куда не пойдешь, окажешься там, где начал. Речение «все дороги ведут в Рим» к нам не относится. Или относилось. До недавнего времени, которое еще живо — в нас ли, в этой ли книге. Оно узнается безошибочно, его приметы — особую серенькую погодку (будто и не бывало тогда иной), вечно хныкающую неприменную морось, оседающую на плечи и душу, расфокусированную перспективу, мокрый снег и липкую гадость под ногами, «сезон дождей» — тусклые семидесятые годы, — ни с чем не спутаешь, как собственные воспоминания. Этот ком в горле и мозгу, непроваренность эмоций, невнятица отношений, обязательный двойной кофе и дешевое вино, государство с его низкой облачностью и никогда просветом в звезды — этот пресс, давящий, давящий, давящий так, что сутулость, руки в карманах, опущенная голова и уголки губ стали видовой особенностью.

Там-то и родился специальный жанр, неведомый западу, у которого с перспективой и ночным небом все было в порядке, жанр «HOME FANTASY». С его прирученной мистикой, советским оккультизмом и коммунальными чудесами. С его жизнью, спрессованной в пятиэтажки, очереди, транспортные давки. С одним бытием на всех, прикрытым одним душным, ватным сознанием.

Это там, в семидесятых, возникла твердая вера в то, что хороший человек никогда ни при каких обстоятельствах не может быть счастлив. Или не должен, если угодно. Вера — на то и вера, чтобы диктовать нравственные императивы. Хороший человек — несчастный человек. Он не умеет сделать карьеру, добиться успеха, достать — все равно что. Деятельные глаголы в совершенной форме не подходят к нему так же, как смокинг с бабочкой, в котором он, даже подумать страшно, как будет выглядеть.

Идея общего несчастья — в отместку ли, или в назидание государству — отпечаталась на менталитете. Скажем спасибо, если не стала его составляющей. Отсюда и метаморфозы (чувствуете, как режет слово данный контекст, а «превращения» тоже не выговаривается — элемент чудесного дает надежду на невозможное счастье), происходившее с персонажами. Возьмите наугад — не ошибетесь. Но для подсказки, например, — «Коллекция доктора Эмиля»: «Даже глаза открывать было тошно. Тусклый свет почему-то все время трусливо моргающей лампочки, падал на пыль в углу... Дождь за окном шумел, плескал и хлюпал со вчерашнего вечера, от которого Лаптева отделял длинный, отвратительный, как всегда неудачный день». Вот тут-то и начинается самое страшное — бытовая фантастика, умудряющаяся за вечер перелопатить жизнь и обернуть ее всем, что представлялось решительно недостижимым: удачей, успехом, любовью, вниманием и (стыдно сказать) деньгами. Она является несуразной псиной с короткими лапами и понимающе-грустными глазами, экспонатом из коллекции «гармоничного колдуна» Эмиля. И погода проясняется, и девушки улыбаются, и собака машет хвостом рядом, и ... герой (он уже вполне герой — в импортном пальто, пушистой шапке — победитель из разряда хозяев жизни) стремительно катится в нравственную пропасть. Вернее — в бездну безнравственности. Собаку не выгуливает. К благодетелю Эмилю благодарности не чувствует. А ведь она была единственным условием, благодарность-то. Не деньги, не подарки — душевная признательность. Эмиль тем самым что-ли душу его требовал. Не насильно, не дьявольским договором и шагреневой кожей, нет. Добровольно. Не открыл Лаптев душу. Потому что нечего уже было открывать. Ссохлась душонка, зачерствела. Собака же пропала, с ней — все остальное, а Лаптев остался со своим разбитым корытом.

Такая история. Такие только и рассказывают в заколдованном месте, где мысль ходит вокруг колышка — веревку порвать не в силах или не знает, что веревка вообще существует. Это наш опыт, все нутро наше воет: вот оно, ваше счастье

дурацкое, нате, подавитесь, коли через него человека корежит до полного неузнавания. Потому от формулы про кузнеца нас тошнит. Знаем мы, как куют, видели. И про птицу для полета тоже слышали. Не верим. Верим: хороший человек — всегда несчастен. Может быть, в Америке — неограниченные возможности, но когда туда попадаешь, понимаешь, что возможности — не для тебя. Впрочем, это — из другой книжки, хотя и рожденной тем же менталитетом, хотя и написанной в США. Счастье сваливается настолько внезапно, что никто не оказывается готовым. Оно настигает душу врасплох, и та испуганно ежится под слепящим светом, не понимая, что делать. Там, в «Коллекции доктора Эмиля» есть любопытная и крайне верная догадка. Но о ней потом. Мы уже попали в яркое освещение волшебного фонаря и пока осмотримся.

В отечественной традиции тепло ассоциируется с чем-то устойчиво хорошим. В том числе — тихим, ясным свечением ночника, свечи, голубого огонька, не спящих окон, зеленой лампы (пушкинской и булгаковской) — со всем, что очерчивает круг, выделяя, объединяя, собирая подле и под. Не называя, а, быть может, даже не думая, вступающие в световое кольцо прикасаются к магии, ее маленьким домашним проявлениям — атмосфера теплеется. Фонарь, скажем, на улице, разве по прихоти автора может оказаться волшебным. В обычном же случае мы имеем дело с классическим блоковским светом, бессмысленным и тусклым. Или ярким, но холодным и потому неоновом-мертвенным. Лампа должна находиться в руках, обязательно хороших: иначе выпущенный на волю джинн разом организует что-нибудь поганое. Мы, впрочем, — не на востоке (хочется верить), и разборки у нас — помельче. Хотя главное условие остается: лампа не может быть новой. Ей положено быть старой, чтобы — волшебной. Тогда начинаются чудеса.

Добавим патетики (не свойственной сказкам) и воскликнем на манер буржуинов из сказки советской, коей без патетики не обойтись (когда веры нет — берут на голос): да что же это за страна такая, где людям непременно подавай волшебную лампу, чтобы они отнеслись друг к другу, друг друга увидели,

поговорили как друг с другом. Да что же это за люди такие, которые не могут ничего сами, без привнесенного извне, случайно попавшего, свалившегося с антресолей. Да что же это за психология такая, какой мы слыхом не слыхивали, нюхом не нюживали, где ничье в то же время навсегда и безраздельно мое.

Самое чудесное — свет волшебной лампы, преображающий обыденность в минуту счастья просто так и ни за что, — не есть чудо. Затем и место заколдованное, чтобы все в нем происходило навыворот. Или, по словам великого Венички Ерофеева, — «Все на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян».

Да в том-то и дело, что человек наш, персонажи наши (этой книжки) — не грустны, а тоскливы, не растеряны, а неприкаянны. Тоска же и мыкание по углам скапливают в организме злобу, брызгливую, раздражительную злобу с мелким дрожанием в членах. Разве вот — лампа горит, тихо сияет, и лица размягчаются, как корки в воде, и беседа льется, и сидящие под лампой любят сидящих под лампой (читать — под колпаком — не обязательно). Такой вариант советского наркотика, действие которого, конечно, тоже ослабевает и требует новой дозы. Только герой «Волшебной лампы» ни причин, ни последствий уразуметь неспособен, почему и поступает простодушно: берет лампу да идет любить и любитя другими. Не ведая, что расплата уже звонит в дверь. Являются попавшие в светлый круг, злобные, противные, говорят — зачем, дескать, отнял у нас лампу. Мы ведь, ничего, привыкли, а тут — нечаянная радость, негаданная дружба, нежданная любовь. Дал — забрал. А наше счастье? Кому оно теперь принадлежит, куда от нас делось?

Тут рассказ делает кульбит: лампа превращается в отвратительного паука с кривой усмешкой, спеша согнуться куда-то в угол. Вот оно — ваше счастье. Положим, с точки зрения наркотиков... Хотя с другой стороны... Не станем ничего додумывать за автора, если автору того не хочется: «Вот на этом мы, пожалуй, и закончим наш рассказ, так как сказать нам больше

нечего, разве что признаться, что не только у Иванова, но даже у автора эта грустная история оставляет чувство растерянности и изумления».

Только не надо путать автора с Ивановым из «Волшебной лампы» или Лаптевым из «Коллекции доктора Эмиля», не нужно отождествлять его с персонажами. Они так думают и чувствуют. Если же мы думаем вместе с ними, им сочувствуем или наоборот, то уж это — не вина. Ни наша, ни автора, о котором по традиции следовало бы сказать несколько слов.

Несколько и скажем. Нина Катерли — ленинградский прозаик. Ныне — петербургский, что — неправильно. Поскольку жизнь в ее нескольких книгах — сугубо ленинградская, с петербургскими местами, их аурой, воздухом, осевшим сизым дымом на дно граненого флакона уже не существующих духов, не пересекается. От бывшего, не ныне здравствующего Петербурга остались «Окна» и «Цветные открытки», если названия книг прочитывать как смысловые знаки. Ни площадей, ни перспектив, ни архитектурных особенностей. Их не видят персонажи — головы опущены. Даже если взлетают, чтобы навсегда покинуть, под крылом самолета напоследок видно немного: «А вот и он - город: белые кубики новостроек, блестящий купол Исаакия. И сразу — плоская, неживая равнина Финского залива, а дальше — ворсистая и белесая облачность. Все. С Петербургом уходит и его мучительно-властная фантастика, нет — фантазмагория — слово под стать городу. Остаются унылые, бессмысленные чудеса, иногда, правда, одомашниваются.

Элемент фантастики для того и входит, присутствует в повествовании, чтобы вывести однообразную жизнь из автоматизма, чтобы напомнить двуногому о его человеческой сущности.

Если теперь подобные функции приходится выполнять, например, трактору, следующему за избранным хозяином с тихой покорностью собачонки, — так что ж? Глядишь, теперь некто по фамилии Фирфаров вспомнит, к какому племени принадлежит, к какому роду, если продолжать трактовать на-

звания. «Человек Фирфаров и трактор» — который из них живее, то есть одушевленное, — еще посмотреть. На поверку выходит — трактор. Преданность, самоотдача, доверчивость, любовь являются на свет божий, когда есть что предавать, отдавать, чем доверять и любить. А где она, душа гнездится — Бог знает. Почему бы, в конце концов, и не в сплетении труб, шестернях, подшипниках? Это ведь не наш с вами промысел — Божий. Вот только беда — утомляют очень и безоглядная преданность, и беззаветная любовь. А уж от детской (собачьей) доверчивости с полной самоотдачей — неизвестно, куда бежать. Свои-то счеты с жизнью, которая норовит навалиться пьяной, сомлевшей бабой, не свести, не стряхнуть с плеч давящих объятий, а тут — трактор. Словом, от чудесного спасается герой, как от ладана. Чудеса потом тоже уходят, сами и неприкаянные.

В другой книге Катерли, в «Цветных открытках», есть схожий рассказ, но без фантастики и с иной концовкой — «Несъедобный друг профессора Расторгуева». Там, правда, вместо собаки и трактора появляется поросенок, купленный для развлечения внука и прижившийся на даче. Так что несъедобность его — переносная, в высшем, что ли, смысле. Пока поросенок вырастает в борова, между профессором и родимой дочерью разгорается конфликт, вполне реальный, хотя и освященный литературной традицией (мы в ответе за тех, кого приручили — по утверждению Экзюпери): зарезать и вернуться в налаженный городской быт или послать к чертям прелести социальной жизни, продолжая опекать животное. Профессор выбирает последнее, даже собирается отписать животное в наследство более молодому коллеге, поскольку тот друзей не ест. То есть кажет Расторгуев характер, силу воли, умение противостоять обстоятельствам. А рассказ светится рождественной игрушкой. Сияли бы вместе с ним и мы, кабы не сомнение в заданных правилах игры. Расторгуев-то — ведь уже профессор. От толстовской жизни на даче у него ничего не убавляется. Напротив, телефоны не мучают, сослуживцы не доставают. Сидит себе профессор, пишет статьи, книгу, только что рисовые

котлетки не кушает в знак солидарности с боровом. Потому и вера в возможность реальных чудес в заколдованном месте оказывается сказкой.

Да и профессор такой — не вдруг сыщется. В повести «Червец» подобных по званию — целый выводок, а со стержнем внутри — ни одного. Потому что вскормлены персонажи теми же семидесятыми. Их легко опознать хотя бы по дворнику со степенью кандидата и породистым лицом, как бы вопрошающим «чем могу служить, милостивый государь?». В Питере тогда сие было явлением повседневым: дворнички с непризнанными гениями, антропософские котельные, ночные сторожа с «Кама-Сутрой». Кто-то из них, тех, ассоциирующих себя с ушедшей культурой, приплачивал квартирной хозяйке, чтобы она непременно встречала ласковым «доброе утро, барин» и «барин, покойной ночи» откланивалась. Впрочем, этих семидесятых, попавших в круг подполья, выращивавших «вторую культуру», не стоит искать в книге Катерли. Она принадлежала литературе, никогда на терявшей надежду на публикации, не печатавшейся или выходившей с кровавыми правками, но надежды не терявшей. Потому и дворник в повести — калиф на час — нормальный научный сотрудник, сосланный отбывать трудовую обязанность в то время, как другие — с благозвучными фамилиями — за границей.

Научно-технические сотрудники — фирменная марка семидесятых. В те годы шагу нельзя было ступить, чтобы не уткнуться в проблемы среднего или высшего научного звена. КБ, НИИ, лаборатории перекочевали из геройских, с бесконечными подвигами во славу прогресса шестидесятых, но и обратным законом: никакого сгорания на работе (дымные курилки, анекдоты с причмокиванием, шепотком в ушко) не требовалось. Стодвадцатирублевая синекура таила в себе призрачную перспективу великой халявы в виде заграничных поездок, академических пайков и загородных дач с неприступными заборами. Это были места, где отсиживалось мыслящее народонаселение, искренне считавшее, что писание многостраничных липовых отчетов есть наилучший способ

противостояния системе. Истинное противостояние, кстати, тоже присутствовало: внутренняя эмиграция разработала особый терминологический язык для посвященных, взятый напрокат у, например, структурализма. На языке сем можно было изъяснять вполне крамольные по тем временам идеи без опаски быть понятым, пойманым, ущученным номенклатурными профанами со звездочкой или без. От пребывания за глухой стеной семантических парадигм, бинарно экстраполирующих модус адекватного дискурса бытия на феномен ментальности, — в крови остался панический страх социальных отпавлений индивидуума, обязательно трактующихся как безнравственная продажа души. Хотя посвященному кругу почему-то в голову не приходило, что дивное владение басурманским языком оплачивает опять-таки государство. Но тогда многое не приходило в голову. А ныне особой разницы между сознательным обегориванием чиновников и безотчетной с ними солидарности уже не заметить. Все были одним мирром мазаны.

Кроме некоторых. И тогда начиналась домашняя фантастика. Там (здесь?), где случайно поименованный Лихтенштейном ребенок получал графу в анкете, от которой приходилось бежать в страну, этой графой являющуюся. Там (до сих пор — здесь), где еврейский вопрос мучает, как страшный сон, но разрешимее не становится, усугубляясь чисто русской дилеммой «ехать - не ехать». Причастными к ней оказываются все персонажи. Даже Червец, давший название повести, под финал превратившийся из длинного вафельного полотенца с цыплячей шеей и трогательной беззащитностью в наглого совкового софиста с антисемитским уклоном и надрывным страданием за отечество, наполовину состоящее из инородцев. Видать, его в институте научном экспериментами по замерам температуры умучали. К тому же, чудесное его появление никого особенно не поразило: взяли да использовали для составления тяготных отчетов. Какие тут чудеса, когда потеряна способность удивляться, как чувствительность.

Тычутся персонажи в теплое брюхо общежития слепыми кутятами и знать ничего не хотят. Слепленность, скупенность давно отучили их от зрячести — все какая-то пелена перед глазами, то серая, то кумачовая. Разве морок иногда накатит на Сенной площади (не Мира — Петербург о себе напоминает), сгущая суетливый ужас. Это в заколдованном месте образовалась черная дыра — «Треугольник Барсукова», — поглощающая случайно отбившихся от стада. Остальные удерживаются на плаву исключительно теснотой общего бытия. «Это ведь Родина. Что же ты плачешь, дурак?». Вряд ли стоит что-нибудь добавлять к фразе Бобышева, взятой эпитафией.

Скажем об авторе. Не нам судить, почему у него такие персонажи. Как муза надиктовала, так и есть. А вот плачет автор сам. По собственной воле и велению собственного сердца. Под диктовку не получится. Плачет, потому что жалеет. Любит.

Там, в «Коллекции доктора Эмиля» есть одна догадка: любовь окружает человека как бы силовым полем, возводя преграду для злобы, ненависти, неудачи.

А счастье?

СЕННАЯ ПЛОЩАДЬ

глава первая

УЖАСНЫЕ НОВОСТИ

1

Марья Сидоровна Тютинина, по обыкновению, встала в восемь, позавтракала геркулесовой кашей, вымыла посуду за собой и мужем и отправилась в угловой «низок», где накануне определенно обещали с утра давать тресковое филе.

Марья Сидоровна заранее чек выбивать не стала, а заняла очередь, чтобы сперва взвесить. Отстояв полдня, уж полчаса всяко, она оказалась, наконец, у прилавка, и тут эта ей сказала, что без чеков не отпускаем. Марья Сидоровна убедительно просила все же взвесить полкило для больного, потому что она здесь с утра занимала, а к кассе полно народу, но продавщица даже не стала разговаривать, взяла чек у мужчины и повернулась задом. Из очереди на Марью Сидоровну закричали, чтоб не задерживала — всем на работу, и тогда она пошла к кассе, сказала, что ей только доплатить и выбила семьдесят копеек. Но к прилавку ее, несмотря на чек, не пропустили, потому что ее очередь уже прошла, а филе идет к концу.

Когда Марья Сидоровна сказала, что она здесь стояла, то одна заявила, что лично она никого не видела. Бывают же люди на свете! Марья Сидоровна связываться не стала, а пошла в «хвост» очереди и отстояла еще двадцать минут, а за три человека до нее треска кончилась.

2

Петр Васильевич Тютин, муж Марьи Сидоровны, пенсионер, любит читать газеты и общественно-политические журналы, потому что он ветеран и член партийного бюро ЖЭКа. Выходя в среду утром из дому, он взял с собой мелкие деньги в сумме, требуемой для покупки «Недели» и «Крокодила» плюс две копейки, чтобы позвонить в квартирную помощь и вызвать врача к жене, заболевшей нервным потрясе-

нием от вчерашнего. В телефонной будке Петр Васильевич частично по рассеянности, а отчасти в расстройстве бросил в щель таксофона вместо двух копеек гривенник. В поликлинике ему грубо сказали, что невропатологи на дом не ходят, а к старше шестидесяти — так уж просто смешно, хоть стой хоть падай; а когда Петр Васильевич потом пришел к газетному ларьку, то ему, естественно, не хватило восьми копеек и пришлось остаться без «Крокодила».

3

Тютинна Анна после окончания восьмилетки прошла по конкурсу в газотопливный техникум, где на танцах познакомилась с волосатым Андреем, сыном профессора из интеллигентной семьи. Непонятно, кстати, что это такое за интеллигенты в кавычках, если сыновья у них не могут постричься, как люди, а ходят, похожие на первобытного человека.

На последнем курсе Анна с Андреем поженились, после чего он пошел учиться дальше, в технологический институт, к папе; Анна же была вынуждена работать по распределению на абразивном заводе в три смены, чтобы содержать семью, а стипендии охламон не получал из-за успеваемости, которая, несмотря на блат, была намного ниже средней.

Родители Анны, Петр Васильевич и Марья Сидоровна, в качестве пенсионеров не могли все время помогать молодым материально, а отец Андрея оказался подлецом и, будучи профессором химии, не давал сыну ни копейки, якобы, из принципа — раз женился, потрудись сам себя содержать, а на самом-то деле потому, что ненавидел невестку, считая ее и ее родителей ниже себя. И, наверное, имел две семьи, как они все.

Закончив институт, Андрей при помощи отца все же устроился в аспирантуру, а Анна продолжала ломить сменным мастером термического цеха, имея к этому времени уже двух детей от трех до пяти лет.

Еще через четыре года Андрей защитил кандидатскую и стал получать двести пятьдесят рублей в месяц; у Анны же как раз в это время от недоедания и нервов открылся миокардит, и тут случайно выяснилось, что этот мерзавец встречается с другой женщиной, аферисткой и «сотрудницей отца», то есть дочерью другого богатого профессора, такого же прохиндея, как они все.

Марья Сидоровна и Петр Васильевич имели все основания обратиться к руководству, чтобы сохранить семью, но у них-то блага нигде не было, и они посчитали это ниже достоинства. Теперь Андрей живет в новой квартире на Типанова с новой бабой, похожей на селедку в шубе, оба профессора сами не свои от радости, а, между прочим, кандидатского жалования ему бы сроду не видать, если бы Анна не отдала за это всю свою молодость и здоровье.

Сама Анна, оставшись с миокардитом и двумя детьми, теперь правильно думает, что, как говорят родители, лучше вырастить детей одной, чем жить с подлецом, недалеко укатившим от своей яблони.

4

Антонина Бодрова, соседка стариков Тютиных по дому, сказала своему Анатолию, что если он с ней зарегистрируется, то она пропишет его постоянно к себе на 18 метров. Анатолий на это ей возразил, что поскольку она старше его на четырнадцать лет, то он поставит свои условия, а именно: что сына Антонины Валерика он кормить не собирается и считает выблюдком с еврейской кровью.

Антонина давно догадывалась, что Валерик, возможно, родился у нее от заведующего винным отделом Марка Ильича, но уверена не была, а уточнить не могла, так как Марк Ильич отбывал срок в колонии усиленного режима за растрату и дачу взятки должностному лицу.

Лично сама Антонина к Валерику ничего не имела — ребенок не виноват, хотя цвет глаз и нос ребенка намекали на его происхождение. Под давлением Анатолия Антонина пообещала

щала ему устроить Валерика в круглосуточный садик, но вскоре Анатолий раздумал, согласия на это не дал и сказал, что детский дом — это его последнее слово как гражданина и патриота своей страны.

Антонина трижды обращалась в Райисполком и различные комиссии по делам несовершеннолетних, но ей везде указывали, что это ни на что не похоже, когда мать так поступает. Антонина сутки плакала и побила Валерика, а Анатолий велел ей поторапливаться с решением вопроса и пригрозил, что его обещала прописать дворник Полина, женщина хоть и совсем в летах, но полная и без всякого потомства.

Тогда Антонина выпила натошак «маленькую», отвела Валерика на московский вокзал, взяла ему детский билет в один конец — до Любани, посадила в электричку, купила эскимо и сказала, что в Любани его встретит бабушка по матери Евдокия Григорьевна. Мальчик поверил родному человеку, хотя и помнил, что бабушка в прошлом году умерла в Ленинграде от паралича и лежит на кладбище, где растут цветы.

Когда поезд с Валериком ушел, Антонина вернулась домой и сказала Анатолию, что можно идти в ЗАГС. Они выпили пол-литра и еще «маленькую» за все хорошее, легли на тахту и уснули в обнимку, а Валерик в это время плакал в детской комнате милиции в Любани и никак не мог вспомнить свой домашний адрес, и только говорил, что ехал к бабушке, которая закопана в земле.

К вечеру следующего дня, а это был четверг, ребенок был все же доставлен к матери сержантом линейной милиции, но Антонина, находясь в нетрезвом состоянии, заявила, что видит этого жиденка в первый и последний раз, в то время как Валерик протягивал к ней худенькие ручки и кричал: «Мама! Мама! Это же я!».

Присутствовавший при этом Анатолий плюнул на пол. Обозвал Антонину сукой и ушел навсегда к дворничихе Полине на ее четырнадцать метров.

По приказу милиции Антонина вынуждена была принять Валерика. Весь дом ее осуждает, а Тютини даже с ней не здороваются, причем Марья Сидоровна при всех сказала, что когда ребенок вырастет и поймет, он не простит.

5

Наталья Ивановна Копейкина вырастила сына одна. Являясь медсестрой, всю жизнь она работала на полторы ставки и часто брала за отпуск деньгами, чтобы у мальчика все было не хуже других детей, которые растут в благополучных семьях с отцами.

Таким образом, Наталья Ивановна себе во всем отказывала, десять лет ходила в одном пальто, и к сорока годам ей давали за пятьдесят и называли на улице «мамашей». Сына же звали Олегом и, когда он вырос, то получил образование и хорошую специальность шофера такси. Одевался Олег Копейкин всегда во все импортное, и однажды Наталья Ивановна заметила, что сын как будто стесняется матери. Например, когда она попросила Олега сходить с ней в овощной за капустой для квашения, он сказал: — Я и один могу сходить. — А в другой раз посмотрел на ее пальтишко и говорит: — Ты в этом балахоне на чудище огородное похожа, не следишь за собой, даже люди смеются.

Наталья Ивановна, услышав про людей, так сразу и поняла, что сына ее забрала в руки какая-нибудь. И, действительно, буквально через два дня зашла соседка Тютини из восьмого номера и рассказала, что видела Олега около кинотеатра «Искра» с девицей в такой юбочке, что ни стыда, ни совести — все наружу.

Наталья Ивановна в тот же вечер строго предупредила сына, что или мать — или эта. Но для него, видно, мать была хуже не знаю кого, и он на ее слова закричал, что в таком случае уходит из дому, сложил свои вещи в два чемодана и рюкзак, сказал, что за проигрывателем и пластинками зайдет завтра и ушел, а наутро явился вместе со своей прости-господи

и, даже не поздоровавшись, сказал, чтобы Наталья Ивановна дала согласие на размен площади, не то он подаст на принудительный раздел ордера по суду.

Наталья Ивановна заплакала и напомнила сыну, что растила его без отца, ничего не жалела, что пусть они с лахудрой сядут ее лучше в дом «хроников», а себе забирают всю комнату с обстановкой. Олег на это взял проигрыватель и пошел к дверям, а своей сказал, что с Натальей Ивановной хорошо вместе только дерьмо есть. Тогда Наталья Ивановна разнервничалась, подбежала и плюнула потаскухе прямо в намалеванные глаза, та заревела, села у дверей на табурет и велела Олегу убираться на четыре стороны, потому что ей не нужен мужчина, у которого мать плюется и обзывается и что, кто предал мать, тот и с женой не посчитается.

Теперь эта девушка, ее зовут Людмилой, и Наталья Ивановна лежат в одной палате в больнице Коняшина. У Натальи Ивановны травма черепа, а у Людмилы сломана ключица и кус плеча.

6

Почему-то в семнадцатой квартире на четвертом этаже, как раз над Тютиными, всегда живут нерусские жильцы. Конечно, евреи евреем рознь, есть люди, а есть, с позволения сказать, вроде Фрейдкиных, которые предали Родину, уехали за легкой наживой в государство Израиль. Говорили, что эти Фрейдкины вывезли десять килограммов чистого золота, и это вполне похоже, иначе зачем бы они потащили с собой своего облезлого кота Фоньку. Антонина Бодрова, хоть и сволочная баба, правдоподобно сказала, что кота, небось, полгода перед отъездом силком заставляли глотать золотые царские монеты, а потом повезли, изображая, будто они такие любители живой природы.

Черт с ними, с Фрейдкиными, зато семья Кац, которую почему-то поселили в их квартиру, очень умные и культурные люди. Особенно сам Кац, Лазарь Моисеевич, кандидат технических наук. Да и жена его Фира, зубной врач-техник — очень

приличная женщина, не говоря уж о матери, Розе Львовне, которая после того, как потеряла на войне мужа, сумела воспитать сына, получить хорошую пенсию и до сих пор работает в библиотеке.

Жизнь складывается у разных людей по-разному: взять двух женщин — Наталья Ивановна, кажется, ничем не хуже Розы Львовны, а вот почему-то одной повезло с сыном, а про другую говорить — только расстраиваться. Видно и правда: евреи и сыновья, и мужья хорошие, все в дом.

После Фрейдкиных семье Кац пришлось вынести горы грязи и сделать дезинфекцию — клопов те в Израиль почему-то не взяли, наверное, там и своих достаточно.

А через неделю после дезинфекции Лазарь Моисеевич мыл во дворе свою машину «Жигули» и вдруг обратил внимание, что на скамейке сидит и смотрит на него оборванный и грязный старик с очень знакомой внешностью. Лазарь Моисеевич, не прекращая мыть, стал вспоминать, где же он встречал этого старика, но не вспомнил, а старик тем временем встал со скамейки, подошел к нему и спросил: «Это ваша машина?» Лазарь Моисеевич подтвердил, что да, но спросил старика, в чем дело. Тогда старик разрыдался как ребенок, вытащил из кармана паспорт и показал, что он как раз Кац Моисей Гиршевич, 1901 года рождения, по национальности еврей, то есть родной отец Лазаря Моисеевича, якобы погибший во время войны. Правда, как потом выяснилось, «похоронки» Роза Львовна не получала, а, значит, не получала никогда помощи на сына. Есть такие бестолковые женщины. Лазарь всем говорил, что еще в детстве видел письмо фронтового друга отца, где сообщалось, что рядовой Моисей Кац героически пал смертью храбрых, что буквально на глазах этого друга бесстрашного Моисея разорвало вражеским снарядом на куски, и так как вместе с ним скорее всего разорвало и его документы, вдове нет смысла наводить справки. Так что Лазарь Моисеевич всегда считал отца погибшим и только теперь, через тридцать с лишним лет, вдруг узнает, что, оказывается, Моисей жив и здоров и вспомнил, что у него есть сын, как две капли, кстати сказать, на него похожий. Старик собрался было броситься Лазарю на шею, но тот аккуратно отстранил его и отвернулся, хотя надо

было не отворачиваться, а задать вопрос : «А где вы были, так называемый папа, когда мы с матерью сидели в Горьком, в эвакуации, в качестве семьи без вести пропавшего? И где вы были потом, когда мать выбивалась из сил, чтобы дать мне высшее образование? А теперь, когда я стал человеком, вы являетесь и протягиваете мне документ. Вы мне не отец, я вам — не сын, и кроме матери, у меня нет и не будет никаких родителей».

И, хотя Лазарь по бесхарактерности ничего этого старику, к сожалению, не сказал, тот все равно зарыдал еще громче и попросил, раз уж так получилось, дать ему три рубля на дорогу не то в Шапки, не то в Тосно, где он живет с детьми от второго брака, а у них зимой снегу не выпросишь. Лазарь Моисеевич дал ему два рубля, хотя по роже этого старика было ясно, что он тут же их пропьет, и намекнул забыть дорогу к этому дому и не травмировать мать.

И, действительно, хотя сам он матери ни слова не сказал, Марья Сидоровна Тютина, которая слышала весь разговор, стоя с помойным ведром возле бака, на другой же день все сообщила Розе Львовне, слово в слово, вследствие чего Роза Львовна слегла, но теперь уже поправляется. Петр Васильевич выругал жену : зачем сказала, а та ответила:— как это — «зачем»? А, чтоб знала ...

7

Петуховы живут на четвертом этаже в квартире N 18, рядом с семейством Кац. Еще три года назад Саня Петухов был обыкновенным молодым человеком, имел мотоцикл с коляской и в один прекрасный день привез в этой коляске из Дворца бракосочетаний жену Татьяну. А потом что-то такое случилось, куда-то его выбрали, назначили, а может, повысили, неважно, зато теперь, вместо мотоцикла, Александр Николаевич ездит на службу на черной машине и часто шофер носил за ним на четвертый этаж большую картонную коробку. Никого не касается, что в этой коробке, и потому, когда Александр Николаевич в сопровождении шофера проходит от автомобиля к лифту, никто, встретившись с ним в подъезде,

естественно, глупых вопросов не задает. Зато в прошлую пятницу Антонина, которую давно бы пора лишить материнских прав, да жалко ребенка, поймав во дворе Танечку Петухову, нахально спросила: «Я вот уже который раз смотрю, ты банки из-под кофе растворимого выносишь и коробки из-под лосося в собственном жиру. Где это ты достаешь? Мне что-то, кроме хека с бельдюгой, ничего не попадается!».

Танечка даже растерялась, но тут, на счастье, мимо проходила Роза Львовна. Роза Львовна посмотрела на Антонину и сказала, что интересоваться, Тоня, надо не пустыми консервными банками, а тем, какому делу служит человек. Александр Николаевич — большой работник, с него много спрашивается, поэтому ему и дано больше, чем нам с вами. Вы знаете, какая ответственность лежит на этих людях? Его могут в любой момент вызвать, и он будет решать вопросы ...

Зря Роза Львовна связывалась с Антониной, потому что та сразу же заорала: «Воп-ро-сы! Имеет «Жигуля», так думает — и она туда же! Да вас таких — хоть бей, хоть «Жигули», все равно будете задницы лизать и улыбаться, как кошка перед сраньем! Фрейдкины, и те лучше были, уехали по-честному. И кота увезли. А, вот возьмем хворостину и погоним жидов в Палестину!».

Роза Львовна, бедная, вся покраснела, руки затряслись, повернулась к Танечке за сочувствием, а та боком-боком — и в парадную. Кому охота участвовать в таком скандале, да еще когда муж занимает пост. А когда дверь за Татьяной захлопнулась, хулиганка сказала Розе Львовне, что вот, то и оно, а вы чего думали? Так они за всех нас и заступаются: напьются кофе растворимого с лососем, сядут в черную «Волгу» — и пошли заступаться! Зла не хватает от вашей наивности, ну, пока — мне в детсад за Валеркой.

И ушла.

Дуся и Семенов, проживающие в одной квартире с Тютиными, не ответственные работники, не кандидаты наук, не грузины с рынка и не лица еврейской национальности, однако у них все есть не хуже кого, а сами — простые люди : Семенов работает на производстве слесарем, Дуся — там же, кладовщиком.

Непьющий Семенов работает не тяп-ляп, вкалывает, как надо — и сверхурочные, и по выходным за двойной тариф, и в праздники. Халтуру, понятно, тоже берет, потому что все умеет, руки есть и разряд высокий. Вообще, Семенов — молодец, другого про него не скажешь: на производстве уважают, как собрание — он в президиуме, как выборы — его в Райсовет депутатом, с начальником цеха — за ручку, да и сам директор всегда поздоровается:— Как дела, Семенов? — Да что — дела! Порядку мало!— Это вы правы, наведем порядок, товарищ Семенов. Как там у вас с квартирой? — Завком решает. — Думаю, решат положительно, товарищ Семенов.

Так что недолго осталось Семеновым мыкаться в коммуналке.

А про Дусю сказать: как у нее на работе — ее дело, на складе многое можно взять для семьи, мыло, допустим, перчатки резиновые посуду мыть и другие мелочи, воровать Дюся не станет, они с мужем люди порядочные, оба не пьют, и Семенов на высоком счету, но смешно ведь идти в магазин за куском мыла, когда у тебя в кладовой полный ящик стоит. А дома Дуся — хозяйка, каких поискать, ломовая лошадь. День и ночь она что-то моет, чистит, скребет, таскает в скупку ношенные вещи, в макулатуру — бумагу за талоны: библиотеку надо собирать для сына. Главный принцип у нее, как она сама сказала Марье Сидоровне: хоть тряпка, хоть корка — все в дело, обратите внимание — вы мусор каждый день выносите, а я — два раза в неделю. Поэтому Семеновы имеют обстановку не беднее, чем у тех же Кац: телевизор «Рубин-205», пианино и недавно купили «Москвича», подержанного, но будьте уверены, Семенов

с его руками приведет машину в такой божеский вид, которого Лазарю Моисеевичу нипочем не добиться при всех его деньгах и ученой степени кандидата технических наук.

И вот — этот случай: буквально на-днях Семеновы достали для своего Славика в комиссионке письменный стол. Раньше Славик готовил уроки за обеденным, но теперь он перешел в английскую школу, и неудобно. Стол купили старинный и недорогой, что говорить — Семеновы барахла не возьмут, но только зеленый материал на крышке кое-где уже обтерся, и Семенов, конечно, решил подреставрировать вещь своими руками: поменять сукно, покрыть дерево лаком. Вместо зеленой Дуся купила в «Пассаже» полтора метра голубой, в цвет к обивке кресла-кровати, костюмной шерсти с синтетикой. В воскресенье Семенов аккуратно снял сукно — Дуся собиралась сделать из него стельки в резиновые сапоги — и обнаружил под ним заклеенный конверт.

Когда Семенов при жене вскрыл конверт, то оказалось, что в нем лежат четыре пятидесятирублевые бумажки. Кто их туда запрятал — разные могут быть предположения и варианты: прежний хозяин был старик и отложил «на черный день», родным не сказал, чтоб не отняли, а сам внезапно умер. Родные, ничего не зная, сдали стол на комиссию и наказали себя на две сотни. А, может, кто по пьянке запихнул от себя самого, а, проспавшись, забыл. Много возможностей, теперь не узнаешь. Тютиним Дуся сказала, что представьте, мы могли бы еще пять лет не собраться менять сукно, а тут вдруг раз — и реформа. Представляете? На что Семенов возразил, что этого быть не могло. И он прав. Не могло. Но самое интересное, что Семеновым этот стол вместе с перевозкой и голубым материалом обошелся в сто двадцать рублей. Представляете?

Нет, это верно : деньги идут к деньгам.

А у Барсукова, старого пьяницы, негодного человека, когда он спал на автовокзале в день получки, вытаскивали, конечно, все до последней копейки. Это сам Гришка так

думает, что вытащили, а, скорее всего, его же собственные дружки и взяли, когда распивали «бормотуху» где-нибудь в парадной. Потому что документы и ключи у него остались, а воры разбираться бы не стали, где деньги, а где документы с ключами. Так, например, считает Наталья Ивановна Копейкина, и с ней согласны все — и Семеновы, и Тютины, и Фира Кац. Танечка Петухова сказала, что главное, противно, что теперь Григорий Иванович начнет звонить по квартирам и у всех кланчить деньги и одеколон, лично она не даст, а Роза Львовна, к сожалению, даст, да и Антонина тоже, эта пьяниц любит, сама такая. Что же, Танечка совершенно права, жалеть людей надо с умом и смыслом, а у такого забулдыги, как этот Барсуков, никогда не будет ни денег, ни здоровья.

10

Копейкина Наталья Ивановна после больницы стала совсем другим человеком. Во-первых, живет теперь одна, Олег после товарищеского суда у себя в автопарке сразу завербовался куда-то на Север и уехал за длинным рублем, даже мать из больницы не встретил.

Во-вторых, раньше Наталья Ивановна была полная и выглядела старше своих лет, а теперь — на французской диете, похудела, сделала укладку в салоне причесок и ходит в импортном плаще. Людмила — помните? та самая — взяла над Натальей Ивановной шефство, навещает почти ежедневно, вместе в кино, вместе — в Пушкин, в Лицей, в общем, подружки — не-разлей-вода. Людмила оказалась очень и очень порядочной девушкой, раздувать дальше скандал из-за полученной травмы не стала, сама служит в автопарке диспетчером, сутки работает, три выходных, и учится в вечернем техникуме. Родители, оказывается, тоже очень культурные люди, а не как предполагали Тютины, тунеядцы, вроде ихнего бывшего свата-профессора. Отец служит в речном пароходстве, а мать учительница. И брат в армии. А модные эти юбочки Людмила шьет сама, они ей копейки стоят, а одета всегда, точно из телевизора вышла. Такую невестку днем с огнем не сыщешь, и Наталья

Ивановна всем сказала, что Люда ей как родная дочь, а если Олег там, на Севере, найдет какую-нибудь гулящую старше себя, Наталья Ивановна спустит ее с лестницы.

11

Было лето. Палила жара и взрывались ливни, тяжело тащились по пыльным, засыпанным тополиным пухом улицам «беременные» поливальные машины, налетал ветер, то душный и жгучий, то тяжелый и мокрый, будто скрученный холодным жгутом. Давно ли из Таврического сада сладковато пахло серенью, а потом — липовым цветом, а в начале сентября — отцветающими флоксами? Но вот запах флоксов сменился запахом прелых листьев и мокрой земли, выше и отчужденнее стало небо, природа, летом нахлынувшая на город всеми своими красками, звуками и запахами, теперь отступила. Как отлив, ушла далеко за окраины и будет существовать там до весны отдельно и замкнуто, когда в пустых лесах сыплются с деревьев и летят день за днем сухие листья. Наступает ночь, а листья все равно падают, шуршат в глухой темноте, а потом принимается дождь, суровый, непреклонный, и сутками хлещет по окоченевшим стволам и сутулым черным корягам.

... Ноябрь. Самое городское время. Господствуют только камни домов и парапетов, решетки оград, высокомерные памятники и колонны. Прямые линии, треугольники, правильные окружности, черно-белые тона. Торжество геометрии.

Ноябрь. Пошли праздники.

Ноябрь. Александр Петухов в гостит в далекой дружественной Болгарии у все еще теплого Черного моря, где расхаживают по солнечному берегу громадные серебристые чайки и прогуливаются западные туристы в белых брюках и кожаных, в талию, пиджаках.

Ноябрь. Темное утро. Дождь со снегом. В доме около Таврического сада все еще спят, ни одно окно не горит.

Антонина во сне пытается натянуть одеяло на остренькие плечи чернявого Валерика — кашлял с вечера, вот и положила вместе с собой.

Наталья Ивановна Копейкина всхлипывает, потому что видит странный сон, будто вернулся беглый сын ее Олег и стоит в дверях почему-то босой и без шапки, а пальто все мокрое, аж вода течет на натертый пол.

Роза Львовна Кац тоже плачет во сне, плачет тихо, с удовольствием, кого-то прощает за все свое вдовье одиночество, за чертову жизнь эвакуированной с ребенком и без аттестата у прижимистой Пани в Горьком, за то, что теперь уже старуха, а, если вдуматься, что она видела в жизни? Завтра Роза Львовна и не вспомнит, что видела во сне, встанет в хорошем настроении и по дороге к себе в библиотеку сочинит стихи для стенгазеты: «... но было то не по нутру злomu недругу-врагу и задумал он войной разрушить мир наш и покой». Лазарь, конечно, опять начнет смеяться, так ему ведь все смешно — такой человек.

Весь дом спит. Кроме Григория Барсукова. Тот лежит в темной комнате, таращится в пустоту, думает. Как ему уснуть, когда он один в городе, да что — в городе, может, в целом мире, знает то, что никому еще пока узнать не дано.

Все мы, безусловно, правы: нет у бедняги Барсукова ни денег, ни здоровья. А вот насчет ума — это, уважаемые, извините-подвиньтесь со своими дипломами и кандидатскими степенями, это еще поглядим. Потому что, если бы кто-нибудь из нас с вами обнаружил такое, то, возможно, не только бы запил, а сбежал бы прочь, в другое место. Или руки на себя наложил со страху.

ТРЕУГОЛЬНИК БАРСУКОВА

1

Этот треугольник расположен в центре города, а именно: на Сенной площади под названием площадь Мира. Вершина его приходится как раз на специализированный рыбный магазин «Океан», где каждое утро толкуются доверчивые любители селедки, не ведающие, где они стоят. Другие углы такие: здание станции метро, воздвигнутое на месте упраздненной с лица земли церкви Успения Пресвятой Богородицы — раз, и автобусный вокзал — два. Там еще летом, наверное, помните?— у Барсукова будто бы пропала вся получка до последнего рубля. Но только по наивности можно предположить вот это, первое попавшееся: что деньги были пропиты либо украдены. Только по наивности! И теперь Барсуков это знал.

Никто из нас с вами, слава богу, не был и, будем надеяться, не окажется в Бермудском треугольнике, в этой мутной части Атлантики, где, согласно источникам, гибнут без вести, начисто пропадают среди ясного дня самолеты, где слепо дрейфуют покинутые мертвые суда, причем никто не знает, куда девались с них люди. Как-то на одном из таких судов была обнаружена воющая собака, но что — собака, она ведь только понимает, а сказать не может, а вот кто мог сказать, то есть говорящий попугай — тоже пропал совершенно бесследно.

Бермудский треугольник, по счастью, от нас далеко, тысячи миль до него и десятки надежных границ, и поэтому нам на него наплевать, он для нас вроде бабы Яги или как космические пришельцы, про которых мы ничего не знаем.

Нам и без Бермудского треугольника есть чего бояться: войны с Китаем, тяжелой продолжительной болезни, бандитов, отпущенных по амнистии, своего непосредственного начальника и еще кого-то неведомого, кто не ест и не спит, а денно и ночью дежурит у нашего телефонного провода, чтобы узнать, что же мы говорим о погоде.

А ведь наверняка те, кто живут рядом с Бермудским треугольником или имеют с ним дело по работе, тоже боятся войны с Китаем и бешеных собак, а также своих бермудских гангстеров и начальников. И, уж конечно, рака. А про истории с самолетами и кораблями думают редко и неохотно.

Барсукову же и думать было нечего, чего тут думать, тут не думать надо, а меры принимать, и потому Григорий Барсуков, человек за пятьдесят лет свой жизни поменявший столько мест работы, что уже из-за одного этого плюс внешний вид мог считаться «бомжем из», то есть лицом без определенного места жительства и занятий; так вот этот субъект ранним ноябрьским утром подстерег во дворе кандидата технических наук Лазаря Каца и обратился к нему с антинаучным заявлением. Он сообщил Кацу, что на Сенной площади Мира, якобы, безвозвратно пропадают вещи и деньги, люди и даже автомобили с шоферами, и что лично он, Барсуков, был свидетелем этого явления многократно.

— Могу привести ряд примеров,— заявил Барсуков.

— Приведите, прошу вас,— поощрил его Кац, который потому и стал кандидатом наук, что всю жизнь отличался любознательностью к явлениям природы.— Приведите, приведите,— повторил он и вынул из кармана пачку сигарет, но, взглянув на свои окна, тотчас спрятал ее обратно и предложил Григорию Ивановичу лучше прогуляться через сад.

Небо над Таврическим садом сплошь было залеплено толстыми и белесыми тучами. Из разрывов этих туч нет-нет да и выскакивало солнце, ошалело плюхалось в пруд, секунду трепыхалось в холодной воде, как блесна, и тут же исчезало.

«... и равнодушная природа красую вечно сиять»,— вдруг ни с того, ни с сего, назидательно сказал Барсуков и твердо посмотрел в глаза Лазарю Моисеевичу. Тот, являясь человеком тактичным, никакого недоумения не проявил, как будто так оно и следует, что необразованный «бомж и з» цитирует бессмертные строки.

— «Красою! Вечною!»— злобно настаивал Барсуков и, когда Лазарь наконец кивнул, добавил:— Природа вечна, а человек в ней ничто. Сегодня он есть, а завтра нету.

— Люди, безусловно, смертны, — согласился Кац.

Барсуков посмотрел на него с жалостью, махнул рукой, снял с головы кепочку и принялся яростно трясти ее, точно ботинок, в который набрался песок. Ничего не вытряс и деловито сказал:

— Привожу примеры исчезновения людей и предметов : сорок рублей восемьдесят четыре копейки, принадлежавшие лично мне. Так? Теперь: Виталий Матвеевич, старик ... Какой Виталий Матвеевич? — спросил дотошный Кац.

— Какой он был, точно не знаю, — задумчиво ответил Барсуков, — но, полагаю, дерьмо... А как исчез — это видел сам: в прошлую среду около автовокзала попросил рубль, я ему: только, мол, трешка, он взял, говорит: ничего, разменяю. Пошел к ларьку, через улицу шел, я видел, а потом вылез трамвай — и с концами. Пропал человек.

— Ясно, — сказал Кац. — Еще какие были явления?

— Еще явление с синей машиной. Пустая, без людей, с горящими фарами днем.

— Стояла?

— Ага! Хрен тебе в зубы! Прямо с Московского по середине площади как вжарит. И на Садовую. Милиционер еще свистел.

— Я думаю, — сказал Кац, закуривая, — что все это просто цепь совпадений.

— Тебе хорошо, — Барсуков снова тряс свою кепку, — тебе хорошо — ты дурак ...

Он пожал руку ошеломленного Лазаря, который тут уж не сумел заклопнуть рта, и удалился величественной походкой человека, который знает, что ему делать. А кандидат технических наук долго еще стоял на пустой аллее у пруда с глупым выражением на интеллигентном лице.

Вечером того же дня, когда семья Кац сидела за чаем, а по телевизору показывали фигурное катание, раздался телефонный звонок.

— Лелик, тебя — позвала Лазаря мать, — ты бы все-таки объяснил им, что беспокоить человека после работы — не дело.

— Олег, может быть, я подойду? — сказала Фира. — А ты ушел и будешь поздно. Ага?

— Во-первых, я просил больше не называть меня Олегом...

— Ах, прости, пожалуйста, забыла о твоём гражданском мужестве в кругу семьи, — сразу же надулась Фира, — между прочим, пока ты тут произносишь декларации о правах человека, человек ждет.

Человек, действительно, терпеливо ждал, хотя времени, как потом выяснится, у него было в обрез.

— Алло, — раздался далекий голос Барсукова, когда Лазарь наконец подошел к телефону. — Алло! Слушайте и записывайте для науки. Говорит Барсуков из треугольника. Я гибну. Сос. Местоположения в пространстве определить не могу. Сколько времени — тоже не знаю. Выхода отсюда нету и мгла.

— Где вы? Какая мгла? — закричал Лазарь, глядя в окно, где с ясного черного неба иронически смотрели звезды.

— Мгла обыкновенная. Сплошная. Бело-зеленая. Видимости никакой. Гибну.

— Вы не пьяны? Слышите, Григорий Иванович, я спрашиваю — вы пьяны?

— В самую меру. Записывайте для науки: «Барсуков Григорий вышел из метро в 19.03...» — голос становился все глуше и гас, точно «бомж'а и з» уносило куда-то прочь от земли.

— Темно и выхода нет. Гибну смертью храбрых во славу... — это были последние слова, услышанные Лазарем.

— Барсуков! Барсуков! — кричал он в опустевшую трубку.

Ни звука.

Никто, ни один человек на земле, никогда больше не видел Григория Ивановича Барсукова.

После возвращения из Болгарии Александр Николаевич Петухов начал задумываться. А задумавшись, замирает на кухне с горящей спичкой в руке или чашку с черным кофе поднесет ко рту, а пить забудет. И Танечка, видя все это,

очень переживала. Как-то раз зашла к соседке Марье Сидоровне за рецептом печенья на майонезе и вдруг внезапно и неожиданно расплакалась. Получилось это совсем некстати, Марья Сидоровна была не одна и, к тому же, больная. У нее сидели Дуся Семенова и Наталья Ивановна, так что слезы Танечки, хоть она и объяснила их зубной болью, конечно, стали обсуждаться.

— Гуляет он, — сказала Дуся про Петухова, как только Танечка ушла, — а чего не гулять? Ездит по Европам за казенный счет, кожаный пиджак себе купил.

— Татьяне тоже замшевую юбку привез, — вступилась справедливая Наталья Ивановна.

— Гуляет, это точно, — несмотря на юбку, стояла на своем Семенова, — вчера смотрю: идет домой в восьмом часу вместо шести, глазки, как у кота, так и глядит туда-сюда, туда-сюда. А как увидит Кац Фирочку, так уж вообще ... Вчера вышагивают через двор, он ее сумочку несет.

— Фира интересная, — согласилась Наталья Ивановна, — полная и одевается.

— Это верно, жить они умеют, этого от них не отнимешь. Марья Сидоровна, карвалольчику еще накапать?

— Не надо, — тихо сказала Тютинна. И все замолчали.

У Марьи Сидоровны было свое горе, и все из-за мужа. Конечно, старик Тютин кожаных пиджаков сроду не носил и глазами не зыркал, зато последнее время все его разговоры непременно сводились к близкой смерти, даже про бывшего зятя что-то стал забывать. То начнет распорядиться, как поступить после похорон с его старым костюмом, (слава Богу еще, Марье Сидоровне удалось уговорить его надеть в гроб выходной серый, а то заладил: синий да синий, а серый импортный, дескать, в «комиссионку», ну не срам?) то решает вопрос, съезжаться ли Марье Сидоровне с дочерью и внуками и приходит к выводу, что — не смей! Анна выскочит замуж за какого-нибудь прощелыгу, а мать окажется без своего угла. Марья Сидоровна ему и так, и сяк: Петя! Зачем, скажи, эти разговоры? Травмировать меня? Поднимать давление?

А он опять :

— Окончание жизни это финал. Смерть тебя не спросит, когда ей придти. Вон, Барсуков: был и нету.

Она ему :

— Так Барсуков же пьяница! Неизвестно, куда девался, может, в тюрьме сидит, может, в психбольнице на принудительном лечении.

— Это брось! Гришку искала милиция, они дело знают. Нигде не нашли, и комнату опечатали, а ты — «неизвестно»! Если не известно, закон опечатать не даст. Нет Барсукова. И меня не будет, — твердит Тютин, а сегодня и вообще заявил, что настоятельно желает, чтобы на его похоронах обошлись без рыданий и кислых слов, потому что в таком возрасте смерть — дело житейское, вполне естественное и даже нужное, вроде свадьбы, например, или проводов в армию на действительную службу.

— У гроба моего завещаю петь песни, — велел он жене.

— Какие? — шепотом спросила Марья Сидоровна и присела на диван.

Петр Васильевич долго думал, глядел в окно, потом сказал:

— Солдатские. Поняла, мать? Я — ветеран. Солдатские песни, запомни.

— Господи помилуй! — заплакала Марья Сидоровна. — Дай ты мне, Христа ради, первой помереть!

Тютин плюнул, покачал головой и отправился в киоск покупать «Неделю», а Марье Сидоровне пришлось звать Дусю, не могла уж сама накапать лекарство — руки тряслись.

Так что вполне понятно — не до Танечки Петуховой было в тот день Марье Сидоровне Тютиной.

К сожалению, и Петухову было теперь не до жены. Уже две недели прошло после возвращения его из Болгарии на родную землю, а он, как был в первый день не в себе, так и остался.

Точно яркие цветные слайды вспыхивали в его мозгу разные картины: ночной бар, тихая музыка, притушенный свет, сигареты «Честерфилд», коктейль «Мартини», элегантный бармен — друг, не лакей и не хам — нагнулся к Петухову, щелкает американской зажигалкой : курите. Холл отеля «Ам-

бассадор» на международном курорте «Златны Пясци», где Александр Николаевич прожил три последних дня своей первой заграничной поездки — так было предусмотрено программой : после заседаний, встреч и приемов — отдых у моря. Здание казино, вдоль которого всю ночь стоит вереница машин. И каких! «Мерседесы», «Шевроле», «Фольксвагены», «Тойоты», «Форды» ... Огни, огни, огни... Толпа западных людей в зале казино около игровых автоматов — это рулетка такая, называется «Однорукий бандит». Петухов сам был свидетелем, как какой-то джентльмен с бешеными глазами и голубыми ввалившимися щеками бросил в щель «бандита» серебристый жетон, дернул ручку — и целая груда этих жетонов со звоном высыпалась в лоток. А мистер Петухов, профсоюзная шишка, в только что купленном черном кожаном пиджаке и белых брюках, в одном кармане которых лежали американские сигареты, а в другом турецкая жевательная резинка, он, причесанный на косой пробор в лучшем салоне Варны, он, к которому здесь, за границей, все обращались только по немецки, мялся в углу, не смея подойти к автомату, поминутно оглядываясь на дверь: не войдет ли Павлов, руководитель их группы. А уж потом, чтобы самому сыграть в рулетку, и речи быть не могло. А почему?! И ведь им, павловым, все равно, — что Петухов, человек с высшим профсоюзным образованием, знающий два языка со словарем, что это было из их так называемой делегации, жлобы, уроженцы города Саратова или какого-нибудь Минска, которые в варьете — в ВАРЬЕТЕ! — только и выжидали, когда замолчит, наконец, оркестр, чтобы грянуть свои «Подмосковные вечера». Зачем их возят по заграницам, позорище одно! И изволь сидеть с ними у всех на виду в ресторане, среди немыслимых двубортных пиджаков или жутких синтетических платьев с блестками! Изволь улыбаться, пить за то , что хороша, дескать, страна Болгария, а Россия луче всех. Ну, и сидели бы в своей России, в грязи и серости по уши! Так нет — им подавай Европу, а ты, как дурак, веселись тут с ними, лови на себе презрительные взгляды западных немцев, сидящих напротив. Немцы, кстати, и сидят

иначе, и сигарету держат как-то красиво, и лица у всех культурные. Ведь вот — выпили, а никто не красный, не потный, не орет и руками не машет.

И, главное, не встанешь, не закричишь: «Товарищи!», то есть, конечно: «Господа! Я не такой, как эти! Я все понимаю, мне смешно и противно смотреть на них так же, как и вам! Это, ей-Богу, не я покупаю в аптеке медицинский спирт и напиваюсь, как свинья у себя в номере, а потом начинаю горланить на весь отель! Не я с утра до вечера дуюсь в холле в подкидного дурака! Не я под джазовую музыку пляшу в ресторане «цыганочку» или топчусь в медленном танго, как допотопный сервант. Не я это! Не я!».

Тонко улыбаются нарядные западные люди, кажется, если бы можно, вскинули бы сейчас фотоаппараты и кинокамеры, запечатлели бы на память дикарей. Но — нельзя, неприлично.

А наши понятия-то такого не имеют — «неприлично», им все прилично, вопят на весь зал, плятятся по сторонам и еще шуточки отпускают — у нас, мол, танцуют лучше и одеваются наряднее. Кретины! Неандертальцы! Толпа!

Так они сводили его с ума там, в Болгарии. А теперь — вот она Родина. Родина — мать. Перемать, Россия, сплошь состоящая из них, из этих...

На второй день после приезда зашел днем в «Север» пообедать и сразу: «Глаза есть? Не видите — стол убран? Ах, видите! Так чего садитесь?.. Мест нет? А у нас — людей нет. Вы к нам работать пойдете?». Сервис!

Можно было, конечно, показать ей Кузькину мать, чтобы знала, с кем имеет дело, хамка, да связываться противно, тем более, был не один, с начальством. Еще, слава Богу, ему, Петухову, теперь не нужно стоять по очередям за продуктами, на дом возят... ..Ах, скажите, пожалуйста: на дом! Благодетели. Купили за банку паршивого кофе! Да если уж на то пошло, насрать ему на их растворимый кофе и лососину! Да и на икру, если на то пошло! Не хлебом единым! Орут везде, что у нас — права человека, а в городе ни одного ночного бара. Только на валюту, на доллары. В занюханной Болгарии — тоже мне еще

— Запад, сколько угодно этих баров! И девочки! Только не для нашего брата девочки, для нашего брата — руководитель Павлов, он тебя иБолгария... А где-то есть еще и Париж. Есть и Швейцария. И Штаты...

В гробу я видал этот вонючий кофе!

— Сашенька, почему так поздно? — робко спросила Таня, когда Петухов в третий раз явился домой в половине восьмого.

— Автобус сломался, — с горделивой скорбью отрезал он.

— Автобус?! Почему — автобус? А где Василий Ильич?

— А пускай твой Василий Ильич другую жопу возит! Ясно?! — заорал Петухов. — Сдалась мне их поганая «Волга»! И пайков больше не будет, поняла? Попили кофеев, хватит! Обойдешься чаем «Краснодарским» сорт второй и городской колбасой!

— Что случилось, Саша? У тебя неприятности? — Танечка уже плакала.

— Приведи в порядок лицо! — завизжал Петухов. — Не женщина, а чучело! Плевал я! Принципы надо иметь! Дешево купить хотите, граждане-товарищи!

Долго еще бушевал Александр Николаевич, хлопая дверью, выкрикивал лозунги о демократических свободах, о том, что никому не позволит душить и попирать. Потом улегся на диван с транзистором и на всю квартиру включил «Голос Америки».

3

В середине декабря месяца Наталья Ивановна Копейкина случайно узнала, что в субботу в магазине «Океан» с утра будут давать баночную селедку. Новый год был уже вот-вот, и поэтому Наталья Ивановна с Дусей Семеновой и недавно прощенной Тоней Бодровой за час до открытия отправились занимать очередь. Марья Сидоровна, которой тоже предложили, сказала, что ей не до селедки, плохо себя чувствует, и женщины решили взять две банки и разделить: по полбанки Наталье Ивановне с Антониной, полбанки Тютинным, они старые люди, надо помочь, и полбанки Дусе. Антони-

не хорошая селедка очень бы кстати, так как Анатолий все же обещал первого зайти. Это надо: с лета ни разу не вспомнил, а тут... нет слов, одни буквы. А Валерку тогда заберут к себе с ночевкой Семеновы.

Селедку, действительно, отпускали, очередь шла быстро, так что к десяти часам все трое, довольные, стояли с банками на трамвайной остановке напротив метро «Площадь Мира». Погода была ясная, светило солнце.

Трамваи не шли, на остановке собралась огромная толпа, говорили: кто-то должен проехать из аэропорта, не то король, не то кто из наших, и движение перекрыто. Минут через десять появилась милицейская машина, принялась кричать в мегафон, загнала всех на тротуар, давка началась невероятная. И в этой давке Антонина внезапно почувствовала, что в глазах у нее темнеет, ноги отнимаются, кругом зеленая мгла, как с хорошей поддачи, и что она не соображает, где находится и зачем.

Сколько времени продолжалось такое состояние, Антонина никогда потом сказать не могла, но, когда очнулась, увидела, что сидит на скамейке около автобусного вокзала, а рядом с ней сидят и Наталья Ивановна, и Дуся, обе бледные, не в себе и без сумок.

— Чего со мной?— спросила Антонина слабым голосом, но ей не ответили. Как выяснилось, ответить ей и не могли, потому что ни Семенова, ни Копейкина не знали, что и с ними-то произошло, как, например, попали они с остановки на эту скамейку, а главное, где их сумки с деньгами и банки с селедками. Обе они, как и Антонина, оказывается, видели только зеленую мглу и туман среди ясного дня.

— Несомненно — вредительство,— предположила Наталья Ивановна, и женщины с ней согласились.

Посидев с полчаса, придя в себя и переговорив, они решили все же ничего никому не рассказывать, все равно не поверят и еще засмеют, а деньги, которые дала им на селедку Тютинина, собрать между собой и вернуть. Про банки же сказать, что их не давали, а была мороженная треска с головами.

4

А ведь и верно: совсем скоро Новый год. Кажется, только что прошли ноябрьские, а через неделю опять праздник. Все скоро в этой жизни, так что и уследить не успеешь.

Петр Васильевич Тютин праздник Новый год любил и всякий раз радовался : смотри, пожалуйста, опять дожил — и ничего, сам, вон, с Некрасовского рынка (придумал какой-то болван назвать рынок именем великого писателя!) сам с Мальцевского рынка елку приволок. Приволок, украсил, подарки разложил, а как же?— придут внуки, Даниил и Тимофей.

Нравился Петру Васильевичу Новый год, а, все-таки, главными праздниками у него были другие. День Советской Армии и, самый важный, это, конечно, Праздник Победы. Новый год — больше для внуков, для жены с дочерью, а это — собственные его.

В эти дни Петр Васильевич надевал на серый костюм орден Красной Звезды и Отечественной второй степени, прикалывал медали и шел к Петру Самохину, тезке, другу и однополчанину. У Самохина была большая квартира, и это уж, как говорится, создалась такая хорошая традиция — по праздникам собираться у него. Приходили ребята без жен, выпивали умеренно, пели, вспоминали. И если кто в десятый раз принимался рассказывать один и тот же случай, никогда не одергивали и не поправляли, мол, не так было, путаешь, старый хрен; этого у всех дома хватало, наслушались от родных деток, которым, что ни скажи — в глазах тоска: скоро ли он кончит, надоел, все одно и то же, да одно и то же. А товарищи, те и послушают, а если у кого слезы, дело-то стариковское, не заметят, виду не подадут, а не то что сразу охать да бегать с валидолами. Одно слово : мужская дружба фронтовиков.

Интересное дело, сколько времени прошло после войны, больше двадцати лет Тютин отработал на заводе мастером, на отдых вышел как полагается, с почестями, никто не гнал, сам захотел, и друзья были, а вот, пожалуйста, остались от этих заводских друзей только поздравительные открытки к календарным датам. И от завкома — открытки, и от партбюро. А эти

парни, с которыми в войну самое долгие три года вместе был, да что — три года, некоторых и года не знал, — эти мужики до самой, видно, смерти, до последнего дня. Почему так?

Встречи с фронтовыми товарищами считал теперь Петр Васильевич единственным и главным делом своей жизни, только с ними, с ребятами, чувствовал, кто он такой, что сделал, как и е дороги прошел, потому что личное — это личное, это для женщин, а мужчина для другого живет. Но все меньше, с каждым разом меньше народу собиралось у Петьки Самохина на праздники. В прошлый день Победы только трое пришли, остальные — кто болел ... Встречались вообще-то последнее время довольно часто, но те встречи были далеко не праздничные, да и какие это встречи, это — проводы...

Так что не от злобы или плохого характера, не от жестокости Петр Васильевич мучил жену похоронными разговорами, а потому что видел — подходит время, и смерть представлялась ему последним заданием, которое скромно и с достоинством предстоит ему выполнить на земле. А только дурак полагает, будто умереть можно кое-как и безответственно. Пускай, дескать, родственники беспокоятся и хлопочут, а мне что — лег себе в гроб, руки крест-накрест и спи, дорогой товарищ.

Петр Васильевич недаром был ветераном и солдатом, он, может, потому и войну без ранений прошел, с одной контузией, что все умел и привык делать, как следует, хоть окоп вырыть, хоть автомат смазать. А теперь — это тебе не окоп, тут надо решить ряд важных вопросов: материальное обеспечение жены, то есть, конечно, вдовы, распорядок ее дальнейшей жизни, организация похорон. Естественно, и в этих делах не на родственников рассчитывал Тютин, а на боевых товарищей, знал, что помогут Марье Сидоровне и внуков не оставят, но надо же и самому руки приложить. Как раз сегодня утром он принялся составлять список : фамилии и адреса тех, кого обязательно надо пригласить, чтобы проводили его в последний путь, но жена, увидев этот список, ударилась в такой рев, дура старая, что Тютин разозлился, скомкал бумагу, сунул в карман и ушел, хлопнув дверью, в сад на прогулку. Вот ведь, ей-богу, бабий ум! Курица и курица. Будет потом метаться, кудахтать,

кого позвать, как сообщить, где найти. Самой же приятно: пришли проститься с мужем хорошие люди, никто не побрезговал, вот, пожалуйста, фронтовые друзья, а это — рабочий класс, товарищи, ученики, смена то есть. А тут — руководство, Ладно ... Допишет он свой список потом, без нес. Допишет и спрячет в стол, в тот ящик, где ордена и документы. Понадобятся тогда ордена, начнет искать, найдет и список.

... Петр Васильевич Тютин шел себе воскресным утром в валенках по узкой дорожке среди сугробов, смотрел на белые патлатые деревья, на простецкое, светленькое небо, на глупую мордастую снежную бабу с палочкой от мороженого вместо носа, шуршал в кармане мятым списком, думал и вдруг так расхотелось ему помирать, так стало страшно и неохота провалиться из этого уютного обжитого мира куда-то во тьму, где наверняка ничего хорошего нету, что вытащил он скомканную бумажку с фамилиями, торопясь, бросил в мусорную урну и как мог быстро, подволакивая ноги, — чертовы валенки по пуду весят! — пошел прочь. Надо еще конфет купить, а то в магазинах уже завтра будут очереди — жуткое дело.

5

Вночь под Новый год Фира сказала мужу, что она его больше не любит. Это же надо еще суметь — выбрать такой день для подобного разговора! Вообще-то Лазарь уже давно, с месяц, наверное, чувствовал: что-то не то. Фира постоянно где-то задерживалась, у нее невесть откуда завелось огромное количество дел, а так бывает всегда, когда человеку плохо у себя дома. Все ее раздражало и выводило из себя, а, особенно, почему-то невинная просьба Лазаря не звать его больше никакими Олечками, Леликами и Ляликами. Раньше и внимания бы не обратила, может быть, даже с уважением бы отнеслась, а теперь :

— Ах, Лазарь? Понимаю... Это у тебя такая форма протеста. Мол, ничего не скрываю и даже горжусь. Очень, о-очень смело, ты у нас прямо какой-то Жанна д'Арк.

— Ты чего это?

го ж не врезать? Да брось ты сигарету, мать увидит, будет орать!

— Надо будет — и надену, вон, датский король с королевой, когда немцы...

— Слыхала! Ты мне про этот случай рассказывал раза три... позволь, четыре раза. Но ты, к сожалению не король, тебе ничего надевать не надо, у тебя, как говорится, факт на лице.

— Я не понимаю, — вконец растерялся Лазарь, — ты что, антисемиткой сделалась?

— Просто, миленький, дешевки не люблю. Лазарь ты? Великолепно! Гордишься своим еврейством? Bravo- bravo- бис! Не нравится, когда кривят рожу на твой пятый пункт? Противно, что любой скобарь в трамвае может, если пожелает, обозвать жидовской мордой, и ничего ему за это не будет? И мне, представь, противно. Только причем же здесь «Лазарь»? Будь последовательным. Уезжай!

— Ты что это, Фирка, обалдела?

— Испугался? Вот она, цена твоего гражданского мужества.

— Подожди, ты что, серьезно?

— Я-то серьезно, я о-очень даже серьезно, а вот ты со своими тьявканьем из подворотни, с вечным «я бы в морду...»

— Ты действительно хочешь уехать? В Израиль?

— А это уже второй вопрос: куда? Важно, что о т с ю д а. Ясно?

— Ладно, Фира, давай поговорим .. хотя я не представляю себе, чтоб ты .. У тебя что-то случилось?

— Ну, знаешь, это уж вообще! «Случилось»! А у тебя ничего не случилось, ни разу, Лелик, то есть, тьфу — Лазарь Моисеевич? Это не тебя ли как-то не приняли на филфак с золотой медалью? И не ты ли тут вечно рвешь и мечешь, когда твой доклад читает на каком-нибудь симпозиуме в Лондоне ариец с партийным билетом?!

— Тише ты!

— Тише?! Вот-вот. Надоело! Их — по морде, а они — тише! Чего ж не врезать? Да брось ты сигарету, мать увидит, будет орать!

— Не увидит. А меня ты напрасно агитируешь, я тебе могу привести и не такие примеры.

— Ну, так что ж?

— А... таки плохо. Как в том анекдоте. Плохо, Фирочка. И все-таки я не уеду.

— Боишься? Мол, подам заявление, с работы выгонят, а разрешения не дадут. Так?

— Если уж честно, — и это. Но не во-первых, даже не во-вторых. А, во-первых то, что здесь, видишь ли, моя родина. Мелочь, конечно.

— Родина-мать?

— Да, уж как тебе угодно: мать, мачеха, тетя, а только — Родина, и никуда от этого не деться.

— Какая там тетя? Какое отношение имеешь к России ты, Лазарь Моисеевич, еврей, место рождения — черта оседлости? Нужен ты ей со своей сыновней любовью, как Тоньке Бодровой ее незаконный Валерик!

— Это черт знает что! Мне дико, что это мы, ты и я, ведем такой разговор. Лично я не верю в генетическую любовь к земле предков, может быть, потому не верю, что сам ее не чувствую. Конечно, кто чувствует — пускай едет, всех ему благ!

— ... А тебе и здесь хорошо!

— Нет. Не хорошо. Но, боюсь, что лучше нигде не будет. И — почему такой издевательский тон? Неужели я должен объяснять тебе, что я тут вырос, что я, прости за пошлость, люблю русскую землю, русскую литературу, а еврейский просто не знаю. Кто там у вас главный еврейский классик?

— У н а с?! Ну, вот что, — Фира стояла посреди комнаты, сложив руки на груди, — мне этот разговор противен. И ты сам, прости, пожалуйста, тоже. Это психология раба и труса.

— А катись ты ... знаешь куда? — разозлился Лазарь. — Подумаешь, диссидентка! Противен — и иди себе, держать не стану!

Фира тут же оделась и ушла на весь вечер. Может быть, у нее на работе завелся какой-нибудь сионист? Их теперь полно, героев с комплексом неполноценности и длинными языками.

Лазарь долго стоял на кухне у окна и курил в форточку. Наконец, он решил, что, скорее всего, Фирку кто-нибудь обругал в автобусе или в магазине, у нее-то внешность — клейма негде ставить, прямо Рахиль какая-то. Конечно противно! Только нет из этого положения выхода, как она, глупая, не понимает?! Евреям всегда было плохо и должно быть плохо.

«Успокойся, тогда и поговорим», — решил Лазарь.

Но Фира не успокоилась. И вот в новогоднюю ночь, сидя за накрытым столом, она при свекрови официально заявила мужу, что намерена с ним развестись из-за несходства характеров и политических убеждений.

Роза Львовна сразу сказала, что у нее болит голова, и она идет спать. А Лазарь выслушал следующее:

— Это счастье, что у нас нет детей, хотя я знаю, что вы с матерью за глаза всегда меня за это осуждали. Развод мне нужен немедленно. Мы с тобой чужие люди. Слабых не ругают, их жалеют, но мне жалости недостаточно, мне, для того, чтобы жить с человеком, нужно еще и уважение, в его нет.

Тут Лазарь тихо спросил:

— Ты меня больше не любишь? У тебя кто-то другой?

— Не люблю, — отрезала Фира, — а есть другой или нету — в этом случае, какая разница? Твоя приспособленческая позиция мне не подходит. Я считаю: кто не хочет ехать до о м о й , тот пусть идет работать в ГБ!

— Можно утром? А то сейчас ГБ, наверно, закрыто, — спросил Лазарь, машинально откусывая от куриной ноги.

— Вытри подбородок, он у тебя в жиру, — с отвращением сказала Фира. — Я ухожу. Возьму пока самое необходимое.

Она вышла из-за стола, и через пять минут Лазарь услышал, как хлопнула дверь — видно, самое необходимое было собрано заблаговременно.

Лазарь подвинул к себе фужер с недопитым шампанским, налил туда водки и медленно, не чувствуя вкуса, выпил. Выпил, вытер рот тыльной стороной ладони и посмотрел на часы.

«Полвторого. Куда она? Впрочем, транспорт работает всю ночь».

6

Бодрова Тоня Новый гол, почитай, и не встретила: забежала в одиннадцать часов к Семеновым, посидела, поздравила всех с наступающим, оставила Валерку, как договаривались, до второго, — и домой. Дуся: останься да останься, а Антонине ну, ей-богу, неохота, не почему-либо, а такое настроение, решила спать лечь не поздно, чтобы утром выглядеть, как человек. Потому что Анатолий точно сказал: зайду первого днем. Ему вообще-то верить не больно можно, бывало и раньше, обещает: жди, а сам не явится, но в этот раз другое дело, в этот раз чего ему врать, как ушел тогда, еще в августе, она за ним не бегала, не звала, хотя и знала: с Полиной живут плохо — пьянка каждый день, а после пьянки — драка.

Тридцатого вечером встретились в булочной, Антонина сделала вид, будто не признала, отвернулась, берет «городскую», а руки, как не свои, уронила булку на пол, пришлось платить — кассирша там вредная, разорется, а булка вся в грязи. Только вышла на улицу, Анатолий тут как тут, за ней.

— Гражданочка, извиняюсь, не знаете, сколько время?

Больше четырех месяцев Антонина каждый день, да не по одному разу, все представляла себе, как это будет, как они увидятся, и решила вести себя не грубо, но так, чтоб он понял — гордость и у нее есть. И, если она тогда выла, как ненормальная, и чуть не за ноги его хватала, только чтоб не уходил, то теперь с этим уже все, и перед ним, как говорят, другой человек. Пусть подозревает, что у нее кто-то есть, пусть не думает.

Но получилось по-другому. Про гордость она забыла, стала болтать какие-то глупости, мол, как живешь, а он: — нерегулярно, — говорит. — Что же нерегулярно-то? У тебя жена молодая. — А он: — Во-первых, она мне жена только для прописки, а, во-вторых, ты на ее рожу погляди, одно слово — сзади пионерка, спереди пенсионерка. — Антонине бы сказать, что некрасиво так — о женщине, а она наоборот: лицо, — гово-

рит, — можно и полотенцем прикрыть, а дальше такое сказала, что и вспоминать неудобно. Главное, говорит, сама чувствует — не то, не так надо с ним разговаривать, а остановиться не может, вот и верно, что язык без костей. А Анатолию, кобелю, нравится, хохочет, доволен, боялся небось, что Антонина будет скандалить, а чего ей скандалить, хотела бы, еще летом морду бы Полине начистила, далеко ходить не надо, в одном дворе живут.

Что-то еще говорил Анатолий, — хорошо, дескать, выглядеть стала, поправилась. Антонина, вроде бы, отвечала, что надо, а сама только думала — сейчас ведь уйдет, вот сейчас — попрощается и все, и опять только жди, да гляди в окно — не идет ли мимо, и опять жди, и ночи эти проклятые, когда такое, бывает, приснится, что утром вспомнишь — и в жар кидает.

А он вдруг: чего же на Новый год не приглашаешь?

— Так ведь, Толя, Новый год — семейный праздник, в кругу семьи. Как тебя Полина отпустит? Или ты с ней вместе ко мне собираешься?

«И что это я говорю? Вот теперь-то он и скажет — шутка, мол, привет семье, до новых встреч, чаю, бомбина!».

— Нет, конечно, смотри сам. Если хочешь, заходи. Хоть в Новый год, хоть первого.

— Первого? Порядок. Если не прогонишь, приду в два часа, готовь полбанки.

Вот так и договорились. Придет. Чего ему врать, сам предложил, не напрашивалась. Придет.

Комнату свою Антонина, конечно, вылизала, себе купила новое платье цвета морской волны и приталеннос. Это ведь еще надо найти — пятьдесят второй размер и по фигуре, у нас на полных шьют, как на старух, мешки, а не платья, даже обидно.

Тридцать первого сбегала к знакомой парикмахерше уложила и сделала маникюр и легла спать, как наметила, сразу после гимна. Зато первого к часу дня была уже готова — платье, как влитое, на груди кулон, колготки, правда, порвала, когда натягивала, потому что импортные. У заграничных баб не ноги, а палки, а у нас ноги фигуральные, вот и тесно. Ну да ничего, подняла петлю, сойдет.

Потом накрыла на стол. Скромненько, не очень, чтобы очень, потому что не покупать она мужика собирается за какую-то ветчину или икру. Поставила огурчики соленые, шпроты, "еврейский" салат (Роза Львовна научила : творог, чеснок мелко порубить, зелень — можно укроп, можно петрушку) ну и там сыр, колбасы «Советской» твердокопченной триста грамм, у себя в магазине выпросила. Сволочи све же Катька с Валентиной, как надо что из бакалеи, так «Тося» да «Тося», и она им конечно все оставляет, а у них вечно по сто раз проси, унижайся ...

Короче говоря, стол получился не то что богатый, но приличный. А водки, как просил, купила пол-литра. И хватит. Это с Полиной они пускай пьянствуют, Тоня — не Полина, что раньше было, то прошло. И вспоминать нечего.

В холодильнике, конечно, была еще «маленькая» и две бутылки пива на запас, но это — как получится.

Анатолий пришел точно в два. Снял в передней пальто, и Антонина даже обалдела, никогда таким его не видела. Костюм цвет беж, галстук весь переливается, волосы курчавые, а она уж забыть, оказывается, успела, какие у него красивые волосы.

Пошли в комнату. Антонина говорит:

— Ну, ты даешь. Прямо, как из загранки.

А он хохочет :

— Это ты прямо в точку, костюм у меня импортный, маде ин Поланд. Ну что, видела костюмчик? Больше не увидишь.

Снимает пиджак, вешает на стул, галстук туда же, и — за брюки. Антонина села на оттоманку и молчит, что говорить, не знает. Он брюки снял, хохочет, как чокнутый :

— Чего рот раззявила, деревня? Надо быть современной женщиной, к тебе не кто-нибудь, а любовник пришел. Раздевайся.

Антонина встала и опять стоит, молчит. С одной стороны, конечно, приятно, что он считает ее за современную женщину и не просто выпить пришел, но с другой стороны, у них, может это и принято, а у нас не привыкли еще.

А он стоит, в чем мать родила, одни носки оставил с полуботинками, и ухмыляется.

— Ну чего? Раздевайся да побыстрее!

Антонина смотрит — он берет со стола бутылку, наливает ей стопку, себе стопку, и говорит :

— Пей, давай, тогда, может, смелее станешь, а то как все равно — дурочка. Французские кинофильмы смотрела?

Не ругаться же с ним, не для того полгода ждала. Антонина взяла стопку, выпила. Ладно. Французская жизнь, так французская, хорошо хоть сорочку новую надела, нейлоновую. Сняла свое платье морской волны, а он: все снимай, тут тебе не ателье мод и не поликлиника. А сам еще наливает. Антонина хотела погасить лампочку, а он : еще чего? Дикость, — говорит, — или может, ты у нас с браком? Не помню, чего у тебя там не хватает, вроде, всего полно и все на месте. — Ну, что с ним поделаешь, — шутник!

В общем, она разделась, стоит, а что дальше — не знает.

Но Анатолий на кровать даже не посмотрел, сел к столу, ну, и она напротив, живот скатертью прикрыла. Холодно все же. А Толька :

— Чего прячешься? Тело женщины, это, во-первых, красиво. В Русском музее была? И ты интересная, как Венера. А я, — смеется, — как этот... Ганнибал!

Может, со стыда или от волнения, а может потому, что со вчерашнего дня крошки во рту не было, Антонина сразу опьянела. И стало ей плевать, что сидит тут, как дура, голая, и что тело-то уж не то, и что из окна так и свищет. Весело ей сделалось и хорошо, потому что вот он, Анатолий, пришел все-таки, сам пришел, сидит, точно фон-барон, а на плечах веснушки, как у маленького...

— Толик, тебе не холодно? Я платок принесу.

— Иди ты с платком! Налей лучше! А потом погреемся.

... А плечи-то широкие, красивый до чего! Ну, прямо в точности Ганнибал или какой-нибудь Юлий Цезарь.

По-французски — так уж пускай на всю катушку! Антонина встала, прошла на каблучках через всю комнату и включила телевизор. Как раз показывали концерт артистов эстрады. И, — черт с ним! — достала из холодильника «маленькую» и пиво.

Еще выпили, за любовь. Антонина чувствует — опьянела, закусить надо, а не лезет кусок в горло да и все. А тут еще Майя Кристаллинская как запоет: «Я давно уж не катаюсь, только саночки вожу», ничего, вроде, особенного, а у Антонины слезы.

— Толечка, миленький, я для тебя, что хочешь сделаю! Что скажешь, то и сделаю!

— Да не могу я с тобой расписаться, Тонька, пойми ты это, чудачка!

— Не надо мне. Зачем? Я и так для тебя — что хочешь... Я бы и стирала, и обшила, а денег — на что мне деньги, я сама зарабатываю, я бы у тебя зарплату не брала ... и какой хочешь, можешь приходить, хоть и пьяный, хоть какой ...

— Кончай реветь! Ты — баба хорошая, лучше Польки. Но расписываться — это нет.

— Толик, я когда мимо ресторана «Чайка» прохожу, где мы с тобой тогда, так всегда плачу, как ненормальная ...

— Я — мужчина ... Поняла? Ты — баба, а я мужчина ... И все... Еще керосин есть, нет?

— Меня все тут за последнюю, за не знаю кого считают, что я тогда так с Валериком... ты пойми, я же мать! Я ребенка своего люблю, ребенок не виноват... Но тебя я больше своей всей жизни!.. Если б ты заболел, я бы кровь дала...

— Это лимонад? Лимонад, да?! Не могла две пол-литры взять, говорил ведь : жди!.. Я мужчина ... бля... с-сука! И — все!.. Поняла?! Не распишусь. И — все!

— Толик, ты кушай, вон огурчики соленьенькие ...

— Отстань! Сказал — от-стань!.. И все... Одну бутылку... Пожалела... сука... Я мужчина! Титьки развесила, корова... Я — мужчина, а ты — сука.. И все... И все...

— Толик, если что, я сбегая, ты успокойся, миленький! Толенька!..

— Убери руки! Руки убери! Не трогай, б...! Убью суку! Убью!!!

— Толик! Не надо! Не надо! Прошу! Вот — на коленях прошу... Толечка! О-ой! Ногами — не надо! Толечка! Толечка-а!..

— Молчи, курва! Получила?.. Вставай! Разлеглась тут ... сука! На тебе! На! Заткнись, убью! Заткнись!!!

Хорошо еще — в квартире никого не было, жиличка в гости ушла.

7

А Роза Львовна собирается на свидание.

Лазаря зачем волновать, ни слова вчера ему не сказала, хватит Парню и своей беды. Матери — все парень, а ему сорок лет, возраст, кстати, для мужчины самый опасный, если уж в этом возрасте случится инфаркт, то это очень и очень плохо. Говорят, беречь надо мужчин именно сейчас, следить, чтобы укрепляли сердечную мышцу, спортом занимались, легкой атлетикой, только судьба не спрашивает, сколько кому лет.

Каждому когда-нибудь достается настоящее страдание, вот и Лелику пришла очередь. В Горьком, в эвакуации, в самые страшные годы, был счастливым — маленький, ничего не понимал, мать рядом, а отцов тогда ни у кого не было. Голодать Роза Львовна ему не давала, не допустила, устроилась на макаронную фабрику, дали рабочую карточку, а по вечерам шила. Ведь смешно сказать: до войны ничего не умела, а заставила нужда, — научилась и кроить, и шить, и вязать, даже подметки ставить.

А потом пошло легче: учился Лазарь хорошо, товарищи его любили, очень способный был мальчик и общительный. Не приняли в Университет — это, конечно, был удар, но он не растерялся, поступил в технический ВУЗ, хотя мечтал стать журналистом. Способный человек всегда и везде способный, вот и в технике всего добился, кандидат наук, физик! Такая сама и так воспитала — не ныть, не жаловаться, что есть — есть, а чего нет — и не надо.

Любой пример: разве кто-нибудь в семье, она или Лелик, сказал одно слово, что нет у Фиры детей? Вообще никогда Лазарь не пожаловался на жену, молодец, но и Роза Львовна ни разу себе не позволила; они друг друга нашли, им и жить...

...Как она могла бросить Лазаря, чем он ей не угодил? Не рахмонес, просто выдержанный и тактичный. Не слишком красивый? В мужчине не красота главное, и пятнадцать лет назад Фира это понимала.

Любовь... Сердцу не прикажешь, и хоть этот Петухов ничем не лучше Лелика, а гораздо хуже, что тут поделаешь, когда любовь? А что у Фиры — любовь, это давно заметила Роза Львовна видела вся обмирая, как та ничего не ест за обедом, отвечает невпопад и точно прислушивается к чему-то, что одна она только слышит. То ни с того, ни с сего вся вспыхнет, то улыбнется. А глаза! Какие у нее были глаза, Боже ты мой! Я сперва даже подумала, что Фирочка в положении, но тогда она была бы мягче, ласковее с мужем...

Лазарь ничего не рассказал матери о том вечере, когда Фира оставила их дом. Сама Роза Львовна ушла тогда в начале разговора, не хотела мешать, может быть, неумно поступила. А потом Лелик только и сказал: «Мы с Фирой решили разойтись». «Мы». И — больше ни звука об этом, а в душу лезть — не в характере Розы Львовны, не умеет.

А другие умеют. В доме всегда все известно, сперва смотрели т а к и м и глазами; Антонина, на что уж распушенная женщина, и та: Розочка Львовна, Розочка Львовна, как же у вас, а? А потом зашла Наталья Ивановна Копейкина да все и выложила — про Петухова, про Израиль, про несчастную Танечку.

Фира просто сумасшедшая, что решила ехать, но можно и понять — кто решил разрушить, идет до конца, а где жить с любимым человеком, это не имеет значения, ничто не имеет значения, лишь бы вместе. Разве сама Роза Львовна после известия о гибели мужа все годы тысячу тысяч раз бессонными ночами не думала: а вдруг ошибка? Вдруг живой? Пусть калекка, пусть контуженный, душевнобольной, пусть — что хочешь, только бы вернулся! Даже если попал в плен и наказан — все равно счастье, они с Леликом поедут к отцу в любую даль, хоть на Сахалин. Только вряд ли. Немцы не оставили бы в живых пленного еврея да и не сдался бы Моисей — такой человек, в этом Роза Львовна была уверена, тем более, письмо фронтового друга... Но бывают же и ошибки!

И вот вам парадокс: теперь, через столько лет, Роза Львовна вдруг узнает, что Моисей жив, и это для нее удар! И горе, и боль, и обида. Ты его любишь, так радоваться должна, кто это молил Бога: «Пусть какой угодно, только живой?». Вот — он живой, и что же? И оказывается: лучше калека, лучше преступник, лучше ... страшно сказать... мертвый. Но — мой.

Ничего не объяснишь, ничего не поймешь, так не тебе и судить других за любовь к Петухову. Хотя, наверняка, будут еще у Фиры большие страдания — такой Петухов, чего доброго, и пьяница, и антисемит. Ни в чем не нуждался, занимал большой пост и вдруг — Израиль! Предательство, если разобраться. Он же русский человек.

... А Лелик на руках ее носил...

Обо всем этом думает Роза Львовна, рассуждает сама с собой, хочет быть справедливой, а сама, между тем, собирается.

Главное свидание в жизни женщины бывает иногда и в шестьдесят лет. Конечно, что там прическа или наряды, но новое демисезонное пальто, купленное в декабре, сегодня оказалось очень кстати. Март на дворе.

Роза Львовна аккуратно укладывает в сумку фотографии: Лелика принимают в пионеры, Лелик с классом в день окончания школы, а это — она сама, с Доски Почета, 1950 год, молодая, с медалью... .. Свадебные снимки, Фира, как ангел, это — в сторону, вообще, надо спрятать подальше. А его кандидатский диплом возьму, и все авторские свидетельства, восемь штук. Восемь изобретений — не шуточное дело, один даже есть заграничный патент. Вот, какого сына вырастила Роза! Она вырастила, выучила и вывела в люди.

Роза Львовна защелкивает сумку, раздувшуюся от бумаг, и все-таки идет к зеркалу. Губы надо подмазать, платок — к черту! Надену вязаную шапочку. И никто этой женщине больше пятидесяти не даст! Потому что не расплылась, не опустилась. А седые волосы — это благородно, сейчас модно, даже девочки носят седые парики.

... Почему она выбрала местом встречи Юсуповский сад? Наверное, можно догадаться: потому что последний раз в жизни они гуляли все втроем — она, четырехлетний Лазарь и Моисей. Было это в субботу вечером, двадцать первого июня. А жили тогда рядом, на Екатерингофском. Но, конечно, когда Моисей вчера позвонил, она ничего в виду не имела, сказала первое, что в голову пришло, а пришел в голову Юсупов сад.

— Здравствуйте, Роза Львовна, говорит Кац по вашей открытке, — начал свой телефонный разговор Моисей, — я получил открытку и решил сразу позвонить.

Голос его оказался удивительно похожим на голос сына, только — акцент, а Лелик говорит чисто, как диктор.

Старалась разговаривать достойно, без волнения :

— Здравствуй, Моисей. Так как теперь выяснилось, что все эти годы ты был жив, м о е м у сыну необходимо уточнить свои анкетные данные. На случай заграничной командировки.

Никакой командировки не предвиделось, особенно теперь, после истории с Фирой, но Роза Львовна продолжала :

— Раньше он писал: отец погиб на фронте, теперь же необходимо указать место жительства и работы.

— Я на пенсии, — грустно сказал Моисей.

— Тогда последнее место и должность.

— Если надо, я могу сейчас приехать, — предложил он, — адрес я знаю, выяснил в справочном...

— Поздно тебе понадобится адрес сына, — сказала Роза Львовна заранее приготовленную фразу, — приезжать незачем, у тебя своя жизнь, у нас — своя. Если ты очень хочешь, можно встретиться. Завтра. Часа в четыре. В Юсуповском саду у входа.

— Хорошо. Я приду в четыре, — покорно согласился Моисей.

На двадцать минут раньше он явился, а возможно, и больше. Роза Львовна сама почему-то оказалась около сада без четверти четыре, и издали, с противоположной стороны Садовой, сразу увидела : уже стоит. С Лазарем, кроме голоса, у этого гопника ничего общего не оказалось, разве что цвет глаз, но выражение совсем другое, как у старой клячи. Какой-то ма-

ленький, худенький... Эх, Моисей, Моисей, разве так выглядел бы ты сейчас, если бы не совершил предательства к жене и сыну!

— А ты, Роза, совсем не изменилась,— сказал Моисей, когда она подошла,— все такая же, я просто поражен.

Ну что, сказать ему все, что думаешь, что он заслуживает услышать?... Зачем?

— Пойдем, сядем, — предложила Роза Львовна, внимательно оглядев ношенные-переносные ботинки Моисея и его куцее пальтишко без двух пуговиц, первой и четвертой, — или, может быть, ты замерз? Так я могу пригласить тебя в кафе.

Не ответив, он по грязной, раскисшей дорожке потащился к лавочке и сел, подпернув на коленях брюки, на которых кроме пузырей, ничего не было. Роза Львовна, не торопясь, достала из сумки газету, постелила и аккуратно села, чтобы не запачкать новое пальто.

— Ну, говори,— сказала она.

— Что я могу сказать? Когда я решил... я встретил ту женщину... ну, когда мы написали тебе то письмо... я подумал: так будет лучше, ты гордая, и тебе будет легче оплакать мертвого, чем узнать— забормотал Моисей.

— Это меня не интересует: женщина, твоя ложь,— перебила его Роза Львовна,— сообщи последнее место работы и с какого года на пенсии. Адрес я знаю. Тоже нашла в справочном.

— На пенсии я с января 1965 года, а работал в торговой сети.

— Должность?

— Продавцом.

— Ты же имел образование?! Специальность техника!

— Ну, так получилось. Семья...

— Можно содержать семью и при этом работать честно. Да... Значит — продавец... А я вот еще не на пенсии. Старший библиотекарь. А Лазарь — кандидат. Скоро поедет в Москву, вызвали в Министерство.

Моисей молчал. Она ждала, что сейчас он начнет расспрашивать о сыне, но он молчал. И в это время вдруг начался дождь. Сразу стемнело, мелкие капли сыпались на скамейку.

— Пойду, — угрюмо сказал Моисей и поднялся, — поезд у меня в 16.50, а еще купить надо, в Шапках с продуктами плохо.

И тут Роза Львовна не выдержала :

— Поезд у тебя? — закричала она, вскакивая. — А совесть у тебя есть? Как у сына дела, чего он добился в жизни — это тебя интересует?

— Интересует, — буркнул Моисей, переступая своими дырявыми ботинками в луже, — ты же сказала — кандидат. И соседей спрашивал. Квартира у вас и машина. Кандидаты. В Министерство! Библиотекари! «Имел специальность техника!» А — когда трое детей и жена больная?! Когда жрать нечего?! «Содержать семью и работать честно!». Спасибо за науку, гражданин начальник! Конечно, тогда я пришел нетрезвый, это безусловно. Но зачем он от меня, как от заразного? Он же сын... Вот... — грязными, негнувшимися пальцами он шарил по карманам, полез в пальто, потом в пиджак, — вот, отдай, скажи: спасибо от родного отца! Он мне тогда дал, так это я долг возвращаю! Я брал в долг! — Он совал в руки изумленной Розе Львовне смятый рубль и какую-то мелочь.

— Да что ты... — говорила она, отступая, — зачем? У нас есть, мы ни в чем не нуждаемся...

— Есть — и на здоровье! — кричал Моисей. — Не нуждаетесь, и прекрасно! Мне вашего не надо, я пенсию имею, за работу! Всем, чем обеспечен!

Внезапно он выхватил у Розы Львовны сумочку, открыл ее, высыпал туда деньги, повернулся и чуть ли ни бегом направился к воротам. Роза Львовна, вконец растерянная, нерешительно пошла за ним. У ворот он замедлил шаг, видно, запыхался, но продолжал уходить, не оборачиваясь.

Так они и двигались к Сенной площади друг за другом. Роза Львовна в каких-нибудь десяти шагах видела впереди старческую спину, сутулые узкие плечи, обтянутые старым пальто, желтую сетку с какими-то кульками — откуда он ее вытащил? В кармане была, наверное, так.

Моисей не оглядывался.

Они миновали рыбный магазин, перешли Московский проспект, теперь Роза Львовна почти догнала его. Куда он? К метро, конечно. На вокзал лучше всего — на метро.

Вот и состоялось их последнее свидание...

— Моисей! — крикнула Роза Львовна. — Моисей, стой!

Голос ее неожиданно пресекся, густой зеленоватый туман застлал глаза, ноги ослабели...

— Что с вами, мамаша? — участливо спросил молодой голос, и Роза Львовна почувствовала, что ее крепко взяли под руку. — Вам плохо?

— Ничего... остановите его... гражданина, — еле выдохнула она, пытаясь поднять руку, — вон тот, пожилой, с сеткой...

— Нету там никого, мамаша, вам почудилось. Вы не нервничайте. Можете стоять?

— Я стою. Все уже проходит. Прошло. Спасибо.

Зеленая мгла рассеялась, и Роза Львовна увидела рядом встревоженное лицо в очках. Совсем мальчик, студент, наверное.

— Все прошло, вы идите, молодой человек, спасибо вам, я сама.

Она освободила руку и шагнула вперед. Моисей исчез. Народу поблизости было немного, она внимательно вгляделась — нету. У входа в метро нет, и на трамвайной остановке, и у магазина. У Розы Львовны зоркие глаза, очков не носит, не могла она ошибиться. Моисей Кац пропал, как провалился.

В последний раз Роза Львовна медленно и тщательно оглядела Сенную площадь. Что ж... Нет так нет. Сорок лет не было — и опять нету. Значит, так оно и правильно, что ни делается — все к лучшему. Роза Львовна крепко прижала к себе сумочку и пошла на остановку.

8

Наконец-то подошла очередь поговорить о Семеновых. А то уж так, по правде сказать, надоели все эти драмы и трагедии, пьяная Антонина с распухшим глазом и синяками по всему телу, заплаканная Роза Львовна, молчаливый и похудевший Лазарь. Да что их всех перечислять, бумаги не хватит, а мы с вами — тоже люди, у нас и дома хватает неприятностей, и на работе, а тут еще — видели? Сел человек раз в жизни, в свободное от дел, хозяйства и телевизора время почитать книжку — и опять ужасы, разводы, слезы, треугольники какие-то... И все герои, как один, или, сволочи или вовсе — аморальные уроды. Остается только окончательно решить, что это так называемое «сочинение» — просто клевета на нашу действительность. А как вы думали? Как будто нет вокруг здоровых, веселых, румяных людей, спортсменов, как будто никто не едет на БАМ и КАМАЗ, будто не ходит по нашему городу умная интеллигенция с портфелями, этюдниками и творческими замыслами ... И погода — всегда плохая. И в магазинах — очереди.

Все. Передых. Расслабились.

Мы у Семеновых. Семья у них крепкая, дружная, здоровье отличное, и это не случайное везение, просто никто не пьет и не валяется по диванам с книгами, а все работают, так что болеть и ныть тут некогда. В комнате тепло и чисто, все блестит — от пола, покрытого лаком, до мебели и окон. Сын — отличник английской школы, председатель совета отряда, глава семьи Семенов — передовик производства, портрет его висит во дворе завода. Не фотокарточка какая-нибудь, а настоящий портрет, нарисованный настоящим художником. И характеры у всех спокойные и уживчивые; с соседями никогда никаких ссор. Вот, Тютини, старики уже, Марья Сидоровна, когда ее уборка, бывает, и пыль в коридоре в углу оставит, и плитку плохо моет. Но разве ей когда слово сказали? Ни разу. Наоборот, всегда: Марья Сидоровна, я — в молочный, вам кефиру взять?

Счастливые люди редко бывают злыми, это известный проверенный факт, а Семеновы со всех точек зрения имеют право называться счастливыми людьми.

Вот только, что такое счастье?

Один не очень уважаемый человек говорил, что счастье, мол, это максимальное соответствие действительного желаемому. Если отбросить наши с ним личные счёты, то, может быть, он и прав? Все дело в том, что для кого — желаемое. Какая цель? А если не дубленка, а Коммунизм? То-то.

Но, с другой стороны, есть мнение, что цель — ничто, а движение — все, и это уже не кто попало придумал, а какой-то классик, чуть ли не теоретик перманентной революции.

Есть еще люди, которые утверждают, что счастье — это когда нет неприятностей. Что-то в этом есть, и как-то, лежа бесплатно в больнице « 25 Октября»... Ладно. А вот счастье Семеновых как раз заключается в том, что они не ищут этому состоянию никаких определений или — себе оправданий : почему, дескать, нам хорошо, когда другому, той же Розе Львовне, плохо. Вообще, они не занимаются решением проблем, а просто живут. На вопросы знают ответы, знают, чего хотят и что надо сделать, чтобы их мечты стали явью. И делают дело, а не ждут, когда придет дядя или детский волшебник Хоттабыч. Поэтому я считаю, что, если уж где и отдохнуть нам с вами, так только у Семеновых, где в настоящее время хозяин дома, сидя за столом, ест борщ. Восемь часов утра. Семенов пришел с ночной смены, сын уже в школе — сегодня сбор металлолома, а Дуся на больничном. Вот тоже повезло, всего день была температура, а врач уже неделю не выписывает, но платят сто процентов.

Чистая клеенка. Тарелка с золотым ободком. Борщ украинский с чесноком и сметаной. Свет горит еще, темно на улице.

— На Пасху буду две смены работать, в ночь и в день, — говорит Семенов, откусывая хлеб.

— Чего?

— Мастер сказал: двойной средний и к майским премию выпишет. А, может, и живыми деньгами. Четвертной. Никто не хочет выходить, все верующими заделались.

— Еще не скоро Пасха...

— Доживем. Парню, если перейдет с пятерками, велосипед надо покупать, обещались.. Ты-то, тоже, небось, пойдешь куличи святить?

— Пойду. А что мы, не люди?

— Верующая, значит?

— Ладно тебе.

— Если богомольная, то где твоя икона?

— С ума сошел! Сын же у нас. Пионер! Ребята из класса придут, потом Майе Сергеевне скажут — у ихнего председателя дома религиозная пропаганда.

— Ишь ты, «пропаганда»! Пошутил я. И куда их нам, эти иконы, всю комнату портить. Только тогда скажи другое: как вам Христос велел, «не воруи»?

— Не укради.

— А из чего ты пододеяльник вчера строчила?

— Ой, да отвяжись ты с глупостями!

— Нет, а все же: купила бязь на свои или все-таки с завода приволокла?

— Это не воровство. Воровство, это если у людей, а я со склада. Там этой бязи знаешь сколько валяется? Девятый год работаю, все валяется, скоро в утиль спишут. Не я возьму, другие в два раза больше утащат. Не обеднеет твое государство, все берут — и ничего. Хоть ваш начальник цеха, а хоть и замдиректора.

— По-твоему, честно?

— А на улице если нашел, поднять — честно? Да хватит тебе болтать лишь бы что! Не на собрании. Доедай и ложись, я уже постелилась. Разговорился тут, депутат!

— Дуська, не нервничай, я так. Тебя дразню. Борщ вкусный, будь здоров! Хорошо, когда жена дома.

— Ясное дело, гулять — не работать! Ой, чуть не забыла! Эти-то в Израиль собрались.

— Кто?

— Лазаря жена с Петуховым, ну, с начальником-то. Чего делаешь квадратные глаза? К Петухову она ушла, уезжают в Израиль.

— Ну?!

— Вот и «ну». Татьяна в нервную больницу попала.

— Ну, дают! Не ожидал от Петухова. Все было: машина казенная, по заграницам бесплатно ездил. У кого все есть, всегда мало.

— Я вот думаю, а может, он еврей? Похож.

— Ладно, Евдокия, я спать пошел. Хрен с ними со всеми, нас, слава Богу, не касается, я с этим Петуховым и знаком, считай не был — «здрате — досвиданья».

И верно, — прав Семенов, не касается. И пусть он спит, слесарь шестого разряда, золотые руки, ударник труда. Он не после гулянки спит, а после смены.

А мы посидим еще немного около батареи парового отопления, неделю назад выкрашенной масляной краской в голубой цвет. Молча посидим, чтоб не мешать, только отодвинем жесткую, накрахмаленную занавеску и поглядим за окно, где среди темного, осевшего снега раскинули ветки мокрые деревья.

Тает, со вчерашнего дня тает, с крыш вода течет и капли стучат по железному карнизу.

глава третья
ПРАЗДНИК

1

Если в первомайский день посмотреть с вертолета, праздничная площадь похожа на лохань, в которой стирают белье. Колышется, плывёт многоцветная пена, лопаются в воздухе пузыри воздушных шаров, ручьями стекает в улицы толпа, устало опустив свернутые, отслужившие знамена, волоча по земле тяжелые портреты.

Если же посмотреть с вертолета на Марсово поле — это тоже очень внушительное зрелище: точно факелы, поднялись над ним обернутые красными полотнищами фонари, расставленные какими-то особыми геометрическими фигурами, только с высоты различимыми и понятными. А в самом центре днем и ночью вечным пламенем полыхает желтый костер.

Красные флаги хлопочут на ветру вдоль решетки Кировского моста, красные флаги свисают со стен домов, красные флаги в руках тысяч людей, заполнивших в это праздничное утро улицы, набережные, переулки и скверы. Красные улицы, красные набережные, красные переулки и скверы. Красный город, если смотреть с вертолета.

И красные повязки на рукавах румяных дружинников, смотрящих с женщиной в несвежем белом халате около белой машины с красным крестом во лбу.

— Проезд закрыт. Прохода нет, нельзя здесь, — устало повторяет и повторяет один из дружинников, главный, не в первый раз произносит он эти слова и давно бы надо гаркнуть, но он говорит так тихо только потому, что — воспитанный человек, не может грубить пожилой женщине, да и неохота портить настроение в такой день. Но, наверное, тоже не в первый, похоже, в десятый раз твердит свое бестолковая и настырная докторша, талдычит охрипшим сломанным голосом

— Там возможен инфаркт, вы что, не слышите?! Там инфаркт, понимаете, нет?

— Проезд закрыт,— из последних сил говорит дружинник, даже и теперь не повышая голоса.— Видите грузовики? Ваша машина просто не пройдет, что я могу сделать?

Грузовики стоят сомкнутым жестоким строем, перегорев улицу. Врачиха замолкает: дошло, наконец. Секунду она бессмысленно топчется, уставившись на широкий, неумолимый зад грузовика, потом мрачно лезет в свою машину и громко хлопает дверцей. Взрывается мотор и, медленно развернувшись, «скорая» уезжает искать объезд.

А на Марсовом Поле уже толпа — флаги, портреты, шары — хлынула демонстрация.

2

Приглашение на трибуну Петру Васильевичу Тютину прислал Совет ветеранов. Помнят, черти, ценят, уважают старого солдата, опять, смотрите, солдата, не мастера, тем более, не пенсионера, а именно солдата!

Получив пригласительный билет, старик долго ходил с ним по квартире, показал жене и Дусе Семеновой, потом пошел во двор, тоже показал кое-кому, а еще позвонил на работу Анне и торжественно объявил, что берет с собой на площадь обоих внуков, Тимофея и Даниила. Дочь, однако, сказала, что долгосрочный прогноз обещал холодную погоду и осадки, а мальчики оба кашляют, пусть лучше посидят дома. Ну, что ты скажешь! Обычная женская глупость, как будто не ясно — для любого мальчишки пойти с дедом-фронтовиком на трибуну в сто раз полезнее для жизни любых горчичников с микстурами! Петр Васильевич крикнул, выгреб из кармана груды двухкопеечных и принялся названивать друзьям: поздравлял с наступающим, спрашивал, как в части здоровья, встретимся ли на День Победы, а в конце, между прочим, сообщал, что вот хочешь — не хочешь, а Первого Мая придется идти на трибуну,

Совет ветеранов требует, билет на дом принесли, так что болен — здоров, никого не касается, будь любезен явиться в 10.00 и принимать парад трудящихся, товарищ Тютин.

В день праздника с утра хлестал дождь, ползали по небу мордастые и злобные тучи, похожие на армии Антанты со старого плаката, и в груди жало, в силу чего Петр Васильевич тайком от жены принял нитроглицерин.

Марья Сидоровна несколько раз с тревогой поглядывала на мужа, но сказать ему, чтоб остался дома, не смела, да и правильно: что без толку раздражать старика?

До Дворцовой Тютин добрался быстро и хорошо, дождь как раз попритих, по звенящим от репродукторов улицам бежали опаздывающие на демонстрацию, многие, конечно, уже хвативши, нехорошо вообще-то — с утра, да у кого язык повернется осудить — такой день! Еще во дворе Петр Васильевич столкнулся с Анатолием. Тот был в сбитой на затылок кожаной шляпе, в расстегнутой нейлоновой куртке, с распахнутым воротом белой рубахи.

— С праздничком, Петр Васильевич! — рявкнул Анатолий, и на Тютина понесло сивухой.

— Тебя также, — сдержанно отозвался Петр Васильевич. Анатолий ему не нравился.

— Демонстрировать идете? — не заметил тот. — А и я тоже. Знамя до Дворцовой понесу, у нас за знамя два отгула обещали.

— Постеснялся бы ты, Анатолий! — все же не выдержал Тютин. — Кто это у вас придумал такой цинизм? Вот напишу в райком. И ты — хорош! Это же честь — нести заводское знамя!

— Не смейши человека в нерабочий день, папуля! «Честь»! Это все словечки из до нашей эры. Вы уж их забирайте с собой на заслуженный отдых, а нам давай деньгами.

Тютин больше не стал разговаривать с дураком, ушел, но настроение все-таки подпортил, паршивец, и сердце опять засосало. Как у них все просто, черт его знает! Такой за целковый будет тебе крест вокруг церкви на Пасху таскать, ничем не побрезгует, лишь бы платили, беспринципность полная. Это поколение такое — горя не знали. Черт с ним, паршивая овца, хороших людей у нас намного больше.

... Что там ни говори, а приятно стоять на трибуне среди заслуженных людей, почти рядом с руководителями города, приветствовать — руку к шляпе — проходящие мимо мокрые, но все равно веселые, гулкие колонны. Демонстрация только еще вступила на площадь.

— Слава советским женщинам!

— Ур-р-а-а!

Это уж верно, слава, сколько они на своих плечах вытащили, наши бабенки, и до сих пор тащат. А вон идут — нарядные, красивые, точно не они — и у станков, и на машинах, и в поле. Нету в мире красивей наших женщин, знаю, Европу прошел, повидал. Нету!

— Слава советской науке!

... и в космосе мы первые, Саяно-Шушенскую, вон, сдаем...

— Ур-а-а-а! — ревет площадь.

Что-то в груди как будто стало тесно, как будто сердце там не помещается, жмет на ребра, подпирает под горло. Петр Васильевич вынул нитроглицерин, пальцы плохо слушались, и уже чувствовал — надо уходить, быстрее уходить, не хватало еще грохнуться тут в обморок, чтобы сказали: приглашают на трибуну старья, а они и стоять уже не могут... И в глазах смутно... наверное, упало атмосферное давление, для гипертоников — последнее дело. Торопясь, стараясь не думать про тупую боль в груди, не думать про нее и не бояться, Тютин спустился с трибуны и пошел к выходу, к улице Халтурина.

Боль в груди, однако, не утихла, она была другой, не такой, как обычно, была незнакомой и грозной, росла. Но сейчас-то не страшно, вон уже и Марсово Поле, добраться бы как-нибудь до Литейного, а там автобусы да и машину какую-нибудь можно остановить... только бы домой, скорее бы домой... темнеет, дождь, что ли, опять собирается, воздух, как мокрая вата, дышишь, дышишь, а все без толку...

Боль сделалась громадной и красной. И захлестнула весь город.

На Марсовом Поле веселье. Докатилось сюда разжеванная и исторгнутая площадью людская масса, повсюду на скамейках, на дорожках, на газонах — обрывки расчлененной толпы. Прямо на мокрой земле, на только что продравшейся траве расстелен кумачовый плакат. Вдоль белой надписи «МИР И СОЦИАЛИЗМ НЕРАЗДЕЛИМЫ» — батарея пивных бутылок, две «маленькие», груда пирожков, бутерброды с сыром.

— С праздником, старики!

— Будьте здоровы!

Подняты бумажные стаканчики и сдвинуты.

— Ура, ребята. Вздрогнули.

— Смотрите, дед-то как накирлся. Вон, на скамейке. Лежит, как труп. Когда успел?

— Долго ли, умеючи?

— Умеючи-то долго!

— Ну, ты, Валера, даешь! Специалист ... Не шевелится. А вдруг ему плохо?

— Ага. Сейчас. Ему-то как раз хорошо.

— Пойти поглядеть....

— Иди, иди, Галочка, протрясись, человек человеку друг, товарищ и волк.

— Гражданин! Гражданин!.. Пальто расстегнул, как будто лето. А медалей сколько, и ордена... Гражданин! Эй!.. Колька! Колька! Валерка! Ребята, надо «Скорую»! Валерка!..

3

Совсем уже синее, пронзительно яркое небо над Марсовым Полем. Из кустов, из-за голых веток сумрачно и с обидой глядит розовощекий, нарисованный на фанере портретный лик. Косой пробор в гладких волосах, темный пиджак, звездочка на груди. И у Петра Васильевича на груди — тоже звездочка, орден Красной Звезды, приколот по случаю праздника.

Смотрит из кустов брошенный кем-то приколоченный к палке портрет. Смотрят в празднично-синее небо застывшие глаза ветерана Тютютина. И уже не видят, как далеко в космической вышине пролетают над городом и лопаются радужные пузыри детских воздушных шаров.

4

Наталья Ивановна Копейкина на демонстрацию не ходила. В семь часов утра сорвался с цепи будильник, долго радостно трезвонил, но иссяк. За окном лило, кричали мокрые репродукторы и она подумала, что в праздник человеку должно быть хорошо, а это — когда живешь, как хочешь. И, виновато посмотрев на поджавший губы будильник, она повернулась к стене и с головой залезла под одеяло.

Оттого, что все должны вставать и тащиться куда-то по дождю, а она лежит себе в теплой постели, как королева, Наталья Ивановне сделалось совсем уютно, и она заснула под марши, несущиеся из-за окна.

В пол-одиннадцатого, открыв глаза, подумала, что — хорошо, чисто, вчера полы натерла, в серванте посуда блестит. И пирог. А впереди целый день, который можно провести, как хочешь. Потом вспомнила, что позавчера было письмо от сына, он здоров, работает механиком. Может, и станет еще человеком? Правда, Людмила последнее время стала редко заходить, как бы не любовь у нее, как же тогда Олег?

Не спеша, Наталья Ивановна попила чаю с пирогом, оделась и пошла гулять. Потому что, сколько она себя помнила взрослой, никогда не ходила просто так, без дела, по улицам. Гуляли в садике с маленьким сыном, а как вырос, только: купить, отнести, к врачу, на родительское собрание, на работу, с работы, на работу, с работы... Это зиму, правда, грех жаловаться, Людмила где ни таскала: и в музеи, и в Музкомедию, и в Пушкин, в Лицей. Но это все равно дела для повышения культуры, тоже заботы: придти, что положено — увидеть и запомнить, сколько положено — отбыть. Нет. Сегодня она пойдет одна, куда захочет.

... — С праздником, Марья Сидоровна! Здоровья и долгих лет жизни! Петру Васильевичу тоже.

— Спасибо, Наташенька, тебя также. А Петр Васильевич на трибуну пошел, рукой махать. Не слышала по радио: кончилась демонстрация?

— Еще идет. Рано ведь.

... Наверное, сегодня весь город на улицах, идут, взявшись под руки по трое, а то и по пятеро... Почему так: человеку хорошо, когда можно делать, что хочешь, а делать, что хочешь, можно только, если ты один?.. Много все же у нас одиноких женщин, и сразу их узнаешь — семейная идет и по сторонам не смотрит, а вон те, три, здоровые, на всех мужчин заглядывают, улыбки, как ненастоящие, и лица незамужние... Смешные бабы, вцепились друг в друга, как три богатыря с той картины, самая полная — Илья Муромец... Нет, все-таки обязательно надо иногда походить одной...

Мимо старухи, торгующей «раскидаями», мимо пьяненького инвалида со связкой дряблых воздушных шаров, Наталья Ивановна подошла к лотку и купила себе шоколадный батончик за тридцать три копейки с коричневой начинкой. Давно она не ела шоколада, ну как это ни с того, ни с сего взять да и купить себе шоколад?.. А народу на улице все больше, наверное, кончилась уже демонстрация.

... А вон рыжая собака фотографируется с флажком в зубах, встала, как будто понимает: голова набок, хвост кверху, парень, совсем еще мальчишка, щелкает аппаратом, сам без

шапки — вот простудится, а мать крутись, с работы отпрашивайся. Девчонки стоят рядом и хохочут, а флажок весь в грязи, полощется в луже. Вот ведь молодежь, додумались! Мы бы никогда не посмели... больно тихие мы были, смиренные, эти не такие... Господи, что это? Крик. Да страшный какой, точно кого убивают.

У входа в гастроном толпа. И, ударяясь о стены, о лица, мечется ржавый, хриплый, отчаянный женский крик. Драка.

— Чего они?

— А пьяные...

— Милицию надо, вечно их нет, когда что...

— Побежали за милицией.

Наклонив вспотевшие лбы, набычив шеи, они наступают друг на друга. Медленно, как в кино. Наталья Ивановна, конечно уж, протиснулась в первый ряд. В руках — это ж с ума сойти! — знамена. Наперевес, как ружья. Блестят на солнце медные острые наконечники, похожие на школьные перышки N 86, теперь такими не пишут, теперь авторучки...

— Стойте! Ребята, стойте!

Наталья Ивановна вцепилась в рукав одному из дерущихся, тащит:

— Брось! Слышишь? Брось! С ума сошел?

— Отойди... с-сука...сука...убью! Уй-ди!

... Батюшки! Толька! Зверюга пьяная...

— Сука!

Здорово бы Наталья Ивановна расшиблась об асфальт, да воткнулась в толпу, подхватили.

— Ах ты, гад! Ну, погоди же...

— Куда вы, женщина, обалдели?! Такой зарежет и не охнет!

— Две собаки дерутся, третья не приставай!

Вот, идиот какой, еще в очках! Вцепился в рукав и не выпускает.

— Пусти! Твое какое дело? Пусти, говорю! Чего пристал, очкарик, тоже мне еще!..

— Женщина, вы что, выпили?

— А ты чего лезешь?! Сам пьяный, дурак чертов! Пусти, сволочь, как дам вот по очкам...

А Анатолий и тот, второй, поменьше, точно сигнал получили, кинулись, матерятся, целят друг в друга своими копьями.

И опять кричит от страха, визжит в толпе какая-то женщина.

Два наконечника — перышки. Два древка. Две пары побелевших от напряжения рук. Да где же эта милиция?!

А из серебристого репродуктора над головами толпы вдруг посыпался вальс. Точно летний, грибной, солнечный дождь. Зазвенел, заглушая крики, а дерущиеся все ближе друг к другу, лица все темнее, уже глаза...

— Гражданка, прекратите хулиганить! Хотите, чтобы и вас укокошили?

— Пусти, идиот!!!

— Совсем одурела, чего руки распускаешь? По очкам?! Дружинников надо! Тут баба пьяная дерется!

... Вырвавшись, выставив вперед руки с растопыренными пальцами, раздирая толпу, вслепую, по чьим-то ногам Наталья Ивановна уходит прочь. Скорее отсюда, скорее домой... домой! А сзади музыка, рояль... И — вопль! Это уже не женщина кричит. Скорее, скорее, наступая на бумажные цветы, на мертвые комочки лопнувших шариков... скорее... только подальше от этой толпы, от того места, где, наверно, стекает сейчас по каменной шершавой стене густая красная кровь.

5

Вечер. Зажглись над накрытыми столами, над белыми скатертями праздничные теплые огни, свет во всех окнах. С праздником!

— С праздником!

— С праздником!

— С праздником!

— Ах, дед у нас. Вот дед, безобразник! Все собрались давно, все его ждут: и дочь, и внуки Тимофей и Даниил. А он... Отправился, не иначе, к своему дружку Самохину, встретил, небось, на трибуне. Ну, я ему...

— Да ладно тебе, мамаша, придет. Не трогай старика, пусть гуляет, ветеран.

... Ярко горят разноцветные фонарики, высвечивают контуры военных кораблей.

— Линкор. Вот, самый большой — это линкор. Видишь, Славик?

— Да ты чего, папа! Не линкор, а ракетносец, линкоров сейчас не строят.

— Дожили: яйца курицу... Слышишь, Дуся?

Ну, это надо же, какие дети стали, больше нас разбираются!

... — Лелик, ну что ты — как пришибленный? «Плечи вниз, дугою ноги и как будто стоя спит». Никакой выправки. Пошел бы куда-нибудь, к товарищам. Ведь ты же совсем еще молодой человек, а киснешь в праздник около телевизора. Надо быть мужественнее, мальчик, я вот — одна тебя растила, сколько перенесла, а духом никогда не падала. Ты, наоборот, докажи, что ты сильный...

— Хорошо, мама, сейчас я докажу. Хочешь, подниму тебя вместе со стулом?

— Все твои хохмы! Лучше подойди к окну, посмотри, какая красота.

... И верно: красота. Багровое зарево огней полыхает над городом, разливается по светлому весеннему небу.

Грохочет салют, рассыпаются над Невой ракеты.

— Ой, как здорово! Раньше я внимания не обращала. Саш, я не знаю, мы там с ума сойдем, такого второго города нет!

— Лирика, Фирочка. Салют — зрелище довольно варварское, особенно, в сочетании с пьяной толпой приматов. Уверю тебя: карнавал в Венеции ничуть не хуже.

— Я понимаю... но все же, если знаешь, что ни-ко-гда...

... — Ур-р-а-а!!! — кричит набережная.

— Вот сейчас они кричат «ура», а завтра им велят кричать «Бей жидов!», и они все, как один ...

— Саша, ты прав! Ты всегда прав, а я сентиментальная, глупая дура.

— А то еще не поздно, можешь вернуться к своему патриоту-Лелику, к его маме и «Жигулям»...

— Не надо, Саша. Давай лучше посидим, вон скамеечка. Как тут мрачно, фонарики в каких-то красных саванах.

— В саванах — это точно. А что же — Марсово Поле, это ведь если разобраться, кладбище.

— Ой!

— Ну, что «ой»? Обыкновенный портрет. Кому-то из трудящихся было лень нести и бросил.

Еще залп. И ракеты. И — снова залп.

— Ура-а-а-а! — со звоном встречаются над столами, ударяются друг о друга рюмки, бокалы, стаканы, жестяные кружки.

Праздник. Хорошо, когда праздник. Весело людям — и слава Богу. Ура.

ЭПИЛОГ

Что ждет нас там, куда мы все попадем, когда наши дела здесь кончатся? Никто ни разу не дал окончательного ответа на этот вечный вопрос. Мог бы теперь, в качестве очевидца, ответить на него Петр Васильевич тютин, но молчит. Не потому ли молчит, что знает такое, чего живым знать раньше времени не положено? И не потому ли, не затем ли, чтоб поставить на место тех, кому постоянно не терпится, всегда так надменно-загадочны отрешенные лица мертвых?

Чужой и строгий лежит, сложив на груди руки, Петр Васильевич. Одет он в старый свой синий костюм — все-таки по его получилось, серый оказался весь в масляной краске.

Пахнут новогодним праздником венки из словых веток, пахнут летом, сырым тенистым оврагом букетики ландышей. Похоронный автобус движется сквозь дождливый полдень, капли стекают по запотевшим изнутри стеклам, молча сидят провожающие — родственники и близкие соседи.

Фронтвики поехали в другом, обычном автобусе, и правильно поступили, старые все люди, для каждого похороны друга — репетиция, пусть себе едут отдельно и даже разговаривают на посторонние темы, пускай, успеют еще...

Марья Сидоровна молчит, вздрагивая от толчков на переднем сиденье, дочь, распухшая от плача так, что и не узнать, обнимает ее за плечи, вдоль стен неудобно выпрямились Роза Львовна, Лазарь Моисеевич, Семенов — вот кто помог с организацией похорон, золотой мужик! — Дуся, Наталья Ивановна. Антонины нет, сама не своя с того дня, как забрали Анатолия, ничего не понимает, никого не слушает, бегает где-то целыми днями, говорят, нашла ему какого-то особенного адвоката. Роза Львовна ее уговаривала: таких бандитов, Тоня, надо, извините, расстреливать на месте, он же человека инвалидом сделал, а мог и убить.

Куда! Наберет продуктов — и в «Кресты», а подследственным передачи не положены, вот и тащит со слезами обратно, а назавтра — опять. Похудела, глаза, как фонари, живот уже торчит — на пятом месяце, о чем только такие бабы думают!

Второго хочет рожать, и снова без отца, а самой сорок с лишком. Подумала бы лучше о Валерке, мальчишка хилый, слабенький, как картофельный росток, а она убивается по этому бандюге, сына от него, видите ли, ждет.

Зато Полине, той хоть бы что. «Так», — говорит, — «паразиту и надо. Осудят, возьму развод, отмечу заразу на хрен к такой-то матери! Пьяная всегда, ему, Анатолию, самая пара».

Ехать еще далеко, — по Садовой, по Стачкам, к Красненькому кладбищу, где с большим трудом — фронтовые друзья в больших чинах хлопотали — удалось добиться разрешения похоронить. В могилу к отцу, скончавшемуся сорок с лишним лет назад, положат теперь Петра Тютина, это называется «подхоронивать», но пока выколотишь нужные бумаги, все ногиносишь.

Марья Сидоровна не плачет, отплакалась. Да еще утром дочка дала выпить какую-то таблетку, от которой все внутри задеревенело, и руки, как чужие, и мысли в голове, как не свои. Что-то силится вспомнить вдова Тютина, а никак не может, что-то важное, неотложное, долг, будто, какой.

Мелькают за дождем дома, трамваи, чужие люди едут в них, небось, многие еще недовольны: что за черт, приходится в такую погоду куда-то тащиться. Не понимают, какие они счастливые, раз не пришел пока к ним день, когда и они поедут в таком вот автобусе — провожать...

Не отстает, мучает Марью Сидоровну тень какой-то мысли, треть пути проехали, а она все не вспомнит, что же это такое. Вот и Сенная площадь, автобусный вокзал, отсюда они с Петром прошлое лето ездили в Волосово... А вон метро, а была когда-то церковь... Церковь Успения Богородицы... И вдруг поплыло в глазах, разъехалось, стало мутным, грязно-зеленым, черным...

... Да где же это она? Так спокойно, тихо, не хочу просыпаться, не трогайте, что они будят, трясут за плечо?..

Не хотелось Марье Сидоровне возвращаться, остаться бы там — в темноте и покое, где нет похоронного автобуса, нет тяжелого запаха вянущих ландышей, нет гроба, где это ведь вовсе не он лежит, не он, вчера кричала, звала, по всякому упрасивала — не отозвался.

... Но пришлось ей вернуться, заставили. Лили в рот какое-то лекарство, плакала дочь, говорила что-то про внуков, Наталья Ивановна растирала руки.

... Автобус остановился перед светофором.

И тут зеленая мгла совсем рассеялась, ясно стало в памяти и Марья Сидоровна строго и громко сказала :

— Надо петь. Он велел: у гроба чтоб песня была.

— Мамочка, успокойся, мамочка, не надо... — запричитала дочь и полезла с каким-то пузырьком.

— Молчи, — Марья Сидоровна отвела ее руку, — я не с ума сошла, я тебе говорю — он велел. И надо выполнить. Больше никогда ни о чем не попросит, сказал, чтоб была песня, военная, потому что — солдат.

— Мамочка, — опять попробовала дочь, — как же, на похоронах — и петь?!

— Дикость! — ужаснулась Дуся Семенова.

— А когда живой человек умирает — не дикость ?! — закричала Марья Сидоровна.

— Ладно, — решил Семенов, — чего спорить, когда покойный сам распорядился. Какую петь?

— Солдатскую, — стояла на своем Марья Сидоровна.

Все молчали. Роза Львовна смотрела в окно, точно происходящее ее не касается, да и не знала она подходящих песен. Лазарь во время войны был маленьким, а на действительной не служил, тоже не знал. Наталья Ивановна, посматривая на вдову, вытирала слезы — пожилой человек, а до чего додумалась... Дуся только покачала головой, пожала плечами и откинулась к спинке сиденья.

— «Землянку», что ли?— предложил Семенов, но жена гневно взглянула на него и он замолчал. Замолчал и виновато посмотрел на Марью Сидоровну, сперва виновато, а потом даже испуганно, потому что она опять побледнела, глаза громадные, губы трясутся.

— Марья Сидоровна, вы не волнуйтесь... а ты, Евдокия, помолчи,— решается Семенов.— Сейчас, Марья Сидоровна. Сообразим.

«Письма добрые очень мне нужны, я их выучу наизусть, через две зимы, через две весны отслужу, как надо и вернусь...»

Молодец Семенов, хорошо поет, ему бы в театре выступать!

«... Через две, через две зимы, через две, через две весны, отслужу, отслужу, как надо и вернусь...»

Ох, если бы так! Пусть — не через две, пусть через пять, хоть через десять зим, только бы вернулся живой! Пусть раненый, больной, виноватый, пусть старый и беспомощный, а — живой!

Вы ведь тоже это понимаете, правда, Роза Львовна? И вы, Наталья Ивановна, потому что сын ваш сейчас далеко, кто знает, как он там, и ничего вам не надо — пусть плохой сын, эгоист, пусть грубый, пусть даже хулиган и бездельник, а пусть вернется, пусть вернется!

Ну, а вы, вы-то что сцепили зубы, Лазарь Моисеевич? Песня наша не нравится или переживаете? Чего вам переживать? Отца вы знать не знали, а ее, глупую, разлюбившую, ту, что даже сына вам родить не удосужилась, стоит ли жалеть? Да, не стоит. Да, глупая. Разлюбила, променяла на подонка, карьериста, на беспринципную сволочь, потеряла рассудок, не видит, что не она вовсе нужна Петухову, а виза в Израиль, а останься он тут, на своем руководящем посту, он на нее, на евреечку, и плюнуть бы побрезговал. Дура сумасшедшая, но... пусть вернется!

Пусть они все вернуться, все, кого мы потеряли по собственной вине, по легкомыслию, слепоте, трусости или равнодушию, кого не захотели во-время понять, не сумели защитить, простить, не смогли удержать, и вот уже подхватила их и, крутя, всосала черная воронка — прошлое.

Сколько таких «черных дыр» на пути, пройденном каждым из нас? Они не зарастают травой, их не заносит песком, не засыпает снегом, они не заживают, становясь рубцами. А, между тем, и старость недалеко. Все быстрее проходят долгие зимы и мелькают короткие весны, все чаще и длиннее бессонные ночи. Скоро будет поздно.

Пусть они вернуться, мы ждем, мы не забыли и уже никогда не сумеем забыть их. Пусть вернуться!

Анна плачет, ревет в голос, Дуся скупно и вороватенько крестится, с опаской поглядывая на мужа, а Семенов — тот во всю разошелся. Голос у него громкий, он везде хорошо поет, хоть на сцене, хоть в строю. И Наталья Ивановна подпевает, выводит тоненько и чисто, с переливами.

Застыла с сухими глазами вдова Марья Сидоровна Тютинна. Нет, не может быть того, чтобы так все и кончилось — этим гробом и дождем за окнами. Ведь не для холодного глухого мертвеца, чужого и молчаливо-враждебного, поют сейчас Семенов с Натальей. Он их и не слышит. А Петр Васильевич Тютин обязательно слышит.

Марья Сидоровна не плакала. Теперь она наверняка знала: в этом страшном ящике Петра нет.

Проехали Сенную площадь.

... Сколько жить-то осталось? Ну, год еще, ну — два...

Через две зимы... Ничего, она подождет, потерпит, в войну больше ждали. Ничего... А пока все правильно. Так он хотел.

Так велел. Все сделала. Выполнила.

«...через две, через две весны...»

ЧЕРВЕЦ

*Да, для нас это грязь на калошах
Да, для нас это хруст на зубах.
И мы мелем, и месим, и крошим
Тот ни в чем не замешанный прах.
Но ложимся в нее и становимся ею,
Оттого и зовем так свободно — своею.
Анна Ахматова*

глава первая

ЛЕНТОЧНОЕ СУЩЕСТВО

Утром четвертого января 197... года где-то перед рассветом Павел Иванович Смирнов увидел в своей комнате гигантского ленточного червя, точь-в-точь такого, какой однажды приснился ему в детстве в страшном сне.

В полной тишине и в темноте, кое-как нарушаемой только слабым отсветом, падающим из окна, белый, как вафельное полотенце, и такой же широкий червяк неожиданно появился из-под плинтуса и, извиваясь согласно своей природе, потянулся через всю комнату к обеденному столу. Он тянулся, тянулся и тянулся, а Павел Иванович замирал и ждал, когда же и чем он кончится; точнее, когда прервется этот дурной угнетающий сон, потому что Павел Иванович точно знал: это сон.

Однако червяк определенно существовал. Павел Иванович успел осознать, что сам он — все-таки бодрствует, сесть на тахте, поджать ноги, посмотреть на часы, вспомнить в подробностях свой детский ночной кошмар и то, что за ним последовало в жизни, — а, между тем, все новые и новые метры «полотенца» непреклонно лезли из-под плинтуса. Нет, иначе не скажешь: и шириной, и толщиной червь был самоходным вафельным полотенцем, и, тем не менее, это был живой червяк, потому что, хотя пока и неизвестно было, чем он когда-нибудь кончится, начинался он, несомненно, головой: утолщение вроде кабачка было прикреплено к широкому туловищу беззащитно тоненькой шеей. Эта же самая или очень похожая голова была, помнится, и в детском кошмаре.

Достигнув стола и безо всякого затруднения вползая на него первыми метрами тела, в то время как последние все еще оставались под плинтусом, червяк начал рыскать безобразным своим «кабачком» вправо и влево и, обнаружив масленку, принялся вылизывать ее длинным, раздвоенным, как у змеи, языком. Впрочем, не будучи силен в биологии, Павел Иванович не взялся бы с уверенностью утверждать, что это — язык, зуб или вообще жало. Сидя на диване, он смотрел на животное, и ощущение нереальности происходящего не давало ему окончательно испугаться или даже как следует удивиться.

Между тем, покончив с масленкой, червяк потянулся к хлебнице, и Павел Иванович совершенно некстати с раздражением подумал, что ведь сто раз обещал себе убирать после еды продукты, мать терпеть не могла сохнувших корок, она бы... но тут червяк неожиданно дернулся и съехал со стола, громко стукнув головой об пол. Как будто его тянули где-то за хвост, он начал укорачиваться, метр за метром уезжая обратно под плинтус, пока дело не дошло до головы, которая не пролезала в щель, однако, в конце концов, неожиданно сдавшись, сделалась абсолютно плоской, как лопнувшая футбольная камера. И исчезла.

Пожалуй, только тут Павел Иванович окончательно понял, что не спит. Он встал с дивана и босиком подошел к окну, несмотря ни на что уверенный: увидит только темный, засыпанный снегом пустой двор. Однако увидел дворника, который, стоя под самым его окном, сноровисто наматывал на какой-то барабан нечто, похожее на необычной ширины белый пожарный шланг. Закончив работу, дворник с трудом поднял барабан на плечо и зашагал прочь, глубоко проваливаясь в нерасчищенные сугробы.

ВРЕМЕННО НАПРАВЛЕН

В полдень по двору, как обычно, мотались три омерзительных черных кота. То и дело перебегая узенькую тропинку, протоптанную в нападавшем за ночь снегу, они топорщили шерсть и мерцали желтыми глазами. Дворник Максим этих котов игнорировал так же, как и подведомственные

ему сугробы. Повернувшись ко двору спиной, он сидел ватным задом на ледяных ступеньках, скользящих вниз, в подвал, курил сигарету и слушал транзистор. В настоящий момент приемник быстро лопотал на английском языке, дворник же время от времени покатывался со смеху. В это время снова пошел снег, нарочито падая мокрыми хлопьями на плечи Максима. Падал он и на тропинку, по которой, путаясь в котах, осторожно пробирался Павел Иванович с жухлым портфелем.

Привлеченный голосом транзистора, он разглядел за неразберихой хлопьев неподвижного дворника и приблизился.

— Здравствуйте,— сказал он ватной спине, подойдя вплотную.

Дворник тотчас поднялся и повернул к Павлу Ивановичу свое красивое, породистое лицо, на котором обозначилось вежливое недоумение, что-то вроде «чем могу служить, милостивый государь?».

Интеллигентность дворника обескуражила Павла Ивановича, и, оробев, он некоторое время молча смотрел в черные, подернутые тоской глаза. Потом все же спросил:

— Вы мне не скажете, что это было? Ночью? А то у меня такое ощущение, будто я... видел галлюцинацию. Я имею в виду червяка, которого вы потом...

Дворник иронически усмехнулся:

— Можете считать, что вам приснился научно-фантастический сон. *Scinces fiction*. Не более того. Вы меня поняли?

Павел Иванович понял. Не понять было трудно. Он знал, что дворником сидящий перед ним человек работает временно, а постоянное место его работы — научно-исследовательский институт, расположенный в соседнем здании. О том, чем там занимаются, ходили разные слухи, но сотрудники, многие из которых жили с Павлом Ивановичем в одном доме, хранили многозначительное молчание, имея при этом весьма достойный вид, что говорило само за себя. Поэтому никаких вопросов Павел Иванович ученому дворнику задавать не стал, но уходить тоже не хотелось,— этот парень чем-то ему нравился, ужасно был симпатичен, и Павел Иванович сказал:

— Вас понял. Разумеется, это был сон. Но, знаете, что удивительно: ведь я и в самом деле однажды видел точно такой же сон. В детстве.. Это было в самом начале войны, накануне того дня, когда мой младший брат...

«Боже мой,— с грустью думал Максим, слушавший Павла Ивановича вполуха, так как мысли его были заняты совершенно другими проблемами.— Боже мой! Зачем мне все это знать? Для чего он силком пихает мне в башку ненужную информацию? Детские сны, младшие братишки... Чисто российская наша черта — сентиментальность. И убежденность в том, что тебе — до всех дело и всем — сплошной кайф обсуждать твои семейные обстоятельства...».

По-видимому, эти соображения довольно четко проявились на выразительном лице дворника, потому что Павел Иванович, споткнувшись на слове «бомбоубежище», краснея, пробормотал:

— Впрочем, это неинтересно. Да мне и пора. Так что всего наилучшего.

Снег продолжал валиться с вызывающей настырностью. Максим опять включил приемник и стал под музыку размышлять о том, что если сегодня к вечеру не будет оттепели, завтра ему, пожалуй, влепят выговор.

Временно направлен... Конечно, дворников в городе пока еще недостаточно. Пока... Рост духовных запросов с неизбежностью привел к тому, что никто на эту работу идти не желает, считая ее недостаточно творческой. По мнению же институтского начальства, ситуация наблюдается такая: по чистым улицам ходить хотят все, а работать — никто. Примерно в этом же духе высказался заведующий лабораторией профессор Кашуба Евдоким Никитич, когда Максим заявил ему:

— Сколько можно? Почему опять я? В августе кто в колхоз ездил?

— Стыдно, Лихтенштейн, сколько можно выкручиваться? Скверная это у вас у всех привычка. Ведь знаете, что Гаврилов сейчас оформляет документы в Брюссель на конгресс.

— Да при чем здесь Гаврилов?!

— А Лыков болен... Что же вы хотите, чтобы я сам?.. — И пошел, и пошел. Говорил пятнадцать минут, и в тот же вечер улетел во Францию, куда был командирован, чтобы сделать сообщение на тему «К вопросу о червях как объектах бионики».

А ответственный руководитель важной для престижа института работы по проблеме «Червец» старший научный сотрудник Максим Лихтенштейн после короткой, но громкой беседы в отделе кадров дал добровольное согласие отработать месяц на уборке снега в институтском дворе и — обязательно! — во дворе соседнего жилого дома («мы должны помочь городу»). В этом доме, как уже говорилось, в большом количестве проживали сотрудники института, в том числе сам профессор Кашуба с женой, разведенной дочерью Верой и двумя внуками.

Ввиду того, что все без исключения сколько-нибудь квалифицированные научные работники из лаборатории Кашубы, не считая больных, действительно разъехались собирать материалы, выслушивать доклады, заимствовать опыт, словом, делать все возможное, чтобы в короткий срок ликвидировать свою неосведомленность в вопросах червей, громадный белый червяк, из-за которого разгорелся сыр-бор, остался на руках Максима. В порядке исследования тот должен был утром и вечером питать животное различными смесями, а раз в сутки производить кое-какие замеры, совмещая научную деятельность с уборкой снега и льда. За это профессор Кашуба обещал Максиму отпуск в летнее время.

ЛИХТЕНШТЕЙН?..

Кандидат наук Максим Ильич Лихтенштейн давно уже не удивлялся и привык почти не огорчаться по поводу того, что другие ездят по заграницам, а он — нет. Максим Ильич был не идиот. И уже целых тридцать семь лет — не грудной младенец. Тем не менее, согласитесь, слегка тоскливо собираться в четвертый раз «на картошку», зная, что тот же Гаврилов опять оформляется в Брайтон, а Лыков нехотя разъезжает по каналам Венеции. Максим согласен был бы еще все то время, которое коллеги с несомненной пользой для дела проводят за рубежом, отдать науке, но где там! Именно ему,

как наиболее свободному, почему-то всякий раз напоминали, что он ест капусту, лопает брюкву, жрет в громадных количествах картошку и другие корнеплоды, да теперь вот еще и разводит во дворах сугробы и культивирует обледенение тротуаров.

Максим знал, что теоретически он имеет возможность совершить заграничную поездку, но — увы — только в один конец. Там уж будет все — Плас Пигаль, и статуя Свободы, и Колизей, и Стена Плача — выбирай на вкус. Зато там не будет многого другого, без чего, как это ни странно, Максим Ильич Лихтенштейн плохо мог представить свое существование: вот этого насулпленного города или даже — можете смеяться! — деревеньки с некрасивым названием Смердовицы, куда он в течение нескольких лет постоянно выезжал на полевые работы. Какое, казалось бы, Лихтенштейну дело до Смердовиц? А вот, поди ж ты, замирало и вздрагивало что-то в душе, когда, выйдя с рюкзаком из автобуса, он видел мягкую, поросшую муравой, тропинку, протоптанную вдоль улицы, и кривые черные домики, и поля.

Эту свою способность мгновенно раскисать при виде стога сена или покосившейся избы, крытой дранкой, Максим считал слабостью и прятал от посторонних глаз, однако, отдавал себе отчет в том, что такому, как он, нечего и думать о переезде в другие места, даже если эти места — Плас Пигаль или, допустим, Бронкс.

А между тем вот что забавно: он ведь, вполне вероятно, мог бы гулять с советским паспортом среди Елисейских полей ничуть не хуже Лыкова с Гавриловым или даже самого Кашубы. Мог бы... Если бы знал то, чего по воле судьбы ему узнать не удалось.

Дело в том, что двусмысленная для некоторых и кристально ясная для людей, специально, по долгу, или в качестве хобби, занимающихся этим вопросом, фамилия — Лихтенштейн, исключаящая, по мнению замдиректора по кадрам Пузырева, командировки за границу и высокие посты, а также делающая нелепыми слезы, вызываемые видом колодца-журавля, эта фамилия досталась Максиму совершенно случайно.

Как часто происходит в фильмах и книгах про войну, а впрочем, не раз бывало и в жизни, Максим в первых числах июля сорок первого года в возрасте восьми месяцев оказался один на пустой улице города Минска, где был подобран неизвестным солдатом и сдан в детский дом, который сразу эвакуировался за Урал. Само собой, ни имени, ни фамилии ребенка солдат знать не мог. И вот неизвестный солдат принес неизвестного младенца в детский дом и сдал, заявив незнакомой женщине, заполнявшей какой-то журнал, что мальчика, дескать, зовет Максимом, фамилия Лихтенштейн, а его, солдата, имя — Илья. Почему он так поступил, остается только гадать. Думал, что Максим — хорошее имя, а война скоро кончится, он заберет мальчика из детдома и уж как-нибудь отыщет его родителей, и те пускай называют своего ребенка, как положено. Но почему — Лихтенштейн, а не, скажем, Иванов или Ухов? Возможно, этот солдат Илья был любознательным чудачком, и его манили дальние страны-княжества Монако, Андорра, Лихтенштейн? А скорее всего, он просто решил, что второго младенца с такой примечательной фамилией на всей территории Советского Союза не окажется и, следовательно, найти его по окончании войны будет делом несложным. Или Лихтенштейн была его собственная фамилия? Все возможно... Но правды теперь не узнать: солдат Илья с войны не вернулся, неизвестный же мальчик проживает на свете в качестве Максима Ильича Лихтенштейна, бывшего детдомовца, а ныне старшего научного сотрудника, кандидата технических наук. Проживает он, в общем, совсем неплохо, многого, как видите, достиг, а если по кому иногда и тоскует, о ком думает, сидя вечером один в кооперативной однокомнатной квартире, так это о своих потерянных родных, которых много лет безуспешно искал с помощью милиции, радио, газет, военкоматов, но, конечно же, не нашел.

Впрочем, с каждым годом тоска по родным приобретает все более абстрактно-езнадежный характер, гораздо актуальнее другие проблемы, например, хотя бы женитьба, ибо, как любит повторять Ирина Трофимовна Гольдина: «Двадцать лет

— ума нет и не будет, тридцать лет — жены нет и не будет». А Максиму Ильичу, как мы уже здесь обмолвились, — тридцать семь.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНЫЙ

Когда Максим велел этому интеллигенту считать ночную встречу с червяком страшным сном и не задавать вопросов, он поступил совершенно правильно. И строго по инструкции. Пресмыкающийся объект был строго засекречен, и всякие разговоры о нем с посторонними грозили Лихтенштейну неприятностями. Да что разговоры! Сам факт бесконтрольного ползания объекта по чужому двору был достаточен, чтобы Максима как минимум отстранили от научной работы по проблеме «Червец» и вклеили «строгача». С одной стороны — это было бы к лучшему, с другой же... Все-таки обидно, так как Максим Ильич с полным правом считал себя основоположником этой проблемы.

Однажды у него «убежали» часы, и он явился на полчаса раньше, чем нужно. Проходя по пустому институтскому двору, он сперва удивился, а потом испугался. Удивился, что не встречает никого из сотрудников, а испугался, так как решил, что сильно опоздал, а это сулило тошнотворную беседу с профессором Кашубой о трудовой дисциплине, которая обязательна для всех, начиная с уборщицы и кончая директором. Однако вскоре Максим удивился и испугался одновременно: он увидел, что в углу двора, где была сделана выгородка для выбрасывания отходов, что-то интенсивно шевелится. Взлетали блестящие кудри металлической стружки, какие-то колбы со звоном ударились об асфальт и раскалывались в мелкие дребезги — свалка буквально ходила ходуном.

«Крысы», — догадался Максим. Крыс он боялся панически, и это было еще одной его постыдной слабостью.

Однако, взглядевшись, он увидел не крыс, а увидел он нечто белое и плоское, похожее по виду на длиннущее полотенце, которое вдруг ожило под мусором и хочет выбраться на волю. Полотенце извивалось с невероятной энергией и актив-

ностью. Максим подошел к помойке вплотную и, не будучи от природы брезгливым и трусливым (если дело не касалось крыс!), протянул руку и прикоснулся к извивающемуся предмету.

Предмет был теплым. От прикосновения он мгновенно замер, и тут Максим увидел, что из кучи мусора пристально смотрят два живых блестящих глаза, близко посаженные на округлой голове, похожей на крупного размера кабачок. И в то же мгновение голова вдруг сделалась плоской, глаза исчезли, — полотенце и полотенце, хоть вытирайся.

Дальше события развивались следующим образом: во дворе появился Евдоким Никитич Кашуба. Он всегда приходил на работу на десять минут раньше всех, чтобы иметь возможность в любое время сказать подчиненным: «Вот оно, ваше рвение в кавычках — в институт прибегаете со звонком, по звонку же и выбегаете. А я почему-то прихожу за полчаса и ухожу на час позже. Почему, как вы думаете?..».

Итак, следовавший с портфелем мимо свалки, профессор Кашуба был остановлен Лихтенштейном, который показал ему невероятный феномен, деловито роющийся в отходах производства. Лихтенштейн сказал, что, мол, надо бы сейчас позвонить в Зоопарк и вызвать оттуда спецтранспорт, пускай забирают. Но заведующий лабораторией, подумав всего секунду, дал команду не звонить и не вызывать. Дело в том, что как раз сегодня на Ученом Совете должен был обсуждаться план исследований лаборатории на будущий год, а старых заделов, равно как и новых идей, во вверенном профессору подразделении, к сожалению, не было. В перерывах между поездками в колхоз и командировками по внедрению давнишних разработок сотрудники едва-едва успевали писать научные отчеты, для чего постоянно использовался один и тот же универсальный фолиант, составленный лет шесть назад. Автором этого шедевра являлся некий Гольдин, теперь уже силком отправленный на заслуженный отдых, и — зря, потому что он обладал уникальным талантом облекать в научную форму любую чепуху, будучи искренне убежден, что приносит пользу.

Кроме того, одним взмахом красной шариковой ручки Гольдин умел изобразить великолепный график-кривую, идущую неуклонно вверх, и тут же придумать к этому графику серьезное научное обоснование. Составленный им толстый отчет сотрудники называли «гробом», что не мешало им в конце каждого квартала буквально драться из-за него. Профессору Кашубе Гольдина очень доставало, он никогда в жизни не расстался бы с ним, да что поделаешь?— подоспела кампания по отправке на пенсию, а Евдоким Никитич давно усвоил, что в каждой кампании очень важно быть первым. Хочешь — не хочешь, а пришлось уволить старика Гольдина, и вместе с ним еще троих вполне дееспособных работников.

Так вот, на сегодняшний день с тематикой было неважно, а как говорила лаборантка Люся, — «полный завал», и, увидев червяка, Кашуба послал Лихтенштейна за слесарем. Слесарь Денисюк Анатолий был человеком неопределенного возраста и неопределенного внешнего вида, но вполне ясных и отчетливых убеждений. Явившись на зов начальства, он кинул беглый взгляд на червя и, не выразив ни малейшего удивления, расплывчатым голосом сказал, что так — не получится, — надо, на хрен, звать такелажников, а они, на хрен, не пойдут.

— Пойдут, — успокоил его Максим и через три минуты сам привел двоих такелажников, в пути пообещав им по сто граммов спирта.

Оживившись при виде рабочей силы, Кашуба приосанился и скомандовал:

— Отловить... м-м... объект. Доставить в зал Ученого Совета.

Что и было исполнено, но количество спирта пришлось удвоить.

— Обидим людей — в другой раз ни хрена не отловят, — пригрозил Денисюк, явившись к Кашубе от имени такелажников с пустой молочной бутылкой, — они, на хрен, так и сказали: по сто граммов, это, извиняюсь, только курей щекотать. Можно гидролизный, хрен с ним.

Кашуба налил четыреста граммов, и Денисюк молча удался.

До конца рабочего дня ни его, ни такелажников никто нигде больше не видел.

Когда открылось заседание Ученого Совета, профессор Кашуба сделал краткое сообщение о том, что во вверенной ему лаборатории впервые в мире синтезировано из отечественных материалов и теперь всесторонне исследуется квазиживое существо — червяк ленточный теплокровный, ориентировочная длина — 14600 миллиметров, ширина около трехсот, толщина два и четыре десятых; до сих пор лаборатория, как известно, занималась исключительно вопросами применения пластмасс для изготовления деталей машиностроения, но возросшее значение проблемы охраны окружающей среды, подчеркнутое в директивных документах, заставило коллектив встречно взять на себя большую и ответственную задачу, и, как показывают факты — не напрасно: налицо приоритет, а высокий научно-технический уровень наших сотрудников позволит нам и впредь смело и своевременно браться за любые проблемы, поставленные соответствующими Решениями учитывая вышеизложенное, а также особую важность и чрезвычайную ожидаемую полезность предлагаемой работы для нужд народного хозяйства в целом, а возможно, и для оборонной промышленности, следует настаивать на ее немедленном включении в план, финансировании, на выделении для лаборатории двух дополнительных штатных единиц и помещения, короче, на создании условий для эффективной и бесперебойной работы, спасибо за внимание.

Правду сказать, поначалу далеко не все члены Совета слушали профессора Кашубу с должным рвением — взгляды их были гипнотически прикованы к столу, на котором слабо шевелилось сложенное в несколько раз и упакованное в полиэтиленовый мешок упомянутое синтетическое, как бы живое, существо.

Директор же института, которому надлежало сидеть за этим столом в качестве председателя, предусмотрительно ушел во второй ряд и устроился там, открыв форточку: ему, дескать, жарко и нечем дышать.

Когда профессор Кашуба изложил все, что хотел, в зале на некоторое время воцарилось ошарашенное молчание. Сотрудники недоуменно переглядывались. Затем один до крайности, въедливый старичок, профессор Лукницкий из конкурирующего отдела, спросил, какое все же отношение имеет к полимерам и машиностроению эта... м-м... словом, то, что шевелится сейчас в мешке.

В ответ докладчик повернулся к директору и веско заявил, что давно собирался обратить внимание руководства на тот факт, что личная неприязнь, доходящая до неприличия, и даже законная ревность к успехам коллег никак не должны мешать работе, что склоки, как известно, погубили не одно ценное начинание, в то время как... и пошел, и пошел...

— Понесло... — тоскливо зашумукались в рядах.

Лукницкий был вынужден нехотя сесть и затаиться.

Когда шум в зале стих, а Кашуба завершил свою речь словами «положить окончательный конец», директор постучал своим «Паркером» по стеклу форточки и попросил профессора рассказать, по какой технологии и за сколько времени удалось создать этот... уникальный образец. Кашуба приосанился и, не моргнув глазом, доложил: работы ведутся уже достаточно давно, однако, заметьте, — без финансирования, на сэкономленном сырье и за счет личного времени сотрудников. Вот хотя бы товарища Лихтенштейна.

При этих словах молодые кандидаты наук, супруги Валерий и Алла Антохины, сидящие в пятом ряду, переглянулись, и Валерий сказал жене, что вот, обрати внимание: Макс вечно ходит в ущемленных, а Кашуба, между прочим, его везде выпячивает, обрати внимание.

— Обратила, — сказала Алла, — особенно он его выпячивает, когда надо ехать в колхоз или на овощебазу. А что — в ущемленных — это верно, только они ведь все на этом зациклены, помнишь Гольдина?

Еще бы Валерию не помнить старика Гольдина! Такой скандал учинил, когда провожали на пенсию, орал везде, что — из — за пятого пункта, а то, что в шестьдесят шесть лет пора освободить место молодым, ему в голову не приходило.

Пока Антохины обменивались мнениями, Кашуба сообщил: да, пришлось повозиться, применить кибернетику, а что касается технологии, то, хотя перед Ученым Советом сейчас находится всего лишь опытный образец, нуждающийся в существенной доработке по результатам стендовых испытаний, для проведения которых требуется время, время и время, и, конечно же...

— Деньги, деньги, деньги, — тоненьким голоском добавил Лукницкий.

Кашуба слегка посуровел и сказал, что делать сообщение по технологическим параметрам процесса он пока считает преждевременным, так как эту работу, ввиду ее исключительного значения — вы понимаете? — следовало бы засекретить и проводить обсуждение технологических тонкостей и результатов испытаний только в присутствии товарищей, имеющих к ней прямое отношение.

Зал притих, и тут, грохнув откидным сидением, из рядов вылез заместитель директора Василий Петрович Пузырев. На протяжении всего заседания он оставался невидимым (была у него эта скверная привычка — время от времени исчезать), но теперь внезапно обнаружился. Он молча прошел к стене, где висели плакаты, приколотые Аллой Антохиной, руководитель которой должен был делать сообщение сразу после Кашубы. В полной тишине Пузырев сорвал один из плакатов, потом, подумав, — еще два и заботливо прикрыл ими заветный мешок. Подумав еще, вынул из кармана зеленый фломастер и вывел поперек одного из плакатов «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО, ЭКЗ. N1». Потом внимательно оглядел присутствующих (в результате чего несколько человек на цыпочках вышли из зала) и, так и не проронив ни слова, вернулся на свое место.

ГОРА

Заседание ученого совета продолжалось в тот день до четырех часов с перерывом на обед. Работу над пресмыкающимся единогласно решили включить в план под кодовым названием «Проблема Червец». Почему — «Червец»? Неизвестно. Да и не все ли равно?..

Максим Лихтенштейн, не являясь членом Совета, участия в голосовании не принимал, а профессор Лукницкий руки не поднял из принципиальных соображений, но это никого не смутило, кроме разве что Василия Петровича Пузырева. Скрипнув стулом, Василий Петрович сделал соответствующую пометку в своем блокноте, держа его на коленях, что — неудобно, но он привык записывать не только, сидя в зале. Он умел записывать и стоя, и лежа, и в всячем положении, и в прыжке.

Короче говоря, решение по «Проблеме Червеца» было принято единогласно.

Максим сидел в последнем ряду, и настроение его, по мере хода заседания, менялось. Эх, и отличный же график мог бы получиться, если бы, наблюдая за Лихтенштейном, некто откладывал на оси абсцисс время, прошедшее от начала заседания, а на оси ординат — степень возбуждения, охватившего Максима Ильича! Получилось бы вполне наукообразная кривая, сразу стремительно скакнувшая вверх до экстремальной точки, затем образовавшая горизонтальную площадку, начинающуюся в тот момент, когда слово взял профессор Кашуба, и кончавшуюся падением где-то перед началом голосования, то есть когда результат всем уже ясен.

Назвать состояние Максима просто возбуждением недостаточно. Это на первых порах было изумление, крайняя его степень. Казалось бы, прожив на белом свете тридцать семь лет, из которых последние тринадцать были отданы научной работе под руководством профессора Кашубы, Лихтенштейн ко всему бы должен привыкнуть, а нет — дебаты по поводу червяка, найденного им на свалке, прямо-таки потрясли его и заставили некоторое время просидеть с оцепенелым лицом. Вид у него был странноватый, так что потом, в перерыве, к

нему подошла Алла Антохина и сказала, что, конечно, рада за него, но зачем уж так балдеть от гордости, можно бы и поскромней.

Алла была известной физиономисткой.

Пока Максим «балдел», в голову ему приходили разные мысли, вплоть до самосожжения: встать, например, и заявить, что все это — липа, червяк найден на свалке, и лично он, Максим Лихтенштейн, никогда не примет участия в таком циничном надувательстве и залепухе.

Но: зачем понапрасну дразнить собак? Чего бы он этим добился? Допустим невероятное: Кашуба посрамлен. И дальше что? А дальше то, что, вполне вероятно, научному работнику со звучной фамилией Лихтенштейн придется искать новое место службы, что в наше время не так-то просто, а гарантии, что на новом месте, будь это хоть артель «Химчистка», не найдется точь—в—точь такого же «Червеца» — ни малейшей.

«Черт с ним! В конце концов, «у каждого Абрама — своя программа», — подумал Максим, имея в виду своего руководителя. — И хуже ли исследовать безобидного червяка, чем, выбрав себе в жертву какое-нибудь наивное провинциальное предприятие, доить его под предлогом совместной работы по хоздоговору? Пускай болтают, вон Кашуба — аж раскраснелся, а директор, вдруг осмелев, подошел к столу поглядеть на «опытный образец». Ладно. Посмотрим, как они потом выкрутятся, выкручиваться, между прочим, придется им, а не исполнителю. Не впервой».

Тут кривая Максимовых эмоций стала падать и быстро дошла до нуля, то есть до абсциссы. Ему сделалось неинтересно, он опустил голову на грудь, что было тут же отмечено Аллой: «Делает вид, что ему безразлично, нет, я так не умею!» — и отключился.

У Максима был давно отработан способ отключаться в любой обстановке, он избрал его еще в детдоме и использовал особенно эффективно, когда вызывал тамошний директор и, усадив на стул, начинал заунывно выговаривать по поводу курения или драки. Слова про государство, которое «все сделало для таких, как ты», про неоплатный долг, про младших

товарищей, берущих дурной пример, эти обкатанные, звучные слова, булыжниками бросаемые в большую бритую голову воспитанника Лихтенштейна, меняли траекторию, не долетев до его слегка оттопыренных ушей. И уносились прочь. Они уносились далеко—далеко, за поля и леса, и там со всего размаху падали. Громадная гора, вся состоящая из таких вот словесных булыганов, уходила высоко в небо, а на самом верху ее сидел черный ворон и кричал каждому вновьпоступившему камню: «Вр-р-решь! Вр-р-решь! Вр-р-решь!».

Эту гору, изобретенную в детстве, Максим использовал до сих пор: представлял себе в нужных случаях, а нужный случай возникал каждый раз, как только приходилось беседовать с уважаемым Евдокимом Никитичем. Профессор Кашуба обладал примерно тем же словарным запасом, что детдомовский директор, и одним из любимейших мотивов его речи был неоплатный долг. Слушая профессора много лет подряд, Лихтенштейн постепенно пришел к выводу, что гора, пожалуй, состоит не из одних булыжников — еще из комьев давно засохшей глины, а то и еще чего... похуже.

«...Таким образом, согласно программы, согласованной с согласующими организациями...» Гора росла и росла. Новые комья мягко валились на нее с грязного низкого неба. Растрепанный ворон издевательски разевал клюв и выкрикивал: «Вр-р-решь!» так, словно матерился.

ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ И ЕГО СОСЕДИ

Отгульный день, начавшийся встречей с секретным гадом, продолжался. Павлу Ивановичу сегодня, слава Богу, некуда было торопиться, никаких дел он себе не наметил, поэтому не спеша, как говорится, «нога за ногу», брел кружным путем к булочной, не столько по необходимости купить хлеб, сколько из желания прогуляться.

День сегодня был странный — казалось, что-то произошло со временем. Конечно, оно двигалось, и будто даже в правильном направлении, но чрезвычайно медленно, нехотя. День ковылял на отечных ногах, поминутно делая остановки, чтобы отдышаться, поглазеть по сторонам, одним словом, не спешил. Не спешил и Павел Иванович, пробираясь сквозь нежный туман, туго забивший плотной сырой массой улицы и переулки, впадающие во Владимирский проспект, где находилась булочная. Фокусы времени абсолютно устраивали Павла Ивановича — вечер ему был не нужен, поскольку вечером вернутся с работы его квартирные соседи Антохины, а встречаться с ними Павлу Ивановичу было неприятно, — он их ненавидел.

Ненависть — совсем не обязательно оглушительножгучее чувство, от которого замирает в груди, в то время как взор застилает белое пламя. С Павлом Ивановичем, во всяком случае, все происходило иначе. Когда он видел кого—нибудь из Антохиных, то не вздрагивал, не кричал, и в глазах у него не белело... Но каждый раз ноги делались неподъемными, как сырые дрова, в плечах начинало мозжить, во рту пересыхало, а душа наполнялась невероятным омерзением ко всему живому, и в первую очередь — к себе самому. Это было очень тягостное чувство, и оно, к несчастью, делалось все сильнее, все отчетливее по мере того, как уходил в прошлое день, когда Павел Иванович проводил свою мать в психиатрическую больницу.

Жизнь в одной комнате коммунальной квартиры с больной, потерявшей рассудок, но сохранившей много физических сил старухой была, разумеется, довольно сложной. Полгода назад после очередного гипертонического криза мать внезапно перестала его узнавать; когда он приходил с работы, кричала:

«Ты — кто? Где Павел? Когда вернется?». Потом начала отказываться от еды, заявив, что ее хотят отравить. Прячала под матрацем какие-то куски и тайком съедала их по ночам. Все это было так страшно и так на нее не похоже, что Павел Иванович совершенно растерялся. Еще позднее начались крики по ночам — матери казалось, что ее пытаются задушить, она вскакивала с постели, в одной рубашке бегала по квартире и рвалась к соседям. Было многое еще, чего не хочется вспоминать, но Павел Иванович готов был терпеть все это: это была его мать, все свои сорок с лишним лет он прожил с ней вдвоем, ближе для него человека на свете не было.

Но Антохиным она матерью не приходилась. И вот после очередной бессонной ночи они объявили Павлу Ивановичу, что больше выносить этого не могут, они все понимают и даже сочувствуют, но хотят жить в нормальной обстановке и ночью спать, а не слушать дикие вопли. Антисанитария в туалете и в ванной их также крайне не устраивает, и вообще, от такой жизни они скоро сами попадут в «психушку», а у них — ответственная научная работа. Павел Иванович растерянно их выслушал и сказал, что приносит свои извинения, но... как же ему быть? Он ведь вызывал к матери врачей, все в один голос говорят: помочь тут ничем нельзя — склероз.

— А вот моей маме за шестьдесят, а она в поле работает. И довольна, — задумчиво сказала Алла.

Павлу Ивановичу возразить было нечего, и он опять беспомощно и виновато спросил, что же они ему посоветуют.

Антохины переглянулись, потом Валерий, слегка замаявшись, произнес:

— Понимаете... конечно, все это тяжело, но... нам кажется, что правильнее всего было бы поместить Татьяну Васильевну в ... больницу.

— В какую больницу? — поразился Павел Иванович. — Вы же знаете: стариков в больницы не берут, тем более таких — хроников.

— Это в обыкновенные не берут, а есть специальные. Ну... когда такое... с рассудком... — шепотом сказала Алла.

— Вы имеете в виду сумасшедший дом?— осведомился Павел Иванович.—А интересно, свою мать вы бы отдали в сумасшедший дом?

— Конечно,— убежденно ответил за жену Валерий.— Для ее же пользы.

— А вот я, представьте себе, с в о ю мать не отдам. И давайте кончим этот разговор,— с этими словами Павел Иванович вышел из кухни, и недели две никаких разговоров действительно не было. Если ночью случался шум, на следующий день соседи ходили с мрачными лицами и здоровались с особой церемонностью. А Татьяне Васильевне, между тем, на глазах становилось все хуже. Она почти совсем перестала членораздельно говорить, но оставалась очень живой и подвижной. Могла без передышки сновать по квартире, оставляла открытыми водопроводные краны и, что гораздо хуже, несколько раз — газовые.

Павел Иванович взял две недели за свой счет и занялся обменом. Доплатив и потеряв метраж, он надеялся обменять свою комнату в центре на любую однокомнатную квартиру в любом районе. Пусть без ванны, без телефона, пусть шестой этаж без лифта, пусть далеко от работы, только — отдельно. Он развесил по всему городу объявления, но скоро стало ясно: затея обречена на провал,— никто не хочет ехать в коммуналку, да еще — в первый этаж. А отпуск кончался, и тут в один прекрасный день в квартире появилась молоденькая медсестра из психдиспансера. Пришла она в отсутствие Павла Ивановича, и он, вернувшись, застал ее уже в передней, оживленно беседующей с соседями. Когда Павел Иванович вошел, все замолчали, потом сестра, глядя на него почему-то с осуждением, сказала:

— Больная дементна, это — очевидный факт.

Ничего не ответив, он прошел мимо, и с того дня посетители являлись друг за другом. То — из Райздравотдела, то жильцы-общественники, наконец, пожаловал представитель института, где работали Антохины, и, качая лысой головой, долго объяснял Павлу Ивановичу, что дом, по существу, ведомственный, что уже давно стоит вопрос о переселении всех, кто, проживая тут, не служит в институте; Антохины — науч-

ные работники, кандидаты наук, так что, товарищ, послушайте доброго совета: устройте матушку в лечебницу для душевнобольных, институт поможет, туда берут престарелых, если они... социально опасны, а думать нужно не только о себе, но и о людях, которые живут рядом с тобой и своим трудом приносят немалую пользу государству, перед которым мы все в неоплатном долгу... Павел Иванович выставил представителя за дверь, а еще через день мать, оставшись дома одна, распахнула окно во двор, кричала, собрала толпу и пыталась выброситься с первого этажа. В общем, все кончилось именно так, как мечтали Антохины, — «Скорой помощью», подоспевшей одновременно с Павлом Ивановичем, возвращавшимся с работы, и санитарями, связавшими Татьяне Васильевне руки, поскольку она дралась с ними, как говорится, до последнего, и только уже в больнице вдруг затихла и внятно произнесла:

— Павлик, я не хочу. Не надо. Пойдем домой, лучше умереть.

Больше после этого она ему уже ни одного слова не сказала, хотя он навещал ее каждую неделю. Не жаловалась, не плакала, только худела и слабела. Врачи Татьяну Васильевну хвалили: тихая старушка, никаких хлопот. Ясно — никаких, если три раза в день — лошадиные дозы лекарства...

Вот так все и получилось. Может, и правы были соседи, когда говорили, что это — единственный выход, но видеть их Павел Иванович теперь не мог. Поэтому очень любил по субботам работать, а отгулы брать на неделе, когда никого нет дома. По воскресеньям же дома не бывало его самого: ездил к матери, а это занимало почти весь день — больница находилась в шестидесяти километрах от города.

Так вот сегодня как раз и был отгул и, совмещая поход за хлебом с прогулкой, Павел Иванович шел, пытаюсь объяснить себе, что же это все-таки был за червяк ночью у него в комнате. И быстро пришел к такому выводу: зверь явно научный и секретный. А раз научный, то ничего невероятного и противоестественного в нем нет. Почему, в конце концов, можно запускать людей на Луну, менять русла рек и затапливать целые города, а разводить гигантских червяков — нельзя? Понадо-

бился — и вывели. Покончив таким образом с червяком, Павел Иванович принял решение вечером пойти в кино. При этом, желательно, чтобы фильм был двухсерийным.

В тот же день, возвращаясь под руку с мужем с работы, Алла Антохина страстно говорила:

— Господи, Валерка, да когда же мы, наконец, получим кооператив, не могу я больше!

— Чего не можешь, Алена?

— Видеть его, в и д е т ь — вот чего! Ведь домой идти тошно. «Добрый день», «добрый вечер», а в голосе одно презрение. Будто мы не люди, а ... с его подметки грязь. Он же нас за людей не считает, не спорь! И не только сейчас, а всегда так было. Ведь обидно: сам-то кто такой, если уж разобраться? В комнате пылища... Я, например, убеждена: человек не может называться культурным, если у него такой пол!

— Ну, ты уж... При чем здесь пол?

— Потому что противно! Скажите, пожалуйста, — барин какой. Я, помню, еще маленькой была, так его мамаша тоже никогда сама полов не мыла, мы не бедней их жили, а мама за нее всегда общее пользование убирала. Заплатит — она и моет. Это такая психология, понимаешь? Последнюю копейку отдадут, без штанов останутся, а только чтобы самим не делать, руки не пачкать!

— Да. Здесь ты права, есть еще такие. Я даже как-то думал, в чем разница. Кажется, вот мы — интеллигенция, действительно, ничем не хуже его, даже в чем-то обогнали...

— «В чем-то!»

— Кстати, это нормально, что обогнали: у нас больше стимулов и жизненных сил — интеллигенты в первом поколении. У нас в генах заложено никакой работы не бояться. В этом все дело. Тебя вот, небось, мать с таких лет приучала полы мыть, а его мамаша, и бабушка, и прабабушка, поди, ни разу в руки тряпки не взяли, вот он ничего и не умеет. Не сможет, даже если очень будет стараться. Такой генетический код.

— Что значит — «не сможет»? А он хочет? Нет, ты скажи — хочет?! Не хочет он, я тебе говорю! Он физический труд п р е з и р а е т, считает ниже своего достоинства, а какой

он, если уж на то пошло, интеллигент? Интеллигент — это, прежде всего, человек, обладающий знаниями. А он что знает? В филармонии ты его видел хоть раз? Или на выставке? Обломов он!

— Уж и Обломов! Много чести. Васисуалий Лоханкин — это да. И вообще, я не понимаю, что тебе за дело, как он с тобой здороваётся. Мне, например, наплевать, меня такие, как он, не интересуют. Ну, сама подумай: мужику за сорок, а он ничего, абсолютно ничего не добился, хотя дано ему было все. О чем это говорит? О том, что в нем есть какой-то дефект.

— Ну, знаешь, судить о людях только по тому, чего они добились — тоже мешанство. Главное не в этом, а в том, кто как себя ведет. Вот Павел ведет себя так, будто все кругом — никто, а он — кто-то...

— Совершенно верно. А на самом деле он... ну вроде инертной примеси, понимаешь? В реакции не участвует. Может только валяться на койке и решать «мировые проблемы». Погоди, еще два-три поколения, и таких не будет, выродутся...

— Нет, представляешь: возьмет с полки что попало, и вот — лежит, перелистывает в сотый раз. Что это дает? Лишь бы дела не делать! Даже противно, что у него такая библиотека, зачем она ему? Пыль собирать? А потом ходит, нос воротит. Тебе наплевать, а мне обидно! Не могу, нервы не выдерживают, пойдем в кафе обедать, не хочу домой!

К ВОПРОСУ

Мрачные мысли толпились в голове Лихтенштейна, который проводил свой обеденный перерыв в пивном баре неподалеку от института. Червяк... В настоящий момент он сидел в тесном сейфе, куда Максим запихнул его после ночного происшествия, и где ему, по распоряжению Пузырева, полагалось храниться постоянно. Но Максим был уверен: если держать червя там всегда, то очень скоро он непременно подойдет, да и кто бы из нас не подох, если бы его заперли в душный железный ящик, где нельзя распрямиться и как следует вытянуть хвост? Поэтому Лихтенштейн на свой страх и риск каж-

дую ночь выпускал червяка ползать во дворе, где сам в это время с грехом пополам сгребал снег. Только во дворе жилого дома, но ни в коем случае не в институтском дворе, там бы сразу увидела охрана и обязательно донесла Пузыреву. И тут выяснилось бы, что старший научный сотрудник Лихтенштейн в нарушение всех инструкций систематически выкрадывает образец и выпускает в неохраняемом месте, где его кто попало может увидеть, услышать, сфотографировать или похитить. Максим понимал, что рискует не просто карьерой — головой, ибо нетрудно было себе представить, что произойдет, если этот ползучий как-нибудь смоеся. А ведь вчера положение было уже на грани: плоскобрюхая скотина пыталась скрыться в доме, хорошо, что Максим вовремя заметил хвост, торчащий из щели в стене. Уж то-то ликовал бы профессор Лукницкий! Он и так достаточно нагадил, когда три недели назад на очередном Ученом Совете обсуждался отчет кандидата технических наук Лихтенштейна по первому этапу работ проблемы «Червец». Максим трудился над отчетом целую неделю и выдал—таки шедевр.

Отчет был на первое. А на второе — коронное блюдо: программа и методика экспериментальных исследований, составленные лично товарищем Кашубой.

Отчет утвердили, — он был написан по всем правилам: Введение — задачи, стоящие перед животноводством. Литературный обзор: 1. Выдающиеся достижения сельского хозяйства в области создания новых пород высокопродуктивного скота. 2. Выдающиеся достижения бесплатной отечественной медицины в борьбе с ленточными паразитами. 3. Зарубежный опыт. 4. Задачи, которые предстоит решать в свете Решений... А что? И не такие отчеты писали, пишут и будут писать во все времена.

Максим докладывал. Все дремали. А кто и спал. Но не спал коварный Лукницкий.

— Интересно, интересно. М-м... Максим... Ильич? — если не ошибаюсь? Так скажите нам, Максим Ильич, может, я чего недопонял, — почему нигде не указано, как и когда удалось вырастить червяку рога, а это, очевидно, так, поскольку в

литературном обзоре вашего отчета, который пришлось, к сожалению, тщательнейшим образом изучить, множество страниц почему-то посвящено именно крупному рогатому скоту?..

Профессор кашуба немедленно попросил председательствующего (директора) разрешения ответить на этот вопрос, но — в рабочем порядке, потом, отдельно, и, если нужно, на партийном бюро. Беспартийный Лукницкий принял поражение: молча сел. И тут же началось рассмотрение программы методики.

Но не успел руководитель темы д. т. н. профессор Кашуба закончить сообщение, как неумный Лукницкий опять потребовал слова, и, еще не успев его получить, уже вскочил, и, мелко трясаясь от возбуждения, визгливо прокричал, что не понимает, каким это образом коллега Кашуба собирается определить: а) прочность на разрыв, сжатие и изгиб, а также на удар и кручение! исследуемого живого, подчеркиваю — ж и в о г о! существа, а также, страшно подумать: б) действие высоких температур, агрессивных сред, в том числе концентрированных соляной и азотной кислот, и в) абразивный износ и различные антифрикционные свойства!

— Это ведь живой червяк, откуда бы он там у вас ни взялся, а не бесчувственный пластмассовый образец, чтобы так издеваться! — верещал он.

«Слава Богу, хоть один нашелся, пожалел моего несчастного червяка», — подумал Максим Лихтенштейн.

— Чем без конца определять физико-механические свойства (а вы только их определять и умеете!), установили бы пол и возраст животного, класс, к какому оно принадлежит, способ его размножения, наконец, а то вот сдохнет он у вас, кого тогда будете исследовать? — продолжал Лукницкий. — А ведь взяли, стыдно сказа́ть, обязательства перед Министерством! Ладно, профессора Кашубу я еще понимаю, представляю себе движущие пружины, но вы-то, вы, Лихтенштейн?! — Тут голос Лукницкого мгновенно пресекался, да и зал тоже затих. За спиной профессора Кашубы, до того хоть и грозно, но одиноко стоявшего около стола с указкой в руке, медленно возникал Василий Петрович Пузырев. Он материализовался, проявляясь, точно фотоснимок в пластмассовой ванне, и, наконец, предстал во

всем своим величии — со стальным взглядом и неизменным блокнотом. Взгляд был устремлен на директора, который сразу заерзал на председательском месте, с досадой посмотрел в зал, точно ожидая разъяснений, и промямлил:

— Ввиду недостаточной подготовленности вопроса, предлагаю отложить рассмотрение программы-методики до следующего заседания Совета, — директор взглянул на то место, где возникло изображение Пузырева, но оно не померкло, а даже как будто стало отчетливей. — Еще я хочу сказать, товарищи, — добавил директор с некоторым раздражением, — нельзя забывать — тема эта закрытая, так что надо усилить бдительность и не вести лишних разговоров ни в стенах института, ни, в особенности, за его пределами.

После этих слов призрак за спиной Кашубы мгновенно растаял, а через пару секунд в зале скрипнул стул.

— Заседание Ученого Совета считаю закрытым, — объявил директор. Все помчались к дверям, и на следующий день сотрудники лаборатории Кашубы, все, кроме, естественно, Лихтенштейна, бросились оформлять командировки, а Лихтенштейн остался думать, скалывать лед и следить за червяком, чтобы, и верно, не сдох ненароком или, как очень опасался Кашуба, не пал жертвой агрессии проворного Лукницкого.

И вот... некоторое время все шло спокойно, а прошлой ночью червяк сделал первую попытку улизнуть. Было ли это случайностью или результатом чьего-то коварного замысла? В этом сумасшедшем мире все возможно. Лихтенштейн взглянул на часы — половина второго, в лаборатории обед, девчонки-лаборантки бегают по магазинам или изготавливают в термостате топленое молоко. Червяк один...

Он отсчитал деньги за три выпитые кружки пива, положил их на стол и быстро пошел к выходу.

...Где-то далеко-далеко, за полями и лесами, высилась хорошо видная отовсюду голая гора. Сунув под крыло голову и нахохлясь, черный ворон дремал на ее вершине. Плыли мимо низкие, отечные облака, роняя свой медленный снег на пустые склоны, на спящего ворона, на плоские поля вокруг. Снег шел везде; и тут, на Владимирском, он тихо ложился на тротуар,

прямо под ноги Максиму. Завтра будет скандал за сугробы и несколотый лед. Плевать! Хорошо, когда снег. Максим любил, когда снег и зима, всегда любил, с самого детства.

глава вторая

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Как все-таки правильно говорит Гольдин: если ты пессимист, то имеешь полную гарантию от разочарований, ошибиться можно только в хорошую сторону. Вот ждал Максим неприятностей из-за гада, но прошло полтора месяца, а все еще в порядке. И червяк никуда не девался, хотя Максим продолжал выгуливать его ежедневно. Теперь он делал это легально в институтском дворе, ибо профессор Кашуба вернулся из Парижа размягченный, просветленный и полный заботы об охране живой природы, — вернулся, на следующий же день пошел к Пузыреву и добился — это надо же! — официального разрешения на выгул животного. А Максиму, с которым они накануне отъезда крупно поругались, этому негодяю Максиму привез в подарок роскошный галстук. Наконец, третьего дня закончился срок, на который Лихтенштейн был командирован в дворники, на смену ему направили Гаврилова, и Максим имел теперь возможность все свои знания и силы отдать научным исследованиям по проблеме «Червец». Сам же профессор не покладая рук трудился над созданием новой программы-методики. В обязанности Максима по-прежнему входило кормление червяка и уход за ним, а именно: прогулки в специальной выгородке, оборудованной во дворе, определение (по указанию руководителя) длины, ширины и толщины опытного образца и, главное, температуры его тела. Замеры производились каждый час в течение рабочего дня, что всегда полезно, — по результатам таких замеров получают весьма убедительные графики и таблицы. А если обработать данные с применением математической статистики, да еще на ЭВМ, так просто пальчики оближешь.

Словом, пока все шло нормально. И, хотя параметры животного в течение дня менялись незначительно, все же некоторые предварительные выводы можно было сделать уже сейчас: после каждого кормления, например, толщина тела образца

увеличивалась в целом на 6,704%, ширина — на 1,005%, температура — на 3,42 градуса Цельсия, длина же сокращалась на 0,008%. Поразительно!

В четверг, заглянув в журнал, куда заносились результаты исследований, профессор собрал на совещание весь состав лаборатории и объявил, что Максимом Ильичем, безусловно, проделана большая и важная работа, что в настоящее время проблема охраны окружающей среды приобретает все большее и большее значение, и прямой долг каждого из нас... тут Максим слегка отвлекся и некоторое время перемигивался с вороном, который, схватившись лапами за живот и прижав к нему оба крыла, разинул клюв и катался по склону горы, что у него, видимо, обозначало восторг. Комья, валившиеся с небосклона, ворона ничуть не пугали, они ему, похоже, нравились, и, отведав их, он затеял с ними игру — пытался подхватить на лету клювом и подкинуть вверх. Это напоминало выступление морских львов в цирке и быстро надоело Максиму Ильичу. Он включился и с изумлением услышал, что Кашубу несет уже в совершенно непонятном направлении — в сторону охраны памятников старины. Научные работники сидели с терпеливыми лицами, они ко всему привыкли.

— Таким образом, — вещал Кашуба, — наш долг делать все возможное и даже больше для сохранения и умножения того, что является гордостью нации и достоянием нашей родной природы!

— Любопытно, — сказал Максим на ухо Лыкову, — мой червяк — гордость нации или достояние природы?

— Этот вопрос выше моей зарплаты, — сонно откликнулся Лыков.

А профессор продолжал, еще более воодушевляясь:

— Для того, чтобы в короткий срок проделать максимальный объем работ, замеры следует производить круглосуточно! И не только в рабочие дни. Нет, не только. Но и в выходные! И в праздничные! Пос-то-янно. А это одному человеку не под силу, товарищи. Так что включиться следует всему коллекти-

ву, сегодня же составить и дать мне на утверждение график дежурств. И никаких отговорок, справок от врачей и разговоров о детях. Дело государственное, тут — как на фронте!

Быстро выяснив, что за работу в вечер, ночь, а также по субботам и воскресеньям будут давать по два отгула, как за дружину, сотрудники единодушно поддержали профессора.

— Ну, как тебе нравится эта грандиозная залепуха? — спросил Максим Гаврилова после совещания.

— Дежурства, что ли? — зевнул тот. — А что, меня вполне устраивает, возьму потом дни к отпуску.

— Да нет, я — в целом, вообще весь этот «Червец»?

Гаврилов подумал, оттопырив губу и приподняв левую бровь, пожал плечами и задумчиво ответил:

— Да не знаю... Как-то не вникал. Может, вообще-то и залепуха, да где ее нет? Вон я снег гребу — это что? А я гребу себе и очень рад — приятно физически поработать на воздухе. Да еще вот по червяку дежурить собираюсь. Брось ты, Макс! Вечно у тебя какие-то глобальные проблемы, а для меня сейчас главная проблема, где дачу на лето снять. Я тебе, между прочим, давно хотел сказать: не бери в голову. Нас толкнули — мы упали, нас подняли — мы пошли...

— Золотые слова, — сказал подошедший Лыков. — Это все — матата. Меня вот подняли, и я пошел в буфет, кому пирожков?

— Слушай, Макс! — продолжал Гаврилов, пока Максим отсчитывал в протянутую ладонь Лыкова мелочь. — Совсем забыл: я ведь тебе хотел предложить свитер, отличный свитер — чистая вул, у нас с тобой один размер, но в плечах ты уже. Как?

— Цвет?

— Мокрый асфальт.

— Надо брать.

И вот сегодня в новом свитере, который очень ему шел, Максим отправился в гости к старику Гольдину, у того жена была именинница.

В тесной, заставленной старыми вещами двухкомнатной квартире, где бывший сотрудник института Григорий Маркович Гольдин жил вдвоем с женой, толстой, добродушной и еще совсем не старой Ириной Трофимовной, Максим всегда чувствовал себя уютно и свободно. Единственная дочь Гольдиных Элла вместе со своим мужем — полковником и сыном Игорем вечно переезжала с Крайнего Севера на Дальний Восток, с Дальнего Востока — в Молдавию, а сейчас вообще жила в Ташкенте, так что Григорий Маркович с Ириной Трофимовной по сути дела были одинокими стариками, хотя и получали довольно часто посылки то с рыбой, то с южными фруктами. К Максиму они относились как к сыну, да и он к ним уже настолько привык, что, когда старики однажды улетели на неопределенное время в Ташкент, вдруг таким почувствовал себя неприкаянным и несчастным, что даже разозлился: взрослый мужик с суровым детдомовским прошлым — и так раскиснуть! Ты еще запей, как Денисюк. Малютку бросили в лесу, азохэн вей!

Кстати, разным «азохэнвеям», а также «вейзмирам» и прочим словам и выражениям Максима научили как раз у Гольдиных, и не кто-нибудь, а вологодская Ирина Трофимовна. Это она в свое время, лет эдак семь назад, ни за что ни про что нарекла Аллу Антохину, носившую в то время фамилию Филимонова, — «шиксой», что означало: «Простая девчонка, ничего особенного, крутить роман — пожалуйста, но жениться, да еще такому хорошему парню из наших, — ни Боже мой!». А «хороший парень» и сам колебался: с одной стороны, Алла тогда была очень недурна, хорошо одевалась, бойко лепетала на разные темы, а с другой стороны, — черт ее знает, — какая-то была уж очень правильная, здравомыслящая, удивительно для своего, тогда еще очень юного возраста положительная, на все вопросы знала ответы, и все — верные, и, похоже, свою будущую жизнь просчитывала вплоть до выхода на пенсию. В ней проступало то, что называют «сильным характером», и когда она однажды подробно и жестко объяснила Максиму, как следует вести себя с начальством: «Начальников надо любить, понимаешь? Только по-настоящему, искренне», — после этого его увлечение стремительно пошло на спад. Он еще сам толком

ничего не понял, Алла же, пострадав неделю, начала демонстративно поглядывать на нового сторудника Антохина. Ну, — не компьютер?

Через некоторое время Максим (возможно, в отместку) получил приглашение на свадьбу, но не пошел, чем дал Алле повод думать, что уязвлен и ревнует, поэтому она до сих пор разговаривала с ним участливым тоном.

У Гольдиных было давно решено, что Макс женится только на девушке из приличной еврейской семьи, и совсем не обязательно, чтобы она была семи пядей, главное, была бы домовитая, хорошая хозяйка («мальчик и так настрадался без домашнего тепла»).

— А как все-таки с внешним видом?— волновался Максим.— Что, если ваша «домовитая» окажется вот с таким шнобелем?

— Красота — до свадьбы,— утверждала Ирина Трофимовна.— Лишь бы человек!

— Э-э, тут я, как говорится, имею свое собственное мнение,— вступал Григорий Маркович.— Женщина — это вам такой предмет, который должен украшать дом своего мужа, лично я так считаю.

— Ну, ладно, ладно,— сразу соглашалась жена.— Пусть еще и красавица, кто спорит? За нашего Макса любая пойдет, только свистни. Лишь бы побыстрее, а то носится, как куцый бык по просу.

— Ирочка,— говорил Григорий Маркович укоризненно.— Зачем эти намеки? Должен молодой человек немного погулять?

— Прогулки себе нашел! В тридцать лет жены нет — и не будет, а тебе к сорока идет, помни!— и, погрозив Максиму пальцем, Ирина Трофимовна шла на кухню.

ОСЮНЧИК

Стол был роскошный — Ирина Трофимовна готовила отменно: фаршированная рыба с хреном, традиционный салат из рубленых яиц с гусиным жиром и жареным луком, куриный бульон с шарами, изготовленными по специальному рецепту — из мацы, на второе — жареная курица и картофель с черносливом. И еще компот! А позже — чай с лэках. В результате Максим объелся, как всегда обедался в этом доме.

— Вот вам иллюстрация справедливости генетики, — заявил Григорий Маркович, показав на Макса, поглощавшего фаршированного леща. — Человек вырос в приюте, с детства приучен к казенному, а любит не что-нибудь, а фаршфиш. Наследственность — это наследственность, и никакое влияние среды ее не заменит.

— А также — влияние четверга, — сострил тучный Ося, племянник Григория Марковича, — и понедельника!

Сперва пили «за нашу дорогую Ирина Трофимовну, чтоб она всегда была такой, как сейчас: молодой, веселой, красивой и всеми любимой». Этот тост предложил Максим, а про себя добавил: «Пусть, главное, будет здоровой», — но вслух этого не сказал. Полгода назад Ирину Трофимовну оперировали в онкологическом институте, опухоль оказалась, как будто, доброкачественной, все вроде обошлось, но... пусть она будет здоровой, это главное, все остальное — веники.

Гости еще не успели допить шампанское, как встал Ося и поднял рюмку, куда был налит кагор.

— Тетечка, — проникновенно начал он рыхлым голосом, — я хочу предложить этот тост за ваше здоровье. Здоровье, как известно, дороже десяти и даже ста рублей, а, как говорится, — тут Ося сделал паузу, — не имей сто рублей, а имей?.. М-м... двести!

«Почему наши еврейские дураки всегда такие активные?» — с горечью подумал Максим.

— Тетечка, — продолжал между тем Ося. — Все мы хорошо помним, что мы пережили, когда вас положили на операцию. Конечно, думать надо только о хорошем и надеяться на

лучшее, но место, где вы лежали, это, я вам скажу... Так что, давайте, тетечка, и все присутствующие — родные и гости, выпьем, чтобы ни вам, ни кому-либо из нас не пришлось переживать того, что вы и мы все пережили.

Холодея, Максим взглянул на Ирину Трофимовну, но увидел на ее лице добродушную и веселую, как всегда, улыбку.

— Спасибо, Осюнчик!— сказала она.— Но за меня уже пили, так что давайте лучше выпьем за тебя, чтобы Кира принесла еще одного парня. Или, в крайнем случае, деву.

Осюнчик хотел что-то возразить, но Григорий Маркович поднял рюмку и встал:

— Чтобы все были живы-здоровы!— торопливо объявил он и сразу выпил.

После этого тоста Гольдин стал непривычно болтливым — изредка поглядывая на жену, не закрывая рта, рассказывал старые анекдоты, громко хохотал, потом затеял разговор о политике: что вы думаете, с Израилем все так просто? Вы еще увидите — очень и очень непросто, попомните мое слово. Это, безусловно, милитаристское государство, и американские империалисты тут приложили руку, что говорить.

— Позвольте мне сказать еще один тост, — вдруг канючливо влез Осюнчик, — всего несколько слов. Ровно год назад мы похоронили дядю Изю. Я до сих пор не могу без слез...

Скотина, он ведь, и верно, плакал — крупная слеза ползла по толстой щеке.

— У тебя сигарет нету?— громко спросил Максим Осюнчика.

— Не употребляю, — солидно ответил тот.

— У меня английские, пошли, покурим, — Максим вышел из-за стола.

— Так я же...— сопротивлялся Ося, но Макс взял его за плечо и потащил к двери.

— Расскажу анекдот, здесь неудобно, пошли, очень смешно — ухочешся, — приговаривал Максим.

В коридоре он загнал Осюнчика в угол рядом с вешалкой и, понизив голос, спросил:

— Что есть самое печальное зрелище на свете?

— Уже смешно, — одобрил Ося.

— Будет еще смешнее, — пообещал Максим. — О'Генри считал, что это — дырка на конце чужого пистолета. А я вот думаю — дебильный еврей.

— Как?

— Я говорю: тебя ударили или ты от рождения такой? Ты куда пришел, сукин сын? На день рождения или поминки праздновать? «Тетечка! Дядя Изя...»

Большие выпуклые глаза Осючка полезли из орбит.

— Ой, что ты говоришь! Так ты думаешь, тетя расстроилась? Так ты думаешь? Хорошо. Я сейчас все сделаю. Я пойду и скажу...

— Сказал уже. Сиди тихо, понял?

После этого Осючок, и верно, притих. Сидел и надсадно улыбался каждой шутке. А Максима Григорий Маркович вскоре утащил в соседнюю комнату — поговорить.

...Жуткая все же штука — старость. Максим думал об этом каждый раз, как Гольдин жадно и ревниво набрасывался на него с расспросами о работе. Старик скучал, не знал, куда себя девать, тосковал по ... было бы по чему! — по Кашубиной лаборатории. Все ему было интересно, каждый пустяк и, конечно, в глубине души хотелось, чтобы без него дела пошли куда как худо, чтобы все поняли, какую свалили глупость, отправив на пенсию Григория Марковича!

Желая доставить Гольдину удовольствие, Максим совершенно искренне сказал, что в настоящее время лаборатория и он сам, лично, заняты грандиознейшей залепухой, залепухой из залепух, такой, что уж — ни в какие ворота, что ему, Максиму, конечно, стыдно, но, видимо, попал в стаю, лай не лай, а хвостом виляй. «Нас толкнули — мы упали, нас подняли — мы пошли», как сказал Гаврилов.

— Не говори мне про Гаврилова! — сразу рассвирепел Гольдин. — Это, я вам доложу, типичнейший обыватель. Заботится только о собственном благополучии, за дело не болеет. Между прочим, злопыхать легко, а работать...

— Да Бог с вами, Григорий Маркович! Какое там «дело»!

— А это не торопись судить со своей колокольни! Есть государственный интерес!— духарился Гольдин.— Вы все думаете: там, — он указал на потолок, — ... дураки сидят. Все дураки, а вы очень умные! Для тебя залепуха, а для дела — престиж!

— Но ведь это обман. Вы понимаете — вранье!— сказал Максим и тут же мысленно себя обругал: сто раз давал себе слово не спорить со стариком на эти темы. Тот мог сколько угодно возмущаться отдельными недостатками, которые пока еще кое-где... Но — Государственные Интересы!..

— Чистоплюйство!— закричал Гольдин.— Подумаешь, «обман». Моралисты на мою голову! Ты читал, что такое буржуазная пропаганда? Они нас будут поливать помоями на всех перекрестках, а мы — молчать в тряпочку? Ишь, какой грех — если немножко преувеличить кое-какие наши достижения. Пустяк дело! У нас есть такие штуки, про которые никто не знает, да у нас...

...Ворон плакал. Он неряшливо распустил перья, нахотился, скорбно повесил клюв. Мелкие комки валялись на него вместе с частым, беспросветным, безнадежным дождем. Дождю не предвиделось конца, белесые, холодные потоки мчались с горы, размывая тропинки, обнажая корни чахлах кустиков, кое-как прилепившихся к склонам...

— Молчание — знак согласия!— услышал Максим. Старик торжествующе смотрел на него.— Или, может, имеются возражения?

Возражений, увы, не имелось, и вообще, наверное, пора было возвращаться за стол, но Гольдину было мало:

— Расскажи, — вдруг по-детски попросил он, — ну как там все? Ребята? Какие события и вообще...

И Максим зачем-то рассказал про юбилей Денисюка, которому подарили польскую рубашку и польский же галстук. Вручали в торжественной обстановке в кабинете Кашубы. Сперва тот зачитал выписку из приказа директора, откуда все с изумлением узнали, что товарищ Денисюк Анатолий Егорович вот уже более тридцати лет упорно и плодотворно трудится на благо отечественной науки, а молодежь и среднее поколение

в неоплатном долгу перед ветеранами. Юбиляр слушал хмуро, переминаясь возле двери. Был он в выходном костюме, причесанный и необычно тихий.

Максим взял слово сразу после Кашубы, зачитал стихотворное приветствие, потом обнял ветерана за тощие плечи и немного потряс. Денисюк застенчиво вздохнул. Вздохнул и Максим.

Вслед за этим лаборантка Люся вручила нашему дорогому Анатолию Егоровичу скромный подарок: «Галстук мы выбрали светлоголубой — к глазам. И разрешите, я вас поцелую от лица женщин».

Тут все дружно зааплодировали, отчего юбиляр, сохраняя на лице хмурое выражение, стал озираясь по сторонам, но, не найдя ничего достойного внимания, два раза неуверенно хлопнул в ладоши.

Когда овации стихли, возникло некоторое замешательство: повестка дня как будто была исчерпана, а между тем герой торжества, не произнося ни слова, продолжал топтаться у двери, причем выражение его лица из просто хмурого сделалось раздраженным.

Видимо, начальство решило ободрить Денисюка, растерявшегося от нахлынувших чувств, и ласково произнесло: «Анатолий Егорович, вероятно, хочет поблагодарить товарищей за теплые... э-э... слова, высказанные в его адрес. Не робейте, Анатолий Егорович, здесь все свои». — «А чего робеть? — исподлобья спросил юбиляр. — Никто ни хрена не робеет. Мы — рабочие... Галстук. Лучше бы ректификату налили... Э-эх!».

...Но нашлись люди. Не то что эти падлы с «гаврилкой», — после работы Анатолия Егоровича задержали в проходной — не мог выйти, не попадал в турникет...

— Ну и как же? — строго спросил Максима Гольдин, хмурая брови.

— Кашуба ходил, чего-то объяснял. Пропустили.

— Очень смешно, — старик поджал губы. — Прямо хохма: пожилой человек немного выпил лишнего. Между прочим, этот Денисюк работал, когда ты еще... Есть же пределы! Тоже мне — повод для иронии. Завтра же поздравь Анатолия от меня. Нет! Я ему позвоню.

С минуту Григорий Маркович бросал на Максима гневные взгляды, потом отвернулся, помолчал и вдруг жалобно произнес:

— Черт его знает, Макс... До чего надоело дома, ну, сил никаких... Нет, ты не подумай, я понимаю: государство совершенно право, надо **видвигать** молодые кадры, а по отношению к нам, старикам, сделано все возможное, у кого же еще в мире такая обеспеченная старость? Разве я могу жаловаться? А только... седьмой десяток — это вам не фестиваль искусств...

Когда Максим с Гольдиным вернулись к столу, гости уже поглядывали на часы и поговаривали, что пора.

— Да, товарищи, завтра нам рано вставать, — вдруг сказал Ося. — Кто был ничем, тот встанет в семь. Ха. Но на прощанье я все же позволю себе... — Поймав пристальный взгляд Максима, он сделал успокаивающий жест рукой, глазами и щеками: «В чем дело? Как договорились. Я все понимаю, можешь не волноваться». — ...Я позволю себе рассказать одну смешную историю. Как бы анекдот. Жил однажды капитан...

— Он объездил много стран? — мрачно спросил Максим.

— Если ты знаешь этот случай, тогда — пожалуйста, я не буду рассказывать, — обиженно забухтел Ося.

— Говори, Осюнчик. Так что там было с этим капитаном? — вмешалась Ирина Трофимовна, бросив на Макса свирепый взгляд.

— Так этот капитан, — продолжал Ося, — он был просто мастер своего дела, водил пароходы лучше всех... Никогда никаких аварий или чтобы посадить на мель. Или перевернуть. И ведь что главное: всегда заглянет в какой-то блокнотик — и идет к себе на мостик давать указания. А как чуть что — опять смотрит в блокнот. Все другие капитаны помирали от зависти... А потом этот капитан умер, и сразу все его заместители и... эти... помощники бросили свои дела и побежали к нему в каю-

ту, чтобы захватить блокнот. Просто передрались между собой. Схватили блокнот, открыли, а там... — Ося сделал торжествующую паузу. — А там написано... Слушайте! «Спереди у корабля — нос, сзади — корма...» — Ося заколыхался от хохота, но вдруг посерьезнел: — Этот случай мне рассказал дядя Изя, ведь он же в молодости был моряк.

Воцарилась могильная тишина, а Осюнчик наклонился к Максиму:

— Проводи меня. Есть разговор.

ВЕРА

Максим ехал от Гольдиных последним поездом метро. В вагоне было пусто, только немолодая супружеская пара дремала напротив. Худенькая, бедно одетая женщина положила голову на плечо мужа, а он, сидя с закрытыми глазами, придерживал ее, обняв за плечи...

Сегодня Ирина Трофимовна успела попилить Максима: нет бы прийти с барышней, так он опять один да один. Имелась в виду, конечно, все та же хорошая девушка из еврейской семьи. Однажды Максим спросил, почему именно из еврейской, а не из русской или, допустим, грузинской?

— Ты думаешь, мы сионисты? — возмутился тогда Григорий Маркович. — Можешь не рассказывать! Есть, конечно, плохие русские и сколько угодно скверных евреев. Но, скажи, зачем, чтобы твоя жена в злую минуту назвала тебя жидом? Ну, пусть не жена, так теща. Что? Что ты смотришь? Ирина Трофимовна не пример, таких женщин больше нет и не будет. Ося собрался уезжать... Не знает, как сказать старикам; боится Григория Марковича, тот не раз говорил: уезжают предатели Родины... Все, конечно, гораздо сложнее, но старики — народ упрямый.

Поезд остановился. Женщина, дремавшая напротив, вздрогнула, открыла глаза, испуганно осмотрелась, но, увидев рядом мужа, вдруг заулыбалась блаженной девчоночьей улыбкой.

...Нет и не будет... Весной позапрошлого года... Максим защитил тогда кандидатскую и устроил в ресторане «Астория» грандиозный банкет. Поскольку официально такого рода мероприятия строго запрещены, объявил, что празднует день своего рождения, который, правда, уже был в ноябре, а сейчас апрель, но тогда он не мог из-за диссертации, а теперь вот освободился и на радостях приглашает в ресторан всех, присутствующих на его защите, а главное, руководителя и оппонентов. Старик Гольдин, получив приглашение, страшно изругал Максима: в погоне за дешевыми эффектами залез в невероятные долги, и — кому нужна, скажите на милость, эта «Астория»-шмастория? Гостей можно было позвать к нам и отметить, как полагается, в кругу семьи! У тебя, позволь тебе напомнить, есть семья! — а Ирина Трофимовна, что ты думаешь? — сготовила бы хуже, чем в ресторане, где все жарят на машинном масле? Но уж если непременно нужно было приглашать тысячу человек, так ведь существуют, как пишут в газетах, и иногда это правда, — вполне приличные молодежные кафе... «Мир», «Дружок», этот... «Аленький веночек», я знаю? «Астория» — для гешефтмахеров и пижонов.

Максим сказал, что насчет долгов Григорий Маркович не прав: на долги плевать, снова живем, зато вот свадьбу он обязуется справлять только у Гольдиных, под их руководством и на чистом сливочном масле.

Тысяча — не тысяча, а человек сорок на банкет пришло.

Как они выглядели, во что были одеты и какие тосты произносили — ничего этого Максим не заметил и не запомнил. Помнил только, как первым в зал ресторана, где он тупо стоял около накрытого стола, вошел его руководитель Евдоким Никитич Кашуба. Помолодевший, подтянутый, он ступал по ковровой дорожке, бережно ведя за руку существо женского пола, при виде которого Максим обомлел, обалдел и отключился от внешнего мира.

Веру Евдокимовну он раньше видел мельком и толком не разглядел. Сейчас она была похожа на героинь легенд про рыцарей Круглого Стола и скандинавских саг, какими Макс их себе представлял: надменная северная красавица — стройная, высокая, величавая, с широко расставленными серыми глазами,

коротким прямым носом, светлыми волосами, подстриженными, правда, не совсем как в легендах, а как в последнем французском фильме. Одета тоже как в кинокартине про «красивую жизнь» — в какое-то немислимое платье, но держалась при этом так, точно платья этого не замечает, сколько оно стоит — не интересовалась, и вообще на эти дела ей наплевать. Алла Антохина неделю потом объясняла всем желающим, что в платье от Диора любая жердь будет иметь вид. Хорошо, когда твой папочка без прорыву гоняет по границам!

Максим Вериного платья на разглядел — все обрушилось на него целиком, как тропический ливень, — где уж там разглядывать каждую дождинку! Протянув ему прохладную узкую руку, Вера без улыбки негромко сказала: «Здравствуйте, именинник. Поздравляю.»

За столом диссертанту, слава Богу, полагается сидеть около своего научного руководителя. Максим и сел — между профессором и Верой, которая весь вечер почти не ела и совсем не пила. Она сидела очень прямо, чуть приподняв подбородок, сдержанно улыбалась шуткам Максима и решительно отказывалась от вина. Отец почему-то время от времени бросал на нее вопросительные взгляды, она отвечала надменным поднятием брови.

Максима неприлично много хвалили, предлагали за него тосты, Гаврилов что-то кричал ему через стол, — он ничего не понимал, не слышал и не видел. Видел только поднятый профиль и узкую руку, игравшую вилкой. Как-то незаметно роль главного за столом перешла к Кашубе: тот отвечал на поздравления, поднимал бокалы за оппонентов, даже, к удивлению Максима, один раз, по-видимому довольно удачно, сострил. Что именно он сказал, Лихтенштейн опять-таки не слышал, чистил для Веры апельсин, но на мгновение очнулся от громкого хохота и увидел, что профессор стоит с рюмкой в руке и, скромно потупясь, ждет, когда присутствующие отсмеются его шутке.

Потом Максим танцевал с Верой, и на них смотрел весь зал. Оно и понятно: красивей ее во всем ресторане не было никого, даже иностранки, плясавшие как бешеные, выглядели рядом с Верой, несмотря на свои хипповые наряды, провинци-

альными кривляками. Вера танцевала очень спокойно, как-то даже вроде нехотя, но, когда Максим спросил: «Вы не устали?» — она ответила: «Нет, нисколько».

Объявили так называемый «белый танец», и тут откуда ни возьмись возникла Алла, схватила Максима за руку и потащила за собой. Он растерянно взглянул на Веру, и та чуть заметно ему кивнула — ради Бога, мол. К ней тотчас подскочил некто роскошный, похоже, итальянец, хотя вполне возможно, что и грузин, но она что-то коротко ему ответила, пошла к столу, где Максим и застал ее, вернувшись. Вера сидела одна и курила. А на противоположном конце стола бушевало невероятное оживление: там прямо-таки царил папа. И вдруг Максиму захотелось немедленно встать и уйти. С ней вдвоем. Он сегодня был именинником, ему было позволено все, и он сказал очень легким тоном, глядя прямо в серые серьезные глаза:

— Давайте возьмем вон тот коньяк и удалимся отсюда. По-английски. С обслугой я расплатился заранее, а здесь очень душно.

— Душно?— внимательно спросила она.— Мне не кажется. Но если хотите, можно уйти.

И встала.

Через много лет Максим будет вспоминать, что приходило ему в голову, когда они с Верой шли той ночью по городу. Он смотрел тогда по сторонам и думал: «А ведь это запомнится на всю жизнь»,— светлое, ночное небо в воде Мойки, старые тополя, совершенно пустая, настороженная Дворцовая площадь, и, главное, никогда раньше не испытанное ощущение тихого восторга.

Максим угадал: действительно, запомнилось. Запомнилось и чувство изумления от того, что все это происходит именно с ним, Максимом Лихтенштейном, детдомовцем, про которого всегда говорили: «С этого толку не будет — шпана. Драка за дракой, отец, не иначе, был бандит, хоть и еврейчик».

Максим не знал тогда только одного: эта ночь окажется самой счастливой в его жизни.

Они ни слова друг другу не сказали о том, куда идут, но, когда пересекали площадь, Вера взяла Максима под руку.

— Устала. Далеко еще? Может — такси?

Дома он суетился, накрывал на стол, разливал коньяк. Вера подняла рюмку, чокнулась с ним, сказала «за вас». И поставила рюмку на стол.

— Ни капли? — поразился Максим.

— Ни единой, — ответила она с улыбкой.

— Зачем же я украл со стола две бутылки? Берегитесь — напьюсь.

Выпил один почти бутылку и не опьянел...

Он запомнил эту длинную ночь до самого конца, до утра.

...Вера спала, а он слонялся по квартире: садился за стол, вставал, подходил к окну, глядел на далекий красный огонек подъемного крана, почти неразличимый на посветлевшем небе, на обычно раздражавшие его груды новостроек, — сейчас они казались беспомощно-трогательными.

Утром он должен был идти на работу, а Вера сказала, что днем свободна, будет спать и дождется его.

Столкнувшись в институте с профессором Кашубой, Максим замялся и начал было краснеть, но Кашуба скользнул взглядом мимо и, только пройдя, задал в спину странный и даже двусмысленный вопрос:

— Все в порядке?

— Ага, — глупо ответил Максим. Профессор ушел, а он еще долго остолбенело смотрел ему вслед: «Ну, что это, Господи, ведь болван же, хоть и Верин отец. Что — «в порядке»?! А, черт с ним, кто их знает, какие у них там, дома, дела, Вера — взрослый человек, мать двух пятилетних сыновей...».

Максим брел по коридору и с нежностью думал об этих близнецах, которых ни разу не видел и которые, как он, росли без отца. Вера вчера по дороге рассказала ему, что ее родители совершенно узурпировали права на детей.

...Ни с того ни с сего Максим вдруг очень ярко увидел: июльский пляж в Гаграх, озверевшее солнце, зеленые душевные горы, Вера, загорелая, в белом, почему-то, купальнике, рядом — двое пацанов. И он, Максим, — покупает у грузинки виноград. Черный. «Изабеллу»... Да... Сентиментальный, вы, однако же, тип, Максим Ильич, прямо уездная барышня, а не желез-

ный потомок воинственных иудеев. Вон Гольдин: прочел Библию от корки до корки и утверждает не без кровожадной гордости, будто путь еврейского народа усеян трупами врагов... Да... Не мешало бы поработать... А может, смуться? Сколько сейчас времени? Всего два?!

До трех Максим кое-как продержался, а потом Кашуба куда-то исчез, так что спрашивать разрешения стало не у кого, и с.н.с. Лихтенштейн покинул институт со спокойной совестью.

...Наверное, надо купить какие-нибудь продукты, может быть — торт? Но тогда — потерять время? Плевать. В холодильнике еще остался харч, а кроме того, интуиция подсказывала, что Вера к его приходу что-нибудь приготовит: утром сквозь сон спросила, где тут поблизости гастроном.

Максим забежал только на Кузнечный рынок, купил цветы и килограмм помидоров, за которые пришлось отдать десятку. На «остатнюю» пятерку взял такси и помчался домой.

Он не стал открывать дверь ключом. Всю жизнь, с тех пор как у него появился собственный «дом», сам отпирал свою дверь, но сегодня он шел не в пустую квартиру, сегодня его ждали, и он нажал на звонок.

Раздались шаги. Стоя вплотную к двери, Максим слышал, как Верина рука неумело возится с замком.

«Чего я дрожу, как гимназистка?» — подумал он. Тут дверь распахнулась, и он шагнул, выставив вперед букет.

Застывшие, очень светлые, почти белые глаза смотрели из-под красных век, не узнавая. Совершенно мокрые волосы падали на лоб, и вода с них текла по лицу и на грудь. На Vere был старый Максимов халат, наброшенный на голое тело и незастегнутый. Одна нога была в туфельке на высоком каблучке, вторую, босую, она поджала. Вера стояла в дверях, держась за косяк, и исподлобья разглядывала Максима.

— Ты... Я тебя вытащил из ванны?

Она не ответила, поправила халат на груди и, с трудом разлепив запекшиеся губы, медленно выговорила:

— А-а... Пришел, значит...

— Что случилось? — Ты... — начал Максим и тут же уловил отчетливый, резкий спиртной запах.

— Чего уставился?— спросила Вера враждебно.— Давно не видел?

Она сделала какое-то движение, покачнулась и наверняка бы упала, если бы Максим не успел подхватить. Тут она сразу обмякла и покорно позволила отвести себя в комнату, при этом пыталась прыгать на одной ноге, отчего свалилась и другая туфля.

В комнате запах был еще сильнее. На неубранной постели Максим увидел пустую бутылку из-под коньяка, неизвестно откуда взявшуюся банку шпрот и несколько окурков. Окурки валялись и на полу рядом с диваном.

Сев на стул, отчего халат совсем распахнулся, Вера положила руки на голое колено и, сведя брови, опять принялась рассматривать Максима. Взгляд ее при этом оставался неподвижно-тяжелым. Максим в растерянности стоял посреди комнаты.

— Ты думаешь,— ты — что? Мне нравишься?— вдруг злобно спросила она.— Ни капли... Понял? Что, съел?— и неожиданно тонко захихикала.

Говорить с ней сейчас было бессмысленно, и Максим вышел в кухню, где из незавернутого крана с шумом хлестала холодная вода. В раковине плавали окурки.

— Приготовь мне покушать! Я кушать хочу!— капризным голосом крикнула Вера из комнаты.

Пьяный, да еще если — с непривычки, за свои поступки, как известно, отвечает не вполне. Максим закрыл кран, выкинул окурки, взял сковородку и стал жарить яичницу. Руки его не слушались, одно яйцо выскользнуло и упало на пол.

— Разбилось...— услышал он за спиной Верин голос и обернулся.

По бледному, даже как будто синеватому лицу дорожкой бежали слезы.

— Чего глядишь? Я кушать хочу!— закричала она истерически.— Ты что делаешь? Не трогай солонку! Со-ле-на-я пища... вредна!— тут Вера пошатнулась и рухнула на пол.

... Максим возился с ней до самого вечера. То она засыпала, то открывала глаза и требовала, чтобы он немедленно отправлялся за бутылкой. «Денег нет? Бедный? Да? Бедный? Возьми у меня в сумке, купишь водки и сухого, ясно тебе?»

Он отказывался, уговаривал ее; понимая полную бессмысленность вопросов, все же спрашивал, что случилось, в чем дело? Вопросы приводили ее в ярость. После того как он принялся задавать их в третий раз, Вера вскочила с дивана, заметалась по комнате, потом бросилась к книжной полке и начала швырять на пол подряд книги и фотографии, бросила фарфоровый бюст Маяковского. Потом вдруг замерла, некоторое время стояла, глядя на разбитый бюст, медленно и очень тщательно собрала осколки, вынесла на кухню, вернулась, легла на диван лицом к стене и стала жадно плакать.

Максим слышал тоненькие всхлипывания и видел, как вздрагивают ее плечи, но, когда он подошел, начались такие рыдания и вопли, что он перепугался — бегал за водой, капал валерьянку. А Вера кричала:

— Выгони ты меня! Вышвырни на улицу! Я же мразь! Мерзкая падаль! Дерьмо! Шлюха!

— Неправда,— бормотал он и гладил ее волосы.— Успокойся! Сейчас пройдет, пройдет...

... А что пройдет-то? Что это вообще такое? Реакция на выпивку? С непревычки? Или приступ какой-то болезни?..

Когда поздно вечером Вера задремала, Максим вышел из дому и направился к телефону-автомату. Звонить Кашубе было противно, да что поделаешь: все же отец, должен знать, если она чем-то больна. Приползла мысль, что, конечно, лучше всего было бы сейчас взять такси и отвезти ее домой... Ну уж нет, это не по-мужски! Гнусно!

— Евдоким Никитич, — начал он, — понимаете... тут такое дело... Вере плохо...

Кашуба молчал.

— Я думал, может, вызвать неотложку... — проямлил Максим.

— Ни в коем случае, — сказал профессор голосом, лишенным всякого выражения. — Назовите ваш адрес, я сейчас приеду и заберу.

Максим на секунду почувствовал облегчение, но — только на секунду.

— Нет, нет! Ей сейчас нельзя, она же... Я сам... Но, может, вы... может, какое-то лекарство?..

— Обычно в таких случаях помогает нашатырный спирт, — тускло сказал Кашуба и тотчас положил трубку.

... Максим вернулся домой. Вера спала. Дышала ровно, и лицо ее при неярком свете настольной лампы опять было лицом героини скандинавских саг. Максим выключил лампу, прилег, не раздеваясь, рядом и, сам не ожидая этого, внезапно и крепко заснул.

Проснулся он от того, что в окно светило раннее солнце, и сразу встал, разминая затекшее тело.

— Я не сплю, Макс, я уже давно не сплю, — тихо сказала Вера, — Принеси, пожалуйста, сигарету,

Максим принес сигареты, зажигалку, дал Вере прикурить и закурил сам. Половину шестого показывал будильник, идти на работу ему надо было в восемь...

... Вера просила прощения — у нее был нервный срыв, который никогда, никогда больше не повторится! Максима, конечно, это не касается, он для нее вообще ничего не обязан делать, но пусть знает, тогда скорее поймет. Тошно, ох, до чего тошно! — жизнь осточертела, на работу не устроиться. Я ведь художница, Мухинское кончила, работала в издательстве, а там — сплошные бабы, такие сволочи, завистливые, злобные! Что человек один воспитывает двоих детей — на это им плевать, что нет у меня никого — не верят, а вот что хожу в импортных шмотках и мужики глаза пялят, а на них, на куриц, не смотрят, — этого они пережить не могут. Прямо съедали. А теперь этот проклятый оформительский комбинат, где обещали жалкое место, и все тянут и тянут, а дома родители тянут душу, дома вообще жить невозможно, папаша хоть из кого кишки вымотает: «В наше время каждый человек обязан быть полезным обществу, дети должны видеть перед собой положи-

тельные примеры, надо быть хорошим и честным, а плохим и нечестным быть нехорошо. Все мы в неоплатном долгу...» Вера так похоже изобразила Кашубу, что Максим на мгновение увидел гору и ехидную рожу ворона.

Что там говорить — конечно же, иметь под боком такого родителя далеко не сахар, тут, пожалуй, и в самом деле запьешь или повесишься. Другой бы на Верином месте давно сбежал из дому, а куда бежать одинокой бабе с двумя ребятами?

— Наш профессор, — рассказывала Вера, — он ведь, знаешь, что больше всего обожает? Кампании. Не, не то! Не собраты — выпить-посидеть, а общественные кампании, ну там — приоритет, космополиты, а теперь вот за охрану природы или «химия — в жизнь»...

— Это мы знаем, — усмехнулся Максим.

— На работе, наверное, еще можно как-то выдержать, а вот когда тебя дома, с детства все время окунают из холодной воды в горячую... То — ходи, как чучело — «девочку украшает скромность», то — слава Богу! — «у Запада тоже можно кое-чему поучиться, а эстетика должна быть во всем». И — тебе привозят из Парижа тряпки, а в доме меняют мебель. То... Да, ладно — я, а дети? Он ведь замучил мальчишек. И маму замучил, как же — трудовое воспитание! «Человек должен все уметь делать собственными руками! Откуда у вас это барское пренебрежение к физическому труду? Вот и «Литературка» пишет... Что? Ремонт? Никаких маляров! Прекрасно оклеим своими силами...» И — что ты думаешь? Ободрал, собственными таки руками, все обои, купил пять килограммов сухого клея, и на этом все кончилось, — улетел куда-то на конференцию, потом уехал в другую командировку, месяц жили в хлеву, а потом мать позвала мастеров из «Невских зорь»... А на той неделе приказал ребятам каждое утро мести лестничную площадку: «У нас в стране прислуги нет, дворников мало, никто не желает работать. Вот ваша мама — не идет ведь в дворники, хотя сидит без дела...». А им — по пять лет... Потом еще является бывший супруг и тоже лезет со своими амбициями, взглядами на воспитание и правами на мальчишек...

— А он кто?

— Он? Большой человек. Начальник! На черной «Волге» ездит. Разглагольствует не хуже моего папаши. ...Господи, хоть бы содохнуть, что ли?! Ты меня извини, я тебе говорю, — это был нервный срыв, больше никогда... вспомнить страшно... и стыд-то, стыд... Спасибо тебе, ведь посторонний человек... Ну, прости, прости! Не посторонний, нет...

...Потом она опять объясняла и объясняла. Максим соглашался — конечно, унизительно, когда тебе не доверяют, грозят, вмешиваются, конечно, хоть кому осточертело бы изо дня в день — и дома! — слушать дэмагогическую трепотню. Вера благодарно обнимала его и все повторяла:

— Ты хороший, ты добрый. Господи, какой же ты хороший!

... На работу в тот день Максим не пошел...

А назавтра, тихим и скромным утром, он приближался к институту и думал — надо бы поговорить с Кашубой с глазу на глаз, начистоту. Что, в самом деле, за пироги: доводить человека до такого? Тут ведь и додурдома недалеко. Женщина — на грани, а он «нашатырный спирт»! Скотина.

Максим двже придумал предлог, по которому ему надо обратиться к Кашубе, но не получилось никакого «мужского» разговора — тот выглядел таким пришибленным, старым и больным, что нек повернулся язык. Да и вообще, честно говоря, как-то вдруг неловко стало вторгаться в чужие дела, — он Кашубе не сват и не брат. И не зять. Пока еще... А профессор... что с него возьмешь? Максим вспомнил вчерашние Верины рассказы. Всю жизнь только тем и занят, что ориентируется, и только, бедняга, пристроился в хвост очередному почину, только развернется, а тут — р-раз! — и на тебе — повело в другую сторону...

Кое-как обсудив ничтожный «деловой» вопрос, с которым явился, Максим вышел из кабинета.

Вечером, открывая дверь в квартиру (на этот раз ключом, Вере он оставил другой, она хотела днем прогуляться: «Надо прийти в себя, а уж завтра — домой»), Максим услышал незнакомые, очень оживленные голоса и громкий смех. Войдя, он застал такую картину:

За столом, уставленным пивными бутылками и «бомбами» с «бормотухой», или, как их еще называют, «фаустпатронами», сидели Вера в парижском платье и три мужика. Трое из тех, кого можно встретить без пяти одиннадцать под дверью винного магазина. Одного из них Максим как будто знал в лицо. но где встречал, вспомнить не смог.

Когда Максим появился на пороге, Вера встала, держа в руке полный бокал:

— Присоединяйся, — пригласила она. — А сперва разреши представить: мои друзья. Вот это — Николай, а это... как тебя?

— Михаил, — с достоинством кивнул второй мужик, не вставая. И добавил:

— Садись, гостем будешь.

Третий, со знакомым лицом, вскочил из-за стола, засуетился, стал собирать бутылки.

— Пошли, ребята, — заботливо приговаривал он, — пошли, хозяин — со смены, пускай отдыхает.

— Эт-то еще что?! — гневно осадил его Вера. — Не трогай бутылки! Я тебе дам — «пускай отдыхает». А ты чего стоишь? — накинулась она на Максима. — Встал как пень. Садись! — лицо ее побагровело, глаза сузились.

— Ох, она ему сейчас и зафуярит! — с восторгом взвизгнул Николай.

Максим вдруг почувствовал жуткую злость.

— Что это значит, Вера? — спросил он тихо. — Что за бардак?

— Барда-ак?! Ах ты, сопля! Гад ментовский! Не желаешь с моими друзьями за стол сесть? А чем они хуже тебя... Вонючка!

Максим вздрогнул и, плохо соображая, что сейчас произойдет, шагнул к Вере. Она завизжала и отпрянула, и тут же: «А-а, падла!» — схватив бутылку и оскалившись, вскочил Николай.

— Две собаки дерутся, третья не приставай, — Михаил взял дружка за руки, — две собаки...

— Пошли, ребята, — внушительно вмешался третий и, повернувшись к Максиму, вдруг подмигнул:

— не признали? Я же вам стенной шкаф делал. Запрош-
лый год еще.

— Если друзья, тогда — другое дело, — сразу смило-
стился Николай. — Тогда ладно, хрен с ним, пошли. Мишка,
идем! А ты гляди, бабу не трожь, понял? Проверю, понял —
нет?

— Две собаки дерутся, третья не приставай, — рассу-
дительно напомнил Михаил уже в дверях. Бутылок они не взяли.

После их ухода Вера учинила скандал:

— Ты так, да? Ты так? Выгнал на улицу моих лучших —
лучших! — друзей! Да ты-то сам кто такой? Подумаешь, дерь-
ма-пирого, кандидат наук, цаца! Видали мы таких, навида-
лись! Да такие мужики, как Мишка с Колькой, если хочешь
знать, в тысячу раз лучше, потому что честнее, не болтают и
ничего из себя не строят, что думают, то и говорят. А вы?! Да
они, если хочешь знать, с тобой на одном поле и с...ь не сядут!
Что рот разинул? Не слышал таких слов? Небось, не такое
слыхал, все вы из кожи вон лезете, чтобы выглядеть интелли-
гентами. не выйдет, зря стараешься, из хама не сделаешь пана,
а из дерьма — профессора! Детдомовская шпана ты, вот ты кто!
Ублюдок! Тебя родина воспитала, понял? И ты теперь в неоп-
латном долгу! — она захохотала, схватила со стола тарелку и
кинула в стену, плюнула на пол, хотела плюнуть Максиму в
лицо, но он сжал ее запястья и заломил ей руки за спину.
Громко вскрикнув от боли, она попыталась его укусить, при-
нялась рыдать, материться, потом стала тихо стонать. — Пу-
сти, мне больно. Пусти! Сломаешь руку!

А затем у нее вдруг начался сердечный приступ, и, похо-
же, серьезный: пальцы похолодели, глаза закатились, пульс
еле прощупывался. Что было делать? И Максим, еще минуту
назад твердо решивший выкинуть мерзкую бабу на улицу к
«лучшим друзьям», побежал вызывать «неотложку».

Через сорок минут приехала докторша. Осмотрев Веру,
которая лежала как мертвая, сделала ей два каких-то укола,
потом уселась за стол и принялась писать.

— Сколько полных лет? — брезгливо спросила она у Максима.

Откуда ему было знать, сколько. Когда увидел ее на банкете, подумал лет двадцать семь — двадцать восемь, теперь она выглядела на все сорок.

— Тридцать пять, — сказал он.

— Вы муж?

... Ну, что объяснять ей?

— Муж.

Врачиха покачала головой.

— Как же вам не совестно, молодой человек. Ведь вы же знаете, ваша жена — алкоголичка. Тут с первого взгляда ясно. Надо меры принимать, — в стационар, а вы что? С виду — такой приличный... — Она опять покачала головой, сложила свои бумаги в большую хозяйственную сумку и, поджав губы, пошла к выходу.

Максим молча подал ей пальто.

— Больше не вызывайте, — сказала врачиха уже в дверях, — из вытрезвителя команду вызывайте, а я не приеду. Сделаете вызов — заплатите штраф.

Неделю продолжался кошмар. Максим давно уже забыл про свой банкет, про красавицу, похожую на героинь скандинавского эпоса, про дурацкие видения с пляжем в Гаграх. Не мог он отправить ее т а к у ю — к Кашубе, не мог ведь! К Кашубе — не мог... И Максим то ходил на работу на полдня и бежал потом назад, то оставался дома, это — если у Веры наступало просветление и она лежала, тихая и несчастная, и опять давала клятвы, что — все, больше уж — никогда, это точно, только не оставляй меня сейчас одну, я за себя не ручаюсь, что —нибудь с собой сделаю, мне ведь все равно, кому я нужна? Детям? Они — бабкины и дедкины, строители нового общества — лестницу метут...

Максим опять жалел ее, утешал, обнимал, а утром, взяв с нее обещание не выходить и даже отобрав ключ, все-таки шел в институт. Он уже давно не понимал, чего и сам хочет, был себе противен, и то, что происходило ночью, утром вызывало ужас и содрогание. И повторялось.

Вера была на редкость изобретательна. В тот раз она все-таки ушла, хлопнув за собой дверь, а стоило ему вернуться, как прибежала соседка, сотрудница института, тихая домовитая курочка. Она сейчас была в декрете, и стала умолять, чтобы Максим Ильич скорее шел к ним, забрал свою приятельницу — вломилась днем в совершенно... нетрезвом состоянии... а у нас же Коля в первом классе, вы понимаете?.. Сейчас она спит, но мы больше не можем — она мужа за вином посылала и, знаете, говорила ему такие гадости...

Было очевидно: надо сейчас же отправлять ее домой. Но Вера заявила, что домой — ни за что, ни за какие пряники, лучше с моста в реку или вниз головой в пролет, и она, будьте уверены, так и поступит. Как Максим мог после таких заявлений пойти, скажем, за такси и оставить ее одну? Но продолжаться так дальше тоже не могло.

«Переговорю с Кашубой, завтра же. Некрасиво, незтично, а что еще делать?! Пускай приезжает».

Однако разговор пришлось отложить еще на сутки. Профессор уехал куда-то на совещание, и весь день в институте его не было. Ключа Вере Максим не оставил. Вчера между ними произошел скандал, и он пригрозил, что если она опять уйдет, то назад он ее уже не пустит, на что она сперва объявила, что видела в гробу его ключ, его квартиру и его самого, но тут же осеклась и сказала:

— Ладно, не бойся. Я ведь знаю: и так тебя на весь дом опозорила.

Когда Максим вернулся с работы, в квартире было пусто.

«Опять,— подумал он обреченно.— Сил уже нет никаких».

И вдруг на столе увидел записку. Только два слова, нацарапанные на обрывке газеты: «Пожалуй, хватит». И больше ничего, даже подписи.

Ну, и слава Богу!

Весь вечер он, как остервенелый, убирал квартиру, перемыл посуду,— «пожалуй хватит». Вот уж золотые слова... вытер пыль, выкинул пустые бутылки в мусоропровод, сменил постельное белье,— хватит, хватит...— подмел пол. В одиннадцат-

цать часов, вымотавшись как собака, принял душ. Нет, жизнь все же не так плоха, как недавно казалось... Пожалуй... все хорошо, что хорошо кончается... Хватит. А сейчас надо спокойно, впервые за несколько дней спокойно, выпить чаю и лечь. Все хорошо. «Пожалуй, хватит». Да? Да! Ушла домой и оставила записку, чтобы не беспокоился. Очень трогательно, особенно если учесть, что она тут вытворяла. Позаботилась. Хватит, пожалуй...

А что — «хватит»?!

А если: «К черту все! Всю эту жизнь! Тебя! Вас всех! Себя саму! Чем хуже, тем лучше. А лучше всего — сдохнуть!» Так ведь она десятки раз говорила! И — под трамвай. Да мало ли способов, а такая психопатка ни перед чем... Именно, конечно же, будь я проклят! А мне-то, мне какое, в конце концов, до всего этого дело?..

Но он был уже на улице, вон — автомат. Гудки. Занято. Придя домой, наглоталась снотворного, теперь там вызывают «Скорую помощь». Чертова баба!

Дверь Максиму открыл Кашуба. Не выразив никакого удивления, пропустил в переднюю и, не успев Максим сказать слова, вполголоса позвал:

— Вера, тут к тебе пришли.

За стеной послышался сонный детский голос, потом шаги. Вера вышла из комнаты и аккуратно притворила дверь. В джинсах и белой мужской рубашке с закатанными по локоть рукавами она выглядела очень молодой. Светлые, явно только что вымытые волосы колечками завивались на висках, брови были приподняты.

— В чем дело? — надменно спросила она у отца, не взглянув на Максима.

Профессор молчал, но не уходил.

— Прошу здесь не шуметь, и так разбудили детей, — недовольно сказала Вера и царственной походкой удалилась в комнату.

— Извини, — с трудом выдавил Евдоким Никитич, в первый и последний раз в жизни назвав Максима на «ты» — Спокойной ночи.

... Вот вам и личная жизнь Максима Лихтенштейна. Больше с Верой он не встречался ни разу, как-то видел издали, но не подошел. ... Нет — Фира, Бэба... От них, видно, не отвертеться... С Кашубой отношения остались нормальными, ни тот, ни другой ни разу даже взглядом не напомнили друг другу о той неделе. Время от времени профессор появлялся в институте с потемневшим лицом, ходил как в воду опущенный или, наоборот, на всех без разбору орал, потоками исторгая круглые, обкатанные, невыносимые фразы. А потом проходило какое-то время, и он как ни в чем не бывало улыбался, острил и рассказывал всякие глупости про Париж.

глава третья

ИНЖЕНЕР

Воскресенье Павел Иванович Смирнов провёл как обычно, как проводил последние полгода все воскресенья: встал в половине седьмого; стараясь не шуметь, вскипятил чай и поджарил яичницу, потом уложил в портфель продукты для передачи, поставил термос с какао и, выйдя из дому ровно в семь сорок, поехал на вокзал.

Там он купил в кассе-автомате билет до Гатчины, хотел взять «обратный», да раздумал, — если повезет, назад можно будет вернуться на попутке или прямым лужским автобусом, так что нечего зря выкидывать сорок копеек, тоже ведь деньги. Что поделаешь, приходилось экономить, зарплата конструктора в тресте составляла сто шестьдесят рублей в месяц, премий никаких не платили, хотя часто обещали, особенно — ему; короче, после всех вычетов и взносов на руки оставалось только-только, в обрез.

Все, кто его знали, считали, что Павел Иванович, имея институтский диплом и отличную голову, мог бы в свои сорок четыре года занимать какую-нибудь приличную должность. А если не занимает, то ... Нет, верно, ведь кого ни возьми из выпуска, даже самые тупые, если на заводе, — были сейчас не ниже замначальника цеха, а если в институте или КБ — так не ниже руководителя группы. Это — самые тупые. Женщины не в счет, там свои дела, и то, между прочим, толстая Еремеева — главный технолог, а две дуры, Селиванова и Горшкова, защитили кандидатские диссертации. В прошлом году в ВУЗе был вечер встречи, и после, того как вслух прочли анкеты (рассылали заранее такие анкеты: «На ком женат? Где ты теперь? Кого встречаешь из друзей?» и т.д.), так вот, когда огласили ответы Павла Ивановича Смирнова, все стали поглядывать на него; кто — с удивлением, кто — с жалостью, а Селиванова и Горшкова — с удовольствием: учился на повышенную, воображал, от группы вечно откалывался, и вот вам — до откалывал-

ся... Зато Еремеева в перерыве подошла и завела разговор на тему: «Неважно, кем человек стал, важно — как и м», то бишь: «Не место красит человека». Никто не решался спросить, но если все-таки спросил бы Павла Ивановича: «Почему ты все-таки ничего не достиг?» — и услышал бы на свой вопрос совершенно искренний ответ, все равно бы этому ответу никогда и ни за что бы не поверил. Потому что ответ был бы идиотский: «Не хотел».

Вы себе представляете? Он «не хотел!» Ну, ну... Расскажи своей бабушке. Это чтобы взрослый, здоровый мужик сам добровольно отказался от приличного места и пожелал прозябать в занюханном тресте простым инженером? На которого даже курьер и уборщица смотрят небось как на тайного психа, как мы с вами смотрим на особу, сохранившую девственность до тридцати девяти лет?

Не хотел...

Закончив институт с отличием и получив назначение в один весьма престижный «ящик», Павел Иванович сразу завоевал расположение начальства. Особенно после того, как выдал одну очень простую идею, которая, однако, при всей своей простоте позволила пересмотреть и в корне изменить конструкцию и принцип работы некоего... скажем, объекта, или точнее — заказа. Используя эту идею, переменили направление работ конструкторы, кибернетики, электронщики, механики, словом, половина организации. Павел же Иванович в это время подал еще три заявки на изобретения, касающиеся совсем новых, других дел, перечислять и даже упоминать которые мы здесь ни в коем случае не будем — это вам не «Червец», тут вещи серьезные.

Механики, кибернетики, технологи, конструкторы и рабочие, тем временем, воплотили ту, первую, идею Павла Ивановича и создали в металле нечто грандиозное, которое и было немедленно выдвинуто на соискание. И вот тут-то произошел скандал. Дело в том, что высокая премия обычно дается коллективу, насчитывающему не более двенадцати человек. Коллективу! Поскольку «единица — ноль», и это всем известно. После того, как одно место из двенадцати было предложено

начальнику главка, еще три — заводам-смежникам, а два — заказчику, на предприятие Павла Ивановича пришлось оставшиеся шесть мест. И их по справедливости разделили между директором, представителем рабочих (новатор, кавалер орденов), двумя конструкторами, технологом и одним из кибернетиков. Их вклад в дело был очевиден, их руки в течение нескольких месяцев упорного труда сделали лучший в мире самонаводящийся, самокорректирующийся, само... словом, замечательный, будем говорить... агрегат. Выдвижение кандидатур прошло в единодушно-праздничной обстановке, все было прекрасно, если бы при этом не присутствовал некий Зайцев, только что выбранный член комитета комсомола, молодой специалист и большой любитель борьбы за правду. Этот Зайцев, не согласовав ни с кем своего выступления, вылез на трибуну и, заикаясь, начал:

— Пп-посс-тойте, то-то-варищи! Кка-к же это при... прикажете понимать? По-почему в списке нет фа-фа-ми-лии С-с-смирнова? Введь эт-то его п-предло-ж-жение, в-все зна-а-знают...

Дальше Зайцев понес что-то уж вовсе бессмысленное и непонятное, и в зале поднялся возмущенный гул. Дурак испортил песню, следовало поставить его на место, и эту задачу взял на себя главный конструктор предприятия, уважаемый молодой человек. Не повышая голоса, он спокойно и доходчиво объяснил, что заслуг молодого инженера Смирнова никто умалять не собирается, у парня «безусловно» прекрасная голова, и если он будет так же творчески работать впредь, то его ждет большое будущее. Но пока он только еще в начале пути. А что касается данной работы, выдвинутой на Премию, то, положив руку на сердце, согласитесь: вклад Смирнова... ну, как бы это выразиться?... Случаен. Да, случаен. Ему пришла в голову хорошая мысль, это верно. Она могла прийти на ум и кому-нибудь другому. Идеи носятся в воздухе. А главное, товарищи, — из одной мысли, как говорится, шубы не сошьешь. Для расчетов, для разработки технологии, а в основном, конечно, для конструкторских работ, нужна высочайшая квалификация!

Для изготовления деталей и сборки требуются поистине золотые руки, потому что это тонкая, ювелирная, товарищи, работа. И вот теперь, товарищи, давайте честно скажем — кто больше достоин: люди, вложившие в этот заказ многомесячный творческий труд, люди, всей своей предшествующей деятельностью заслужившие Премию, или же — пусть талантливый! — но очень еще молодой специалист, который в результате пятнадцатиминутных размышлений «на тему» наткнулся на простую, лежащую на поверхности, хотя и — кто же спорит? — оригинальную и полезную, товарищи, идею?..

Главный конструктор говорил так долго и так хорошо, что сумел исправить испорченное было праздничное настроение присутствующих. Он был, по-видимому, оратором высокого класса, потому что сумел сделать так, что к концу его речи о Зайцеве все забыли, и дело кончилось аплодисментами, единогласным принятием списка для дальнейшего рассмотрения на техническом совете и поздравлениями выдвинутых кандидатов. Зайцева же на следующий день пригласили в партком, да не одного, а с комсомольцем Смирновым, и больше часа выясняли, зачем Смирнов подбил товарища на эту некрасивую выходку. Тут же, конспективно пересказав вчерашнюю речь главного конструктора, Павлу дали понять, что претензии на Премию — смехотворны, однако за товарищескую активность его справедливо похвалили и обещали проследить, чтобы при следующих выборах он был включен в Совет молодых специалистов.

Надо сказать, что главный конструктор не бросал слов на ветер, когда обещал Смирнову большое будущее: через год того повысили до старшего инженера, еще через год — до ведущего, а в двадцать семь лет он был уже начальником сектора.

И вот тут это произошло в первый раз. Ничего особенного — проводилось очередное сокращение, из сектора Павла Ивановича нужно было уволить одного человека. Это еще повезло (сектор был важный) — всего одного из десяти, в других секторах сокращали и по двое. И без разговоров. Павел Иванович заметался: почему, за что должен он сейчас вызвать к себе ни

в чем не повинного, спокойно живущего и работающего человека и так ему врезать? По всему городу сокращение, места сейчас нигде не найти, формулировка «по сокращению штатов» хуже клейма, известно ведь, что сокращают худших, да и кого выбрать? Подумав, Павел Иванович пошел к заведующему отделом и объявил, что таких, кого надо уволить, по его мнению, в секторе нет. «Ну, это ты брось, вызови... ну, хотя бы... Дмитриеву, пусть идет на инвалидность, ведь еле ходит, артрит... жаль, конечно, но ты же понимаешь — мертвая душа», чуть что — бюллетень. Ей и самой, в конце концов, лучше — пенсия... Так? Вот и договорились».

Павел Иванович знал, что работник Дмитриева хороший, а пенсию по инвалидности получит ничтожную, да и получит ли еще, что качать права она не станет, предложат — уволится, а живет одна, все ее дела, дружбы и интересы — тут, в отделе, да и что ей делать дома? Выть с тоски? Так он, подумав, и сказал начальнику. Тот посмотрел на него, покачал головой и вздохнул: «Иди, работай, сокращением я сам займусь, а то вы, молодые, больно все чувствительные, хотите быть добренькими за государственный счет, а у нас тут не райсобес. Ладно. Пусть я буду злой...»

Через две недели Дмитриева ковыляла с «бегунком», а Павел Иванович сидел за своим столом, не смея поднять глаз.

Прошло некоторое время, и одна из сотрудниц отказалась ехать в командировку — не с кем оставить ребенка. Павел Иванович немедленно предложил поехать одинокому ведущему инженеру, и тот зашипел от гнева: «Вы что же делаете, работа не моя, и, значит, если у человека нет детей, так он в каждой бочке затычка? Я полтора года без отпуска, это произвол, а Воронкова, между прочим, прекрасно может поехать, «ребенку» тринадцать лет, проживет неделю и один. Вы думаете, на вас управы нет? Ведете себя, как какая-то держиморда...» В секторе тут же разгорелся невероятный скандал. Реализуя застоявшуюся общественную активность, коллектив разбился на две группы, которые, переругавшись, вломились в закуток, где было рабочее место Павла Ивановича и, перебивая друг

друга, начали орать, что — безобразия, по положению матерей нельзя посылать без согласия, а ездить за других — никто не обязан, пусть съездит сам, тогда поймет! Что в секторе нет порядка и дисциплины, один базар, и некоторым всегда можно все, а другим — никогда ничего!

На следующий день Павел Иванович поехал в эту командировку сам, а потом получил от начальника разнос, в общем, справедливый: разводишь либерализм, пора научиться работать с людьми, чтоб это было в последний раз, понятно?

Вот тогда Павел Иванович и подумал (впервые), что с людьми работать он не может. Ему органически противно было принуждать.

Дисциплина в его секторе, между тем, делалась день ото дня хуже. Из парткома он не вылезал — вызывали чуть ли не каждую неделю: как субботник по уборке территории района, как надо посылать людей на стройку, овощебазу или в совхоз, так у других ездят безо всякого, а у Смирнова — опять демагогия, опять срыв мероприятия, не понимает важнейших задач, сам распустился и людей распускает.

Через полтора года после назначения на пост начальника постылого сектора, поощряемый общественными организациями, Павел Иванович подал, наконец, заявление об уходе. Завотделом завизировал заявление с удовольствием, главный конструктор — с некоторым сожалением, и потом вспоминал, что вот ведь как бывает: подает человек надежды, вроде бы способный, даже талантливый, а приглядишься — мыльный пузырь. Не состоялся Смирнов, не состоялся, выходит, правы мы тогда были, награждать надо по совокупности, а не кого попало...

Потом было еще несколько мест работы, но сходные ситуации беспощадно возникали каждый раз, как только Павел Иванович, пусть временно, становился хоть каким-нибудь начальником. В конце концов, шесть лет назад он с должности ведущего инженера НИИ, где ему временно пришлось исполнять обязанности посланного на Кубу руководителя группы, закатился простым инженером в отдел механизации жалкого

треста, потеряв при этом шестьдесят рублей зарплаты. Толчком послужила кампания по отправке на пенсию лиц, достигших предельного возраста. И.о. руководителя группы Смирнов вдрызг переругался с начальством и подал заявление вместе с пенсионерами, правда, ему на прощанье цветов не дарили и не говорили с бодрым сожалением: «Не забывайте нас!».

Работа в тресте — вот, оказывается, что было нужно: кульман, окно в тенистый сад, электроплитка, на которой можно согреть чайник, и никакой перспективы административного роста. Зато полная свобода действий и почтительно-восхищенное отношение руководства.

А с какого-то момента даже слегка испуганное. Ибо трест вдруг незаметно, без шумного взятия обязательств и встречных планов, без починов и дополнительного финансирования сверху, — из последних, чуть ли не самых затюканных, бочком-тишком выбился «в люди». И теперь на городских и областных совещаниях в его адрес вместо привычной окаменелой ругани — одни похвалы. А директор отлично знал — все дело в остроумных и дешевых разработках инженера Смирнова. Единица тут оказалась отнюдь не нулем, больше того — неким центром кристаллизации. Замечено было: вокруг спокойного, невидного (потому что все время занят) Павла Ивановича мало-помалу образовалась какая-то особенная атмосфера, когда остальным стало вроде и неловко валять на работе дурака, и все они теперь... в общем, тьфу, тьфу, чтоб не сглазить!

Завотделом механизации, непосредственный Павла Ивановича начальник, не раз солидарно шутил, что Смирнов, мол, у нас вроде Тома Сойера: ну, когда, при покраске забора, пацан всех убедил, что красить — самое увлекательное и завидное занятие. Правда, в отличие от шустрого Тома наш Смирнов, взбаламутит остальных, и сам не сидит в стороне, а вкалывает будь здоров! Шутка начальника обычно завершалась вздохами и кряхтением на тему, что у нас — вот безобразия! — невозможно увеличить человеку оклад только за то, что он — настоящий работник! Надо, понимаешь, непременно повысить его в должности, а где напасешься должностей? Штатное расписание,

сами знаете... Однажды в самом начале рабочего дня завотделом подошел к кульману Павла Ивановича, помялся, заглядывая в лист ватмана, и, вдруг засопев, ни с того ни с сего спросил: правда ли, что вчера заходил этот прохиндюга Михеев, главный инженер 35-го треста? Девочки сказали, полдня проторчал.

— Заходил, — кивнул Павел Иванович, несколько удивленный злобной горячностью начальства.

— А зачем?! Нет, вы скажите — зачем? — заволновался тот, и Павел Иванович, взглянув ему в лицо, удивился еще больше, увидев в глазах беспокойную подозрительность.

— Да, так... Поговорить... — ответил он. — Консультация ему нужна, у них там с подъемниками что-то...

— Ах, консультация. С подъемниками... — перекосялся вдруг завотделом, и резко добавил: — Вы ему, Михееву, не очень-то верьте, человек скользкий, прямо глист! Короче говоря, трепло.

Через неделю Павла Ивановича неожиданно вызвал к себе директор. Завотделом находился там же. Смирнову было сделано неожиданное предложение возглавить вновь организующийся отдел подготовки производства. И добавлено, что должность «пробили» специально для него.

— Я уже и кандидатуру вашу согласовал, — радостно возгласил директор. — И оклад в полтора раза выше, так что сами видите... А фактически вся работа ваша останется за вами. А?

Было ясно: речь шла о липовой должности, «пробитой» с самыми добрыми намерениями, и Павел Иванович спокойно, но твердо сказал, что ни на какие руководящие посты не пойдет. И вообще, вполне удовлетворен тем, что имеет сейчас.

— Что значит — «удовлетворен»? — вскинулся завотделом. — А денег вам как прибавить? Вы что, маленький? Не понимаете?!

— Премий у нас три года нет и когда еще... — напомнил директор.

Павел Иванович развел руками: ну, что поделаешь? Может еще и будут, а в начальники... это не для него.

— Ага. Это, чтобы я... чтобы мы тут каждый день сидели-ждалились, что вас переманит Михеев?— заводителом аж пятнами пошел.— Только потому, что у них объекты выгодные?

— Махинатор он, ваш Михеев!— загремел директор.— Махинатор и жулик! И все они там... Ну, ничего, скоро их всех разгонят к чертовой матери! А кого надо, и посадят! За Михеева лично я ломаной копейки не дам! Дачу себе отгрохал, паразит, — что твой Зимний дворец.. Сядет, увидите, и других потащит.

Павел Иванович отвернулся, чтобы скрыть улыбку. И заверил руководство, что 35-й трест ему даром не нужен, ему и тут хорошо. А с деньгами... как-нибудь уладится.

— Это вы кого же утешаете?— окончательно взбеленился директор.— «Ула-адится»... Да как оно уладится-то? Ежели бы от меня зависело, я бы таким, как вы.. Ладно. Идите, работайте. Будем думать.

Его оставили в покое. Возможно, директор что-то такое и думал, да что тут придумаешь? Павел Иванович работал, получал свои сто шестьдесят — сто сорок на руки — и старался сводить концы с концами. А заводителом угрюмо бросал на него подозрительные взгляды, но помалкивал. Только делал время от времени какое-нибудь предложение: командировка летом в Феодосию для обмена опытом или бесплатная путевка в Кисловодск, «вам пора подлечиться, все лечатся, а вы что, бобик?». Или просил написать заявление на материальную помощь в конце года: «С месткомом я договорился, дадут точно». Путевок Павел Иванович не брал — не хотел оставлять мать, материальную помощь получать считал неудобным: «Не погорелец».

Он знал, что в глазах многих, в том числе хотя бы соседей Антохиных, выглядит со своим чистоплюйством полным дураком. Ну и ладно.

Мать, между прочим, всегда одобряла образ жизни Павла Ивановича: «Бог с ней, с карьерой, разве в ней счастье! Главное, Павлик, что для тебя дело важнее денег, значит, ты сумел остаться честным человеком, понимаешь?».

Теперь, когда матери рядом не было, когда поговорить и посоветоваться (а он привык с детства советоваться с ней во всем) стало невозможно, Павел Иванович старался все делать

так, как сделала бы она, начиная с пустяков, хотя бы с мытья посуды (сперва как следует намылить, потом смыть горячей водой, потом — окатить холодной) и кончая отношениями с людьми. Он долго обдумывал, как вела бы мать себя с Антохинными, окажись она на его месте. И пришел к выводу, что общаться с ними она, конечно, не стала бы. Но и ненавидеть тоже: «Знаешь, Павлик, нет на свете более бесплодного, опустошающего чувства, душу сжигает. Это неправда, что бывают ситуации, где нужна ненависть. Нигде она не нужна, даже на войне, пускай самой справедливой. Нужно сознание долга: ты обязан выполнить тяжелый, страшный, но — долг. И ненависть тут не помощник, она только глаза кровью заливает, мешает увидеть, где враг, а где... и вообще такой человек, ну, который ненавидел, он уже ни на что не способен, пустой изнутри. Верно сказано:»То сердце не научится любить, которое устало ненавидеть».

Еще она говорила: «Перечитываю дневники Толстого, и вот о чем все думаю — в чем величие Христа? Думаешь, в том, что он взшел на Голгофу, чтобы пострадать за всех? Таких подвигов много было, главное не это. Суметь полюбить ненавидящих тебя — вот это подвиг. Я как-то раньше не понимала, думала, человек на это не способен, а ведь это счастье — суметь в ответ на зло не почувствовать ненависти! Не то что простить, простить — это судить и как бы отпустить грех, то есть себя заранее поставить выше. А просто постараться в ответ на злобу — понять, пожалеть, увидеть в обидчике человека. Может, страдающего... Это очень трудно, конечно, почти невозможно, но это счастье... И второе — раскаяние. Но тут уж никто, наверное, до конца не способен — чтобы искренне, без ссылок на разные там обстоятельства. И не то что — »не надо меня наказывать, я больше не буду", а по-настоящему — вдруг увидеть, какое ты ничтожество... Не знаю... Я недавно всю жизнь свою перебрала — и, представь, не вспомнила ни одного случая полного, абсолютного раскаяния. А было в чем. Беспринципность, трусость... Что говорить! Ребенка потеряла...».

Да, только с ней, с матерью, возможны были такие разговоры. Теперь ни поговорить, ни посоветоваться не с кем — не сумел завести друзей, не смог построить собственной семьи. Урод.

Иногда Павлу Ивановичу почему-то казалось: подружись он хотя бы с этим дворником, Максимом, может, и стали бы они близкими людьми, по-настоящему близкими. Но не получилось... А раздумывать, как вела бы себя мать с соседями, okazься она на месте Павла Ивановича... Просто смешно! Да не могла она оказаться на его месте! Он отдал ее в больницу, а она его — никогда бы не отдала...

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ

В «хвост» обычно садились те, кто ехал туда же, куда и он, и, войдя в вагон, Павел Иванович сразу увидел знакомые лица, а про некоторых незнакомых тоже мог бы с уверенностью сказать, что они — т у д а: было легко вычислить по брюхатым сумкам, откуда высовывались горлышки неизменных бутылок с фруктовым соком.

Это были почти сплошь старухи, а у редких, что помоложе, на лицах лежала отчетливая тень того мрачного места, куда они сейчас ехали, и потому невозможно было определить — сорок тут лет или все шестьдесят. Они сидели группами, и то с одной, то с другой стороны до Павла Ивановича доносились обрывки негромких разговоров: «Где брали яблочный сок? Я весь город обегала, нигде...» — «... Всегда на Сытном, в кооперативном ларьке, там, конечно, дороже...» — «Вычто, думаете, им все достается, что мы приносим? Дай Бог, если половина, это еще — дай Бог! Половину сестры растащут, остальное — другие больные отымут, кто побойчее. Наш вон — он ведь ни спросить, ни сказать — ничего не может...» — «С десятого обещали карантин по гриппу, пускать не будут, только передачи...».

... Поезд уже шел. Вагон мотало. Синие зимние пейзажи назойливо липли к окнам. Почему-то безвкусными, вызывающими казались сейчас расфуфыренные заиндевевшие деревья и непристойно яркие фигурки лыжников на засахаренной снежной целине.

Павел Иванович вспомнил, что когда ехал этой дорогой в первый раз, осенью, то яркие краски, все эти «багрец», «золото» показались ему отталкивающими... А мать любила осень, уезжала одна в Павловск и бродила там весь день по парку. Брала с собой томик Пушкина, и Павел Иванович еще над ней посмеивался: поэтическая старушка... Впрочем, она и зиму любила ничуть не меньше, всегда радовалась, как празднику, первому снегу. И лето. И весну...

Перед Гатчиной население вагона засобиралось; поезд только отошел от Мариенбурга, а все уж потихоньку продвигались в тамбур — от Гатчины еще двадцать километров, надо успеть занять очередь на автобус, ходит он редко, набитый «под завязку», тащится сорок пять минут, постой-ка на ногах, да с таким грузом!

Павел Иванович вышел из вагона последним, но, широко шагая по засыпанной снегом высокой платформе, скоро всех оставил позади, и от этого ему почему-то сделалось неловко.

В большой рыхлой очереди на автобусной остановке (видно, предыдущий автобус не всех забрал с электрички в восемь сорок) стояли тоже, в основном, старухи, стояли терпеливо, истово, никто не роптал, не толкался и не лез вперед. Поклонившись несколько знакомым, Павел Иванович огляделся и стал уже подумывать, не пойти ли на такси, — черт с ней, с экономией, — мороз, но тут на аллее, ведущей от дворца к вокзалу, забрезжил старенький, осевший на один бок автобус, и очередь радостно задвигалась, непонятно по каким признакам издали определив: наш.

И опять прекрасные, но чужие, мелькали за полузамершими стеклами зимние поля и рощи, отрешенно синело низкое небо, глядящее мимо, вспыхивал солнечный луч в витрине раймага, возле которого переступала высокими ногами крутозадая лошадь, запряженная в розвальни.

... Таким же морозным утром во время войны, в оккупации, они с матерью ехали куда-то в развалнях, мать держала его, восьмилетнего бугая, на коленях и все старалась прикрыть от холода расстегнутыми полами своего пальто. А ему ни капли не было холодно, а весело и уютно — тихие сероватые сугробы стеной стояли по обеим сторонам дороги, снег визжал под полозьями, и было не страшно — пусть хоть волк выбежит на дорогу, пусть хоть даже немец. Он не помнил, куда и зачем они ехали. И мать теперь ни о чем не спросишь, а значит, канул, провалился в тартарары конец этой зимней дороги: чего никто не помнит, того не было.

Впрочем, многое Павел Иванович помнил очень ярко. Например, первого фашиста, которого он увидел вблизи. На фашиста этот стройный, красивый человек, так хорошо говоривший по-русски, совсем не был похож, но это все же был настоящий фашист — в черном мундире, с красной повязкой, с молниями на петлицах, эсэсовец. Павлик с соседкой Галей качались в саду около дома на качелях, и вдруг появился этот немец, подошел к ним и начал расспрашивать. Как зовут? Как фамилия? Кто родители? Павлик не сказал, что отец на фронте, мать предупреждала — не говорить. Сказал — в Ленинграде. Немец закивал, заулыбался: очень красивый город, я там бывал. Потом вдруг спросил, есть ли у них игрушки. Павлик подумал — хочет отобрать и помотал головой. Тогда фашист сказал «пошли» и, не оборачиваясь, направился к калитке, а Галя с Павликом побежали за ним. Он был не страшный, этот немец, он повел их в пустой, брошенный детский сад, где на полу горой лежали медведи, куклы, машины, кубики. Павлик взял себе игрушечный паровоз с вагонами и ружье, а Галя — мяч и большого целлулоидного пупса.

Павел Иванович хорошо запомнил, как мать плакала и ругала его, как отобрала игрушки и спрятала куда-то...

... Высокая железная арка замаячила впереди, слева от дороги. Автобус начал повизгивать и остановился. Оставшиеся полтора километра предстояло пройти пешком.

Здесь, на открытом месте, ветер бил наотмашь. Павел Иванович поднял воротник пальто, опустил «уши» у шапки и, миновав арку, кренясь, зашагал влево по неширокому извилистому шоссе.

Сколько раз в прошлые годы, проезжая здесь в экскурсионном автобусе (куда-нибудь во Псков или Пушкинские Горы), видели они с матерью этот поворот дороги, холм над прудом и парк с беседкой-ротондой, а на вершине холма, среди крон старых деревьев — желтый барский дом. Павел Иванович смотрел тогда и думал, что, наверное, в этом бывшем имении теперь расположен какой-нибудь привилегированный санаторий, пока дольнозоркая мать однажды не прочла над железной аркой: «Психиатрическая больница». Прочла и поежилась, потом сказала:

— Ничего нет страшнее... «Не дай мне Бог сойти с ума...»

Но даже сейчас, совсем в другом бытии, точно упрямый мираж, встала перед Павлом Ивановичем патриархальная усадьба, столетний заиндевевший парк, засыпанный пухлым снегом пруд с горбатым мостиком, дом с колоннами, беседка на берегу. Но по мере того, как усадьба приближалась, выглядывала из-за расступающихся деревьев, очеривалась низкими, одинаковыми корпусами из серого кирпича, мираж таял и распадался. Так бывало в детстве, сразу после войны в Ленинграде — видишь перед собой дом с веселенькими окошками, а он, оказывается, нарисован на деревянных щитах, прикрывающих руины.

Павел Иванович шагал по середине дороги, огибающей пруд, легко обгоняя медленно бредущие группы или одиноких путниц с сумками, переброшенными через плечо, в бедных, давно изношенных пальто и даже в деревенских плюшевых жакетах, в платках, повязанных до бровей. Терпеливо шли они, точно странницы на богомолье в Святую землю, изготовясь на долгий путь. Конца которому не видать ни там, впереди, у ворот проклятой больницы, ни завтра, ни через год. Они мелко ступали по жесткой, звенящей от холода земле, покорно пригнув навстречу ветру головы и опустив плечи, в который

раз за свою жизнь одолевая этот участок дороги — от автобуса до проходной, к которой сейчас уже приближался Павел Иванович.

Он прибавил шагу, но, подойдя, понял, что спешил напрасно: в будке дежурила молодая собачливая сестра в лаковых сапогах-«чулках», а про нее хорошо известно: раньше десяти — удавись! — не пустит.

А было еще только без четверти. Озябшая толпа покорно жалась к забору, сестра, хорошо видная через большое чистое окно, с непреклонным видом читала газету, сидя за столом, возле которого сыто багровел электрический камин. Время от времени она бросала в окно гневные взгляды: делать им нечего, притащились ни свет, ни заря. Нравится стоять? Стойте!

Ветер усилился и злобно погнался поземку.

— Околеешь тут, ждамши, — послышался одинокий неуверенный голос. — Морозят людей, точно скотину.

Павел Иванович усмехнулся: такие высказывания позволяют себе только «новенькие». Те, кто поездил сюда годы, а то и десятки лет, давно приобрели угодливую покладистость и смирение, без этого было бы вовсе не выдержать, — где возьмешь силы еще и на борьбу с самоуправством, когда в руках у них день и ночь бесконтрольно и безответно мучается родной тебе человек!

— Их дело — не пускать, а наше дело — стоять, да помалкивать! Нам дай волю, мы всю больницу по клочкам разнесем. Напрочь.

Дельную эту тираду произнесла такая ветхая, чуть живая, почти и не видная старушонка, что трудно было представить, каким образом она дотащила до ворот свое собственное тело.

Ровно в десять неколебимая владелица лаковых сапог важно отперла вход, толпа хлынула в больничный двор и сразу разбилась на ручейки и потоки, устремившиеся к разным корпусам. При входе тоже никто не роптал и не толкался, однако, очутившись во дворе, все заторопилось, прибавляя шагу, кое-кто даже побежал, осев под тяжестью сумок и подволакивая ноги.

Павлу Ивановичу неловко было обнаруживать перед старухами особенную прыть, не спеша добрел он до дверей нужного ему отделения и все-таки успел: вошел в бокс в первой пятерке и оказался четвертым в очереди к столу, где сестра со сдобным деревенским лицом принимала передачи. Из стопки пластмассовых и эмалированных мисок он привычно вытащил синий полиэтиленовый таз, на котором химическим карандашом было написано «СМИРНОВА». В таз он выложил продукты, поставил банку с компотом и бутылку яблочного сока, и тут как раз подошла его очередь к сестре.

«Смирнова. Сын. Апельсины бшт. Яблоки 12 шт. Вафли 3 пачки. Масло 200гр, сок 1 бут., компот 1 банка», — Сестра медленно выводила корявые буквы в тетради в косую линейку.

— Масло подпишите, его — в холодильник, — велела она, подняв лицо от тетрадки.

Павел Иванович четко вывел фамилию на пачке с маслом, расписался над перечнем сданных продуктов, отошел и присел на стул, поставленный по соседству, пододвинув еще один, свободный, — для матери.

Сестра приняла передачи у всех пятерых, что были сейчас в боксе, потянулась, закрыла тетрадь, подошла к стеклянной двери в коридор и, убедившись, что там скопилась основательная очередь, покачала головой. Но напрасно: в дверь никто не лез.

Тогда она вынула из кармана специальный ключ, какими пользуются проводники в вагонах, заперла дверь в коридор, прошла вдоль бокса, открыла дверь на отделение и исчезла за ней. Щелкнул замок. Теперь посетители были отделены и от внешнего, и от внутреннего мира. Голос сестры за дверью монотонно выкликал: Анищенко, Поляхина, Вахлякова, Смирнова, Фельдман...

В боксе было тихо, только бумага шуршала — все, торопясь, выкладывали из сумок гостинцы — то, что можно скормить прямо сейчас, за считанные эти минуты. Были тут завернутые в шерстяной платок и газету кастрюльки с жареной картошкой и домашними котлетами, были испеченные этой ночью пироги, всевозможные баночки — с салатами, творогом,

сметаной, были миски, тарелки, термосы. Павел Иванович достал из портфеля два бутерброда с черной икрой и материн любимый яблочный пирог. Все это было куплено вчера в «Кулинарии».

... Горячие пироги с яблоками мать всегда привозила ему в послевоенный голодный пионерлагерь, в Сестрорецк, он ел, глотал, не жуя, а она смотрела. Те пироги она пекла сама, хотя вообще готовить не любила...

Потом он вынул термос, и тут щелкнул замок.

Они вошли гуськом в сопровождении сестры, все пятеро.

— Здравствуй, мама.

Мать стояла покорно и неподвижно. И, как всегда, молчала. Послушно села и принялась безразлично жевать бутерброд, запивая его какао, кружку Павел Иванович подносил вплотную к ее губам.

Дочь Поляхиной переодевала матери чулки. Анищенко плакала. Фельдман, наевшись и резко оттолкнув блюдечко с творогом, которое протягивала ей как две капли воды похожая на нее горбоносая старуха, вдруг громко и плаксиво закричала:

— Я не только агитатор!.. Я и п'опагандист! П'инеси мне т'етий том Ма-а-кса!

Вахлакова жадно и торопливо глотала салат, запихивая его в рот горстями. По подбородку ее текла сметана.

Сестра посматривала на часы — за стеклянной дверью уже волновались.

Татьяна Васильевна доела последний кусок пирога, встала из-за стола, и, как всегда, не взглянув на сына, шагнула прочь.

Свидание окончено.

...Назад идти легко. Легко, во-первых, потому, что дорога все время вниз, с холма. Во-вторых, ветер теперь в спину, в-третьих, с пустым портфелем.... В-четвертых, потому, что — вниз, в—пятых — ветер в спину, и потом — пустой портфель. Легко?..

Небо над деревьями было плотным, как вода, и таким же, как вода, зеленоватым.

...Зеленоватый свет падал с улицы в комнату тогда, сразу после войны. Через два дня после приезда мать достала где-то зеленые стекла. Вот повезло-то, Павлик, так дешево! Наверное, краденое.

Настоящие стекла вместо фанеры. Зеленые стекла, зеленый свет, у мамы зеленое лицо. Жарко, скарлатина. Не бойся, не отдам в больницу, не бойся! Смотри, какой свет, как на дне моря, правда? Смотри, мы с тобой живем на дне моря, как Русалка, помнишь? Ты — морской конек, а я медуза. Не плачь. Вот это настоящий клюквенный кисель, пей. Раз я обещала, так и будет, ничего не бойся...

Не отдала.

...Они жили вдвоем. На отца еще в сорок втором пришла «похоронка»: пришла в Ленинград, но они не знали почти до конца войны, потом соседка написала, когда кончилась оккупация, когда мать уже младшего сына потеряла и похоронила деда. ...Все говорили — это счастье, что дед умер до прихода наших.

Дед был врачом, оперировал всю жизнь в сельской больнице. Кстати, больницу оккупанты не тронули. Но — да! — лечил и их. Спорили по ночам с матерью, дед кричал:

— Для меня больной — прежде всего больной, а уже потом — свой или чужой.

— Они же наших убивают, пойми ты! — шептала мать.

— Вот и пускай наши их убьют. Потом! Застрелят в бою. А я не стрелок. Лекарь!

Вот теперь вспомнил Павел Иванович, куда они с матерью ехали по зимней дороге в розвальнях! Накануне деда вызвали в комендатуру, вернулся он поздно, злой, потерянный, и заявил матери, что фрицы, видимо, драпают, потому что своих раненых из больницы будут вывозить, и ему приказано в двадцать четыре часа собраться и сопровождать их до ближайшего госпиталя. Дед исчез в ту же ночь, а к концу следующего дня, уже в сумерках, в доме появился старик в тулупе. Павлик с матерью шли за ним дворами, и на краю села, у леса их ждала лошадь с санями.

Дед умер через неделю на хуторе. Там они прятались до прихода наших. Умер от воспаления легких. Мать потом, после войны, несколько раз вызывали, да как-то обошлось, а Павел уже много позже, поступая в институт, ежась, писал в анкете, что был на оккупированной территории; смотрели пристально, но ничего — приняли...

... Легко еще и потому, что дорога домой всегда короче. Это — в-шестых.

Всю дорогу в электричке Павел Иванович проспал.

Фонари не горели. По двору, шагах в десяти перед ним, медленно брела женская фигура. Женщина шла, как давеча шла его мать, — никуда, точно слепая, вытянув руки. Пошатываясь. Нащупав дверь, принялась шарить по ней, потом замерла и вдруг начала сползать вниз, на землю.

Когда Павел Иванович подбежал, она сидела перед дверью. Шуба распахнулась, меховая шапка съехала на лицо. Это была Вера Кашуба, соседка, профессорская дочь.

В те далекие времена, когда отношения были еще человеческими, Алла часто говорила, что с такими данными, как у Веры, можно было бы многого достичь, с ее возможностями любая нюшка будет смотреться, а Вера — не нюшка, порода есть порода, вот и в вас, Павлик, чувствуется порода, но только вы вырождаетесь. И за собой не следите. Не злитесь! В хороших руках вам бы цены не было... А эта... женщина... Мне даже неудобно сказать, вы — мужчина, ну... вы понимаете? Как это — «не слышал»? Сочиняете! Все знают, ее и муж за это бросил. С двумя детьми бросить — это силу воли надо иметь. Кашуба, конечно, переживает. Как-то спрашиваю: «Евдоким Никитич, что это вашей Верочки давно не видно?» Он — глаза в разные стороны: «В командировке», — а все знают, что она не работает, дома сидит после запоя. За-по-я. Нет, я этого не понимаю, зачем люди врут?

Павла Ивановича Алла в те времена еще уважала, он звал ее на «ты», а она говорила ему «Вы» и называла «старший товарищ».

Дом... Книги, портрет деда над пианино, серебряные ложки с монограммой... чай — всегда на крахмальной скатерти. Тетя Зина, Аллина мать, говорила: «Был бы ты, Павлик, помоложе, за тебя бы дочку с руками отдала, так и жили б одной семьей, и квартира бы тогда — отдельная считалась, не как сейчас». Врала: и так бы отдала, десять лет разницы — чепуха.

Мать сказала: «Ты меня убьешь, Павлик, знай. Нет, нет, не надо демагогии, ты прекрасно понимаешь: я не э т о имею в виду, мы тоже не Бог весть какие графья, но они — по сути плебеи, по существу. И не в образовании тут дело, не в происхождении, даже не в воспитании. Боже, сколько я встречала благороднейших, внутренне интеллигентных людей, бывало, что и совсем неграмотных...».

Зря мать горячилась: не так себе представлял Павел Иванович свою будущую жену и семейную жизнь...

А Аллочка, не торопясь, нашла положительного иногороднего Антохина. Свадьбу сыграли по всем правилам: Дворец, машина, бал в ресторане, — тетя Зина последнее вытряхнула. Потом молодого мужа прописали на жилплощади Филимоновых, а вскоре тетя Зина стремительно собралась и уехала погостить в деревню к сестре. И больше не вернулась. «Под старость тянет к истокам, правда, Валерик? Маме там, безусловно, лучше, просто ожила — и корову доит, и в поле работает. А тут сидела бы старухой-пенсионеркой, вот и досиделась бы, как некоторые... Там и молоко свое, и овощи свои, нет, не понимаю я людей, которые...».

Алла редко понимала глупых и ленивых, не говоря уж о расфуфыренных профессорских дочках, которые ведут себя хуже женщин легкого поведения.

Сейчас профессорская дочка, скрючившись, сидела на крыльце перед дверью. Бессмысленное бледное лицо ничем не отличалось от тех, на какие Павел Иванович сегодня уже не смотрелся. Пустые остановившиеся глаза. Плаксивая сползающая улыбка...

Он поднял ее и поставил на ноги. Потом открыл дверь. Всклипнув, она шагнула вперед, покачнулась, но сразу ухватилась за перила. И начала подниматься, нашаривая ногами ступеньки.

глава четвертая

УСПЕХИ В РАБОТЕ

Но ведь успех — понятие весьма и весьма относительное. Квартальный план лаборатория успешно выполнила на две недели раньше срока. И отчиталась. Сегодня было уже ясно, что по итогам соцсоревнования она займет классное место, если, конечно, до первого апреля не случится какое-нибудь «ЧП»: никто из сотрудников не попадет в вырезатель, не прогуляет без уважительной причины или, скажем, не возникнет пожар от небрежной сигареты. Но это все — «если», это все — «бы» и разные «а вдруг»; а пока что все тихо, безоговорочный претендент на вырезатель, слесарь Денисюк, слава Богу, на больничном, а лаборатория — на верной дороге к премиям и портретам на Доске почета. Так держать!

Научная работа по проблеме «Червец» шла вперед семимильными, как пишут, шагами. Программа исследований утверждена, и, к чести Евдокима Никитича Кашубы, надо отметить, что и после коренных переделок (по указанию Совета) она ничем не отличалась от той, что была составлена им первоначально (по вдохновению). Пришлось лишь исключить все виды исследований, которые требовали применения «разрушающих нагрузок» и высоких температур с агрессивными средами, ибо охрана окружающей среды и защита живой природы — наш святой долг, так что главное, дорогие коллеги, — длина, ширина, толщина и вес животного! Длина. Ширина. Толщина. И вес! Максим уже исписал три толстых журнала, и построенные по этим данным графики выглядели на Ученом Совете солидно и весьма убедительно.

При виде этих блистательных графиков даже профессор Лукницкий несколько скис и беспомощно задал всего один жалкий вопрос: «До каких пор, мои боевые друзья, вы намерены доить червяка, то есть, сами понимаете, проблему «Червец?» Ведь ясно, что главный вопрос, поставленный дорогим нашим Евдокимом Никитичем и его адептами, а именно: увеличивается ли вес животных сразу после приема ими пищи, —

человеком как будто бы уже решен положительно и не оставляет поводов для сомнений. Как, скажем, наполняется ли ведро, когда туда льют воду”.

На этот выпад решительно ответил научный руководитель проблемы. Кашуба Е.Н. довел до сведения уважаемых членов Совета, что в науке не существует широкой столбовой дороги, и на один вопрос, обращаю внимание невежд, нельзя ответить однозначно и без проверки. Как показал опыт, то, что в одном случае — то, в другом совсем наоборот — это, в силу чего считаю необходимым напомнить трюизм о вращении Земли, псевдоученом Птолемея и его противнике Галилее. А утверждение, что Земля — плоская? Это ли не казалось очевидным? Это ли? В данном бесспорном факте некие «ученые», как две капли воды похожие на... некоторых наших коллег, тоже не сомневались! Шли годы. Шли века...

... Но вот пришел профессор Кашуба и подтвердил, что Земля круглая. А на этой круглой, на глупой, пучеглазой Земле торчит гора, как помойная куча, торчит аж до самого неба, откуда таращится одуревшее от болтовни, распаренное, толстомордое солнце. Ворон, приосанясь от тепла и чувства собственного достоинства, совершает над горой круги почета. И все новые, новые комья валяются с ясного небосклона, чтобы гора росла и укреплялась день ото дня. День ото дня! И на некоторых комьях, — да что там! — на многих комьях его, Максима Лихтенштейна, личное клеймо. Его персональный вклад. Работа с первого предъявления. Знак качества...

— И это еще далеко не все, товарищи, это только начало! У нас есть перспективный план на двадцать пять лет вперед, и, надеюсь, за это время мы сумеем ответить и на более сложные вопросы...

...К примеру, умеет ли данное существо летать, и если да, то с какой космической скоростью. Повеситься, что ли?.. Каркнул ворон: «Не верю в морг...».

— Наш перспективный план охватывает, товарищи, например...

Тут в четвертом ряду тревожно заскрипел один из незанятых стульев, и Евдоким Никитич, поперхнувшись, но не теряя достоинства, пояснил, что примеров приводить как раз и не будет, поскольку, как мы знаем, перспективный план оглашению не подлежит из-за его особой важности. Сейчас этот план в министерстве и будет рассмотрен на ближайшей коллегии...

...Нас толкнули — мы упали... А что, в самом деле, не пойти ли навсегда в дворники? Стать профессионалом в этом полезном, необходимом деле? И, главное, дело-то чистое, никаких гор. Окурки, бумажки да собачье дерьмо, только и всего. Летом — поливка асфальта, зимой — уборка снега. Можно устроиться при своем собственном доме, то-то радость соседям: молодой ученый — дворник. Еврей. Не иначе, проворовался... Но с кандидатским дипломом могут не оформить! Ничего, есть еще почта. Разносчик телеграмм. «Кто стучится под окном с длинным черным бородом?» А что? Тоже красиво. Только платят мало. Зато опять же — никакого отношения к горе. Но ведь, ребята, я же, гад, тщеславен, вот в чем беда!... Нас подняли — мы пошли...

Максим увидел, что зал тянет руки, — за что-то голосовали. Над пустым местом в четвертом ряду висела в воздухе одинокая бледная ладонь со следами лиловой пасты от шариковой ручки. Плечо, рукав пиджака и все остальное отсутствовало. Указательный палец хозяйски указывал на Лихтенштейна. Тот поднял руку. Мог бы и не поднимать, поскольку не являлся членом совета.

После Совета лаборатории Кашубы дали дополнительные лаборантские единицы, слесарь — радость-то! — все еще болел, и по свидетельству соседки, которая приходила за его зарплатой, из дому носу не показывал, а выпивал в самую меру, только для здоровья. Далее: дирекция выделила для лаборатории отдельное дополнительное помещение, отобрав его у Лукницкого. Теперь там был оборудован виварий, где червяк мог спокойно ползать, есть, пить и спать, а то, между нами, от хранения в сейфе он уже начал как-то усыхать, и целыми днями лежал, свернувшись в аккуратный брандсбойтный ру-

лон. Профессор Кашуба лично распорядился включать в рацион животного витамин «Декамевит» для лиц среднего и пожилого возраста.

А институт, между тем, плодотворно работал. И сейчас начинал готовиться к своему пятнадцатилетию. Он был спешно создан в начале шестидесятых на гребне волны «Химия — в жизнь!», и за первое пятилетие его существования сменилось бесчисленное количество директоров, а также и других руководителей на разных уровнях. Однако, утесом базальтовым, камнем краеугольным со дня основания стоял профессор Кашуба, сбивший вокруг себя боевую команду сотрудников, объединенных побуждениями от: «Заработать и принести пользу можно и тут» — до: «Вы притворяетесь, что платите нам, а мы делаем вид, что работаем». Лихтенштейн принадлежал к первой категории, и кандидатская его не была, как это часто случается, «липовой», зато «Червец» — это уже было падение, полный позор, и Максим прекрасно это понимал.

Итак, время шло, руководители института изредка уходили на пенсию, чаще — на повышение, так и не сумев осуществить заветную мечту министерства: вывести отраслевую науку на передовые рубежи отечественной химизации. А нужно-то было всего ничего: быстрее всех, эффективнее всех добиться небывалых, неслыханных, оглушительно-ослепительных успехов по замене всех без исключения дорогостоящих, ржавеющих, магнитных и вредных металлов дешевыми, прочными, нержавеюще-немагнитными, а также легкими и сугубо полезными для здоровья пластмассами. Такими, чтобы больше — ни у кого!

Работа кипела и пузырилась: летели вверх оптимистические прогнозы и посулы с прицелом на тридцать лет вперед, составлялись грандиозные программы потрясающих исследований, — гора росла день ото дня.

Не выдерживающие темпы директора, обессилив, все чаще сходили с дистанции, и уже начался легкий административный кризис, но тут как раз подоспела вторая волна по имени «экономика должна быть экономной». Во главе института министерство немедленно поставило своего человека с экономическим образованием.

И настала новая жизнь. Ну, не то чтобы совсем... Посулы, рапорты и программы космического масштаба продолжали плодиться, чему очень способствовал дальнейший прицел: через тридцать лет многие из тех, кто их составлял и утверждал в институте, равно как и те, что принимали их в министерстве, рассчитывали оказаться на заслуженном отдыхе... Главной же заботой нового директора стало то, к чему более всего лежала его душа: планово-экономический отдел, бухгалтерия, отдел труда и зарплаты.

И все же кое у кого в институте нет-нет да и мелькала нехорошая мысль: а вдруг да не получится дожить запланированные тридцать лет в привычном, налаженном благоденствии, вдруг да грянет с чистого неба Судный день... С каждым днем становилось яснее, что заменить все металлы пластмассами, скорее всего, не удастся, да и... не нужно это никому. Вон и крысы, помещенные в комфортабельный, со всеми удобствами контейнер из стеклопластика, про который сам профессор Кашуба ответственно заявил, что этот материал можно есть, пить и использовать для повышения гемоглобина в крови, — так проклятые эти крысы целых два месяца жили и веселились в целебном контейнере, но как только в министерство был направлен соответствующий отчет, вдруг принялись лысеть, а потом передохли одна за другой. Выжил только самый крупный крысак Зямка — его при первых же признаках облысения выкрала из вивария и унесла домой лаборантка Люся.

Объективное, научно обоснованное объяснение того, почему факт гибели подопытных животных следует рассматривать как очередную победу науки, поручено было подготовить старейшему работнику института профессору Лукницкому.

Но склочный старик устроил, как водится, свару: он, видите ли, всегда подозревал, что этот стеклопластик хуже мухомора, а вы туда — животных, душегубы! Само собой, Лукницкий был тотчас приглашен для беседы к товарищу Пузыреву, и речь шла, по-видимому, о предпенсионном состоянии строптивного профессора, потому что тот притих, над объяснением обещал поработать и обратился к лаборантке Лю-

се — с просьбой представить для медицинского обследования уцелевшего Зямку. Но Люся зверя не выдала: «Сбежал!» — нагло заявила она, улыбаясь перломутровыми губами.

В общем, атмосфера в институте мало-помалу делалась нервной. В такой обстановке вставал вопрос о существовании нескольких лабораторий, в том числе и лаборатории Кашубы. И были бы хоть какие-то новые долгоиграющие идеи, чтобы заинтересовать и отвлечь министерство, указав ему путь к новым безразмерным свершениям! Так нет же! В головах давно уже ничего не рождалось, кроме, конечно, прозорливых догадок — что именно надо купить (чтобы потом продать), если едешь во Францию, а что — если в Чехословакию... И вдруг — гигантский, замечательный червяк, найденный Лихтеншейном! Да его же, по мнению Кашубы, в прямом смысле послало институту само небо! Ведь лет на десять хватит. А там...

...Но мы увлеклись, во всем нужна мера. У читателя может сложиться впечатление, будто ослепленные высокими окладами и прочими льготами сотрудники института совсем уж не видели и не понимали, что в их учреждении что-то и как-то... не так. Без конца валять дурака, притворяясь, что занят делом, — это ведь тоже не великая радость. И кое-кому надоело. Многие были недовольны и активно обсуждали происходящее, сетуя на бездарность начальства. И пригорюнивались. И кручинились. И некоторые даже (в кулуарах) вполголоса грозились, «если эта забастовка не прекратится», уйти в другое место. И знали, что не уйдут. И в разных падежах склоняли, как ни странно, в основном, не директора, а его заместителя В.П. Пузырева. И сочиняли анекдоты, где директор неизменно выглядел слабоумным, а Пузырев — злым дураком, Мидасом-наоборот, превращающим все, до чего дотрагивается, в... сами знаете — во что!

Но почему именно Пузырев? А потому, что он бесценно занимал свой пост со дня основания института и один из всех, кажется, всегда знал, что ему персонально надо делать. И делал. А директор? Директор, намертво увязший в своей экономике, только и сумел за последние годы, что закупить через Минвнешторг массу таинственного оборудования, бережно хранимого на складе в полиэтиленовой упаковке. Использо-

вать для работы или даже хотя бы расчехлить это оборудование, чтобы разобраться в его назначении, не представлялось возможным - допуск сотрудников к заморским агрегатам, равно как и к сопровождающей их технической документации, был строго-настрого запрещен тов. Пузыревым, обосновавшим свой запрет коротким: «Расташат».

Только одно-единственное заграничное приобретение директору удалось внедрить в производство. Это была громадная и баснословно дорогая электронно-вычислительная машина. Вероятно, она предназначалась для каких-нибудь сугубо научных надобностей, однако, директор нашел ей другое применение: заполнив два просторных зала, откуда в срочном порядке выселили в подвал лабораторию физико-механических испытаний, японская машина занималась тем, что трудолюбиво рассчитывала зарплату сотрудников. При этом имела обыкновение безо всяких видимых причин выключаться. Приглашать отечественных мастеров для ремонта «иностранки» директор не решался, не надеясь на их компетентность, тем более что, проболтавшись без дела дня два, машина вдруг включалась и яростно бралась за свои прямые обязанности, Понимала она их посвоему, то есть по-женски, — необъективно. Было в институте несколько сотрудников, зарплата которым начислялась не в полном соответствии с окладом и количеством отработанного времени, а как того желала капризная японка. Невесть за что она с первого же дня люто возненавидела и без того низкооплачиваемую лаборантку Люсю и регулярно норовила недодать ей 17 руб. 8 коп. в месяц. Каждый раз, получив перед получкой расчетный листок, Люся, зарыдав, бросалась к главному бухгалтеру. Тот встречал ее вялым: «Что? Опять? Ну, не знаю, не знаю... Надо как-то уметь налаживать отношения...».

Однажды в разгар со смаком ведущегося разговора о бардаке в институте Максим вдруг заявил, что может сформулировать основные законы, по которым живет, работает и развивается их учреждение. И таких три.

— Вроде законов Паркинсона, — сказал сообразительный Гаврилов.

— Вроде, — согласился Максим. — Назавем их законами Пузырева.

— Почему — Пузырева? — спросил Лыков.

— Потому.

— А-а, — сказали слушатели, подмигнув друг другу.

— Итак, первый закон: в любом деле из всех возможных вариантов выбирается наилучший.

— Это как? — хором воскликнули Лыков с Гавриловым.

— Ну, скажем... Можно мост построить поперек, а можно вдоль реки. Строим?..

— Вдоль! — обрадовался Гаврилов.

— Точно. Или вот: можно поставить в план тему реальную, а можно — залепуху. Да такую дремучую, безнадежную, тоскливую. Ну, естественно, выбираем ее. Ясен первый закон? Так, поехали дальше. Закон второй: для успешной, безусловной и досрочной реализации первого закона выдвигаем соответствующих людей. Или, другими словами, из всех возможных исполнителей выбираются... Кто? Правильно. Ведь истории известны случаи, когда в недрах вроде бы полностью гиблого дела начинали брезжить новые идеи, возникали неожиданные повороты. Так вот: чтобы этого, не дай Бог, не случилось, нужно подобрать подходящих людей. И наш Пузырев начинает бережно и любовно их подбирать. И уж, не сомневайтесь, подберет! Присмотрит на работу такого дебила, что смотреть жутко. И любовно скажет: «Хороший парнишка, хороший». А у парнишки рот всегда нараспашку и слюна вожжей. А другому, вдруг почуяв неладное, в приеме категорически откажет: «Не смотрится. Как это — «почему»? А... сами знаете». И вот в результате действия первых двух законов возникает, как следствие, третий главный...

— Ну!!

— Он звучит так: полностью заваленное дело должно быть кое-как исправлено героическими усилиями коллектива. Подвигами. Вот она, наша работа! Самоотверженная — без отпусков и выходных. В нее будут вовлечены все. И мы с вами, дорогие мои друзья-критиканы. Мы тоже! И это даст нам повод для законной гордости собственным трудом!

— Что-то не видел я никакой бурной деятельности, — засомневался Лыков.

— И напрасно, друг мой. Впрочем, вращаясь вместе с землей, вращения не увидишь. А между прочим, оно есть. Активная, я бы сказал, судорожная деятельность по срочной ликвидации разрушений, заделыванию дыр, затыканию собственными телами пробоин, образовавшихся в результате научных подвигов «хороших парнишек»... да и нас самих. Вот ради этого, последнего, закона — оба первых, заметьте себе. Чтобы жить с чувством глубокого удовлетворения... Вообще-то мы все тут порядочное дерьмо, — неожиданно закончил Максим.

— Ну уж это... — обиделся Лыков, — Мы-то при чем?

— Нас толкнули? — любезно спросил Лихтенштейн.

— Да иди ты... Я лично все же что-то делаю, — поддержал Лыкова Гаврилов. — Хотя, вообще-то... Только что с твоей правоты пользы? Ну, сидим тут, ну, ворчим...

— Я и говорю: дерьмо мы все, — усмехнулся Лихтенштейн. — Персонально я — наипервейшее. Все понимаю, вижу, а... пользуюсь? В инстанции не ломлюсь, на собраниях сплю. Шкура. Шкура и есть! Был бы человек, взял бы да уволился. Только куда? Как подумаешь: новую работу искать, да еще возьмут ли... А плевать против ветра? Боязно... Одна надежда — всегда так не будет. Не может быть. Развалится наша контора.

— Ага. Это когда мы все на пенсию выйдем, — уныло произнес Гаврилов.

— И ведь что смешно... — продолжал Максим, — наши-то красавцы, ну, директор, Кашуба, — они ведь это все не нарочно, а на подсознательном уровне. Это у них инстинкт самосохранения: чем хуже, тем лучше.

Да, институт плодотворно работал. К деятельности по проблеме «Червец» подключались новые лаборатории и отделы. Отдел технической информации выпустил два громадных тома — обзор сведений обо всех видах червяков. Отдел нестандартного оборудования трудился над чертежами стенда для автоматической укладки «образца» на поддон и механизированного проведения замеров. Изготовление этого стенда было уже включено в план мастерских на первый квартал будущего года, и сейчас там лихорадочно готовились: составляли заявки на необходимые материалы, чтобы в назначенный срок сдать

их в отдел снабжения. Лаборатория техники безопасности разработала инструкцию по эксплуатации червяков ленточных крупногабаритных и запланировала в будущем выпустить на ее основе большой справочник, согласованный с Министерством здравоохранения и ВЦСПС.

Такие вспомогательные службы, как канцелярия, машинописное бюро, а также экспедиция, были перегружены бумагами: благодаря проблеме «Червец» переписка, ведущаяся институтом, увеличилась вглубь и вширь.

Институт наводнили представители организаций, воображающих себя компетентными в вопросах пресмыкающегося животноводства. Все эти биологи, зоологи, генетики как-то ухитрились пронюхать о червяке, и теперь всеми правдами и неправдами пытались примазаться к Проблеме. Поскольку настырные эти учреждения и лица, как правило, принадлежали чужим министерствам и ведомствам, никто с ними ни в какие отношения не вступал и вступать не собирался, сами же они, к счастью, не располагали сведениями, достаточными для того, чтобы куда-нибудь жаловаться или на чем-то настаивать, но это еще не все. Почти ежедневно к директору института являлся какой-нибудь очкарик и, отвлекая того от работы, совал письмо на бланке, бормоча насчет научно-технической помощи, так как его учреждение занимается как раз ленточными паразитами, и ваши данные могли бы послужить... Какие данные?! Да ваши тривиальные паразиты не имеют ни-ка-ко-го отношения к проблемам, которые решаются в нашей особе...понимаете? Особо...м-м... специальной организации. С чего вы вообще-то взяли? Покажите-ка разрешение нашего министерства. Нету? Ах, так... Тогда не понимаю, как вы прошли через проходную. Минуточку...Алло! Начальник охраны? Зайдите ко мне... Да. Так что у вас, молодой человек?... Ах, вот оно как, вы — по другому вопросу, в конструкторский отдел, а это так, попутно... Понятно. Нет, товарищ, у нас по-пут-но ничего не делается, это не ваш м-м... червивый институт, а у нас — в каждый отдел — свой специальный пропуск. Ясно вам?! Так что... а-а, вот и начальник охраны, он вас сейчас проводит к выходу лично, а сам вернется ко мне... А вы, моло-

дой человек, идите и занимайтесь с в о и м делом, и в следующий раз — смотрите... Вот-вот... это и передайте своему начальству, руководству или кто там вас послал.

Но посетители все равно лезли, как поганки в дождь, и это могло значить только одно: кто-то болтает.

Товарищ Пузырев еженедельно проводил инструктаж всех сотрудников, имеющих отношение к проблеме, для лаборатории же Кашубы лично составил специальные «Правила приемки и сдачи помещений». Согласно этим правилам каждый, уходя домой, должен был собственноручно расписываться в журнале, удостоверяя, что он: а) убыл, б) никаких служебных документов с собой не унес, в) ничего не оставил на рабочем месте, г) все, что надо, сдал вместе с ключами от своего письменного стола, который д) запер.

Утром, явившись на работу, надлежало перво-наперво расписаться, что явился, взял ключи, получил документы, отпер стол и так далее и тому подобное, — нас толкнули, — мы, естественно, упали...

Около железной двери в виварий, войти в который можно было только нажав кнопки секретного замка (шифр менялся два раза в сутки), день и ночь сидел за столиком ответственный дежурный, который тоже давал свой автограф по всякому поводу.

Итак, жизнь шла, как ей положено. И, как положено всякому большому делу, проблема «Червец», непрерывно разрастаясь, захватывала все новые позиции, рубежи и плацдармы. Кто-то уже куда-то рапортовал от имени района, а потом и города. А позже — от Северо-Западного региона. В какие-то планы, на этот раз уже союзно-республиканского уровня, включалась эта сверхважная работа под кодовым названием, смысл которого никто не отваживался расшифровывать. Полугодовой объем научно-исследовательских работ по Проблеме планировали выполнить на тридцать два дня раньше срока, что дает возможность...

А люди ждали выходных, зарабатывали отгулы к отпуску, бегали по магазинам во время обеденного перерыва, боролись по общественной линии за усиление, укрепление и обеспече-

ние трудовой дисциплины, шепотом обсуждали последние новости, переданные накануне по «Би-би-си», горячо переживали свои успехи и чужие неприятности, наблюдали, в частности, припав к окнам, как дочь профессора Кашубы однажды целых пятнадцать минут провалялась на тротуаре перед институтом, пока Алла Антохина на правах принципиального человека не позвонила Евдокиму Никитичу и не сказала со всей прямоотой, что Верочка, по-видимому, в нетрезвом состоянии лежит в двух шагах от проходной, а это не совсем удобно. И вообще!

Евдоким Никитич буркнул «благодарю вас», и через три минуты все наблюдали, как завлаб без пальто и с голой лысиной, венчающей башенный череп, пытается поднять с земли свое дитя. И, представьте, поднял. И отряхнул, и поволок домой. Просто сдохнуть можно: считается, что — культурные люди, профессора, пятьсот рублей оклад...

А назавтра ходил по институту с таким видом, будто ничего не было. Встретил в коридоре Аллу, кивнул с царственным видом и проследовал мимо. Ни «спасибо», ничего. «Интеллигенция!»

— Представляешь, — сказала Алла Максиму, угрюмо сидящему за дежурным столом возле вивария, — вот так и все люди: им делаешь добро, а они тебе за это — козью рожу. Ах, прости, совсем забыла — ты же Верочкин поклонник...

Не отвечает. Будто не слышит.

— Макс, ты что, обиделся? Я же пошутила. Макс!

Лихтенштейн поднял голову.

— Я не обиделся, — четко сказал он, — уйди, пожалуйста

Алла хотела сказать, что это хамство, она, конечно, уйдет, а он пусть потом просит извинения, она все равно... но ничего этого не сказала, ни одного слова, потому что вдруг почувствовала, что сейчас разревется. Она повернулась и медленно пошла прочь, опустив плечи, секунду назад так кокетливо и элегантно обтянутые югославским свитером. Никогда еще она не видела у Макса такого лица.

Алле было совершенно ясно, что Максим прогнал ее из-за Валерки, точнее, из-за вчерашнего разговора в буфете. Началось все с Лукницкого: прошел слух, будто его сын, женатый вроде бы на еврейке, собирается уезжать. Не то в Америку, не то в Аргентину, значения не имеет — Лукницкого и так, и так попрут с работы.

— Жаль, — задумчиво сказал Максим, хотя ничего, кроме вреда, он лично от старикашки не видел.

— Мне, представь, по-человечески тоже жалко, — отозвался Валерий. — Но, к сожалению, в данном конкретном случае администрация не имеет другого выхода.

— Это почему же?

— А то, что родственники за границей.

— Ага. И он им будет продавать за доллары секретные сведения про нашего червяка. Поштучно. Со скидкой. Вот тут бы Валерке и отвязаться, — Макс был явно не в духе, но Алла хорошо знала мужа: стоит возникнуть спору, ни за что не отступится, пока не докажет свое. Последнее слово всегда должно быть за ним.

— Кончайте, — все-таки сказала Алла и дернула Валерия за руку, но он не двинулся.

— Продавать он им, может, ничего не будет, но через пару лет и сам пожелает уехать. К родне.

— Вот интересно, — вдруг спросил Максим, пристально глядя Валерию в глаза, — вот ты, как ты, лично, относишься к этим отъездам?

— Я? — на лице Валерия проступило холодное, упрямое выражение. — Лично я, — сказал он, отчетливо выговаривая каждое слово. — Отношусь. К отъездам. Очень. Положительно. Я их горячо приветствую. Воздух чище!

Не дожидаясь ответа, Валерий зашагал к дверям. Он шел большими шагами, высоко подняв голову. Маленький, коренастый, всей своей фигурой, даже спиной, выражая непреклонную принципиальность. Бросив на Максима испуганный взгляд. Алла выбежала в коридор за мужем.

— Ты... ты что? — прошипела она, оглядываясь на дверь буфета. — Ты что — уже совсем?..

— В чем дело?— спросил он сквозь сжатые зубы.— Я кого-нибудь опять оскорбил?

— А ты как думаешь? Нет, мне это нравится... «Оскорбил!»! Что значит «воздух чище»?

— То и значит, родная моя. Значит то, что, если они все отсюда выкатятся, для России будет только польза. Как-нибудь без них, сами ... Скатертью дорога, и чем скорее, тем лучше. Надоело! Без конца охи да вздохи: туда их не пускают, там «за-ти-ра-ют». Как же, попробуй, пусти, в России места приличного ни для кого не останется!

— Опомнись! Сколько в Советском Союзе евреев и сколько мест?

— А вот наши и будут ишачить, а те — руководить! Да что «будут», ты сейчас вокруг погляди, открой глаза — кто пенки снимает? В искусстве?! В литературе?! Про науку я уж молчу! Для дураков они распустили миф, будто они, дескать, такие одаренные, прямо гений на гении. А я на это дело иначе смотрю, — Валерий резко остановился. — Вот представь себе: живут два мальчика — Лева Певзнер и Ваня Сидоров. Лева Певзнер проживает в Ленинграде, в семье зубного врача-техника, мамочка с пяти лет таскает его к учительнице музыки, а потом отдает в музыкальную школу при консерватории. Очень удобно — до консерватории пять минут ходьбы, даже улицу переходить не надо, а Левочка — такой способный ребенок, он даже пукает — на ноту «до»... А Ваня Сидоров — в Сибирь, в деревне за сто километров от железной дороги, и у него абсолютный слух, только ему этого никто не сказал, хотя в то время, пока Лева долбит гаммы, Ваня тоже... тренькает на балалайке. Лева папа-доктор за успехи купил велосипед, а Ваню батя выдрал, чтобы дурью не маялся. И балалайку сломал. Через десять лет Лева получит премию на конкурсе, и все скажут: «Ах, какой одаренный мальчик!» А Ваня начнет пить горькую...

— Бедный Ваня! В город ему, страдальцу, не попасть.

— А ты не иронизируй. Что за вздорная привычка — все оспаривать? Да, не пускают, представь себе. Паспорта председатель колхоза ему не дает. Слышала про такое?.. Ну, сейчас, допустим, даже дает, ладно. И жить устроился, тетка у него в

городе. И даже учиться музыке захотел — так куда ему, переростку! Все места давно заняты: за роялями чистенькие мальчишки — Лева и Боря. И Зяма! «При всем желании — не можем вас принять, товарищ Сидоров. Да и руки у вас ... того, в мозолях». Нет, я не против, пусть и Лева, и Боря проявляют свои дарования. И Зяма тоже. Только все же лучше бы вам, друзья, с вашими талантами отправиться т у д а , к себе домой! А Россию оставить Ване и Пете. Россия — ничего, не пропадет!

— Между прочим, Левина родина — тоже здесь.

— Демагогия. Как волка ни корми... И вообще, что это ты так взъелась? Обиделась за Леву? Не волнуйся, о Левае есть кому позаботиться. Один за всех, все за одного. А вот тебе-то какое дело до них?

— Потому что противно! Некоторые евреи, хочешь знать, получше некоторых русских. А Макс у ты просто завидуешь...

— Чего?! Не смейся! Чему там завидовать? Спеси? Нет, ты лучше объясни, почему так за него заступаешься? Молчишь? Ладно, сам объясню: как же - высокий, нос — полметра. Сексуальный гигант! Что смотришь? Беги, валяйся в ногах, проси прощения, может, и осчастливит...

— Ну, ты и мразь... — тихо и как бы даже с удовлетворением сказала Алла. — Высказался... — Тут она резко повернулась на каблуках и пошла прочь, оставив Валерия одного посреди коридора.

Вот чем кончился вчерашний диспут в буфете. Алла с мужем в тот вечер не разговаривала, а он мириться первым тоже не хотел: с какой стати? Ничего обидного ей не сказали. Сама накинулась как бешеная. Ну, конечно, вывела из равновесия, а теперь ходит с оскорбленным видом. «Угнетенная невинность, или поросенок в мешке» — это отец так говорил матери в аналогичных случаях. Ничего, переживет.

Ни Алла, ни ее муж не знали, что весь их разговор Лихтенштейн слышал. Почти слово в слово. Выйдя из буфета, он столкнулся с Гавриловым, который задержал его, рассказывая анекдот. Гаврилов говорил шепотом, Валерий же почти кричал. Так вот оно и вышло...

В ИНТЕРЕСАХ РАЗРЯДКИ

Тем не менее выражение лица Лихтенштейна, так напугавшее Аллу, его обидное «уйди, пожалуйста» — все это не имело ни малейшего отношения ни к ней, ни к ее мужу. Цену таким, как Валерий Антохин, Максим давно знал, а сейчас было вообще не до Антохиных — в голове до сих пор на полную мощь транслировалось то, что час назад сообщил директор ему и Евдокиму Никитичу (конечно, в присутствии Василия Петровича Пузырева, нечетко обозначившегося в начале разговора посреди кабинета).

А сказал директор следующее:

— Положение, товарищи, серьезное. Мне только что звонили из ... м-м... и сообщили, что американцы изобрели новое универсальное средство против... м-м... гриппа. Это сенсация! Событие, безусловно, мирового значения, что и говорить. И есть решение: противопоставить. А может, и обменять. Но противопоставить необходимо. Так сказать, в интересах разрядки. Там, Наверху, рассматривались разные работы, достойные конкурировать. И вот: был звонок. Нам с вами оказана огромная честь. И доверие. Принято решение выйти с проблемой «Червец»...

— Тема закрытая, — деликатно напомнил Пузырев, на глазах обретая четкость очертаний и наливаясь красками, — широкие публикации, тем более, выход на границу...

— Минуточку, — твердо перебил его директор, — если Там решили, то какие могут быть разговоры! Наше дело выполнять. Так вот, — директор повысил голос, — в апреле состоится расширенное заседание коллегии для отбора предложений. Должен быть представлен наш образец, мне придется выступить с полнорным докладом. Сами понимаете, товарищи, все должно быть о'кей. Вас, Евдоким Никитич, попрошу в течение недели подготовить тезисы. Это первое. Второе — демонстрационный материал: таблицы, графики, диаграммы. Возьмите художника, чтобы смотрелось. Третье и главное: сам экспонат. Он должен иметь товарный вид. Я сегодня ходил, смотрел — плохо,

товарищи! Лежит, как тряпка, цвет какой-то, извините... защитный. Не смотрится. Подумайте, дайте предложения. Я вот... может, сшить чехол?

— Окрасить, — предложил Василий Петрович, — в шаровый цвет. Или суриком.

— Сдохнет, — предупредил Лихтенштейн.

— Этот вопрос решите в рабочем порядке, время пока есть. Но! Но его не так много, в обрез, а потому необходимо мобилизоваться и приступить к делу немедленно. Ничего не упустите: тара, транспорт. Если потребуется — вывести людей в вечернюю смену, в ночь. Заплатим живыми деньгами. Вы, конечно, отдадите себе отчет в том, что произойдет, если мы не справимся?.. Вы что-то хотели сказать, Евдоким Никитич?

— Мы, — начал Кашуба, раздуваясь, — мы все понимаем, что стоим сейчас на самом переднем крае отечественной науки. На рубеже! От нас и только от нас зависит ее престиж на мировой арене. От нас и только от нас .

Изображение Василия Петровича вдруг начало потрескивать, фосфоресцировать и заметно увеличиваться в размерах. Кашуба растерянно смолк, а директор недовольно спросил Пузырева:

— В чем дело? Вам плохо?

— Прошу прощения — нервы, — ответил тот, и затрепав, принял свой обычный облик.

Этот разговор состоялся час назад. А двадцать минут спустя, вернувшись на пост у вивария, где он должен был сегодня дежурить вместо Лыкова («Понимаешь, старик, вот так! надо смотреть в одно место!»), — Максим, нажав шифрованные кнопки, отомкнул дверь в аппартаменты червяка и обнаружил, что на малиновой ковровой дорожке, где обычно отдыхала рептилия, в безмятежной позе покоится спящий слесарь Денисюк, про которого всем известно — он дома, отбывает срок ьольничного. Но вот он лежит на полу в виварии, где, кроме него, нет ни единой живой души. Совершенно секретный червяк мирового значения, гордость и надежда отечественной науки, бесследно исчез.

Поначалу Максим, конечно же, испугался. Пропажа червяка предвещала феерический скандал, особенно в виду коллегии, где «Червец» должен был продемонстрировать все, что положено. Максим понимал: в предстоящем скандале он, разумеется, станет главной фигурой, виновником и зачинщиком. Вмажут, разумеется, и Лыкову, поскольку дежурным-то был он, но рядовой безлошадный дежурный — это вам не главный исполнитель Лихтенштейн, который обязан бдить и отвечать, вот ему, заправиле, и не спустят...

Однако постепенно сквозь холодный туман испуга все четче проступало облегчение. Точно сидел человек, скрючившись, в тесной пещере и собирался так сидеть без срока, но вдруг получил возможность выйти вон, распрямиться, поднять, наконец, голову. И так от этого сделалось легко, что первые мгновения и дела нет, что будет с ней дальше, с головой, и плевать, что из кустов прет облава с берданками наперевес, и вот уже... Но сейчас, сейчас-то — свободен! И можно дышать во всю грудь, и расправить наконец затекшие, немые руки... А ведь еще совсем недавно Максим Ильич тоскливо прикидывал и так и эдак, искал способы выдраться из постылой безнадеги с червяком. Но вот ситуация разрешилась сама собой: нету червяка, и всем привет! Получалось, он, Лихтенштейн, опасался добровольно влезть в холодную воду, а тут как раз наводнение... Имеется полный шанс, не прилагая усилий, вылететь с работы за служебное упущение. Со скандалом, со всем, что положено, но... И слава Богу! А? Не иначе — судьба. Значит, надо сейчас спокойно, это главное, с п о к о й н о принять и выдержать что причитается. Отмолчаться и уйти. Начать новую жизнь. Какую? Да уж не такую, как была, в виде безмятежного движения по течению. Вниз. Тихо, дремотно. Отдельные пакости, вроде выступлений Валерочки Антохина, — не в счет... а между прочим, стоило бы, выслушав вчера его пакости, вернуться и надавать по роже! Но эти проблемы потом, потом... Сейчас — новая жизнь, все с нуля, без липы, без Кашубы, где-нибудь в тихом, непрестижном месте... А найдешь ли его, это место? С испорченной трудовой книжкой, с жуткой характеристикой, с пятым пунктом. Ничего, как-нибудь! И тогда исчезнет ставшая почти привычной тошнота от...

от себя самого. И ворон этот чертов перестанет каркать, хохотать, изгиляться на своей вонючей горе! Нет, это в самом деле удача. Удача!..

Вот к какому выводу пришел Максим Ильич Лихтенштейн, обдумав все, что вытекало из пропажи червяка. Интересно: почему-то он знал, на сто процентов был уверен — червяк пропал безвозвратно, никакие поиски ни к чему не приведут. А он, Максим, пожалуй... готов. Готов пройти через все, что предстоит. Радости мало, но... Заслужил. Заслужил и заплатит.

И неприятности грянули.

глава пятая

СКАНДАЛ

Сначала был короткий разговор с Кашубой: так и так, животное исчезло, где искать — неясно, что будем делать? А полчаса спустя уже объяснение с директором: что же это вы, Лихтенштейн, с нами-то сделали? С институтом? С коллективом? Да вы... Да вы... Да мы!... Кто сегодня дежурил? Лыков?.. Что значит — «не имеет значения?» Мне Евдоким Никитич доложил — дежурным был Лыков, а вы... Короче — ищите. Даю два дня, иначе... И Лыкову передайте, с него спросим. И еще как! Не найдете — пеняйте на себя.

Искать червяка Максим не стал. Знал, что не найдет, да и где было искать? Слесарь Денисюк, которого к концу рабочего дня с трудом удалось разбудить, только обалдело таращился и мотал головой. Вместо ответов на вопросы, мыча, предъявил бюллетень с не вполне ясным диагнозом, но, когда Лихтенштейн взял его за плечи и, хорошенько тряхнув, спросил, где червяк, вполне ясно произнес:

— А хрен же его знает? Мне откуда, на хрен, знать?

И Максим (в который уже раз!) отчетливо понял: все эти поиски — пустое дело.

За пять минут до конца работы появился Лыков. Узнав о случившемся, впал в истерику, громко клял себя за то, что покинул пост, давая понять, что, не доверься он Максиму, ничего бы не произошло.

Однако, главное началось на следующий день, когда Лихтенштейна пригласили к заместителю директора Пузыреву. В кабинете было двое. Один, Пузырев — за столом, повседневный, в сером костюме, другой же стоял у окна. Был он в хромо-вых сапогах и френче и обладал острым ироническим прищуром. И непрерывно курил.

Беседу вел обычный Василий Петрович, а дубликат у окна в основном усмехался и пускал дым. Разговор вышел значительный.

— Поскольку непричастность Лыкова нами установлена, есть алиби, будьте добры сказать, кому и при каких обстоятельствах лично вами был передан образец?

— Сэкрэтный абразец, — вполголоса напомнил Пузырев с папиросой.

— Никому. Господи, ну кому я мог его передать?!

— Тогда где он? — спросил Пузырев, сидящий за столом.

— Понятия не имею.

— Отпираловка — известный прием, так где же червяк?

— Я сказал: не знаю.

— А вы (взгляд в сторону Пузырева у окна) неискренни с нами. Это плохо. Очень. Для вас...

От окна — кивок и клуб дыма.

— Как я могу узнать, куда девался этот червяк, когда никто не знает, откуда он появился?

— Демагогия. И попытка уклониться! Давайте определяться: вы «потеряли» секретный образец. Вы, не кто-нибудь. Сознаете, что это значит?

— Догадываюсь.

— А тогда сообщите: где, когда и кому. И при каких обстоятельствах.

Тут стоящий возле окна Василий Петрович слегка надтреснутым голосом сказал, что мтерс мтрулад унда давхвдет.

— Вот имснно! — Пузырев в костюме поднял палец. — С врагами будэм дэйствовать по-вражэски, — и без всякого перехода заорал:

— Где образец?! Где образец?! Где образец?!

Максим молчал. Противно стучало в висках.

— Старый прием. Отрицаловка. Надо определяться. Вы неискренни. Решайте, в какой поезд сядете. Туда или сюда? Где и при каких?

Может быть, это Максиму только казалось, устал все-таки... но нет, голос Василия Петровича в самом деле как-то все больше и больше обесцвечивался, терял напор, лишался интонации. Вопросы он перемежал длинными паузами, а тот, двойник в сапогах, и вообще замолчал, стал почти невидимым,

окутанный клубами дыма. К концу второго часа он неожиданно распух: сперва раздался в ширину, потом стал расти: голова, принявшая размеры ведра, поднялась под потолок, папироса сделалась величиною с еловую чурку. Скоро этот Пузырев непонятным образом ухитрился заполнить собой весь объем кабинета, так что письменный стол и сидящие друг против друга Василий Петрович с Лихтенштейном оказались зажатыми между гигантскими сапогами. Дышать было нечем из-за табачного дыма и запаха гуталина. Но вдруг меньший Пузырев взглянул на часы и, запнувшись на очередном «вы с нами не иск...», сообщил, что на сегодня разговор окончен, но учтите, это только на сегодня, а вот уж завтра будет конец.

— Или начало конца, — прогудело откуда-то изнутри гигантской туши, после чего там зашипело, защелкало и неожиданно раздался бой часов. Под него Максим и покинул кабинет, кое-как протиснувшись между хромовыми голенищами.

Когда он был уже на пороге, вслед крикнули: «Надо определяться, Лихтенштейн!». Голос был не пузыревский, вообще незнакомый, визгливый и тоненький.

СОБРАНИЕ

Полночи Лихтенштейн провел без сна. В самом деле, надо было что-то решать. Еще парочка таких допросов, и станешь психом... А где, собственно, говоря, записано, что Лихтенштейн обязан отвечать Пузыреву на его idiotские «где и когда?». И вообще — зачем сидел два часа в кабинете, задыхаясь от дыма, вместо того, чтобы встать и уйти? Что за рабская, ей-Богу, психология! В одном прав Пузырев: определяться действительно надо. Завтра же подать заявление об уходе — и конец. Что дальше? Это потом, потом... Пусть все идет по порядку. На этом Максим заснул, и спал тяжело, без снов. В институт на следующее утро пришел готовым к решительным поступкам, прямо в вестибюле столкнулся с Кашубой и уже открыл было рот, чтобы сообщить, что — все, намерен проститься, как Евдоким Никитич, весь сияя, забормотал непонятное

—

дескать

*важно правительственное задание найден прекрасный выход мы все внеоплатном долгу теперь особенно не необходимо на пряч
ь все силы а вам решено оказать доверие...*

Мелькнуло черное крыло, тени летящих мимо комьев скользили по каменному полу вестибюля.

— Сейчас, прямо с утра, — все в актовом зале, — отдельно закончил Евдоким Никитич, — будет экстренное общее собрание.

Собрание, судя по всему, было не просто экстренным, но чрезвычайно значительным, поскольку явилось все начальство во главе с директором. Вид у директора был торжественный, у Пузырева же — чрезвычайно благостный, — ничего похожего на вчерашнюю злобность. Присутствовал Василий Петрович на сей раз в четырех видах, случай (на памяти Максима Лихтенштейна) беспрецедентный. Все четверо — в новеньких синих костюмах, белых рубашках, с галстуками. Трое чинно уселись в первом ряду, нога на ногу, изготовились записывать, четвертый прохаживался позади стола президиума.

На трибуну поднялся директор и праздничным голосом прочитал краткое сообщение о досрочном окончании работ над первым опытным образцом по проблеме «Червец». С чем и поздравлял всех присутствующих.

Переждав, пока отгремят аплодисменты, продолжил; сообщил, что первый образец, сыграв свою положительную роль, демонтирован, и лаборатория Евдокима Никитича Кашубы приступает к созданию нового. В работе будут использованы достижения как отечественной, так и зарубежной науки и техники в таких областях, как бионика, электроника, химия, физика и математика. Прделанные лабораторией Кашубы исследования дали неоценимый материал. Трудились все добросовестно, с полной отдачей, но теперь от сотрудников потребуются еще больше сил и творческой энергии — новый образец, который предполагается смонтировать из отечественных полимеров на отечественных же полупроводниках, должен быть стойким ко всем видам статических и динамических нагрузок, радиации, агрессивным средам и различного вида бактериям. Сроки сжатые, время не терпит, но руководство института верит, что лаборатория Евдокима Никитича спра-

вится, а весь коллектив — поможет. В уже проделанной работе хочется особо отметить большой вклад старшего научного сотрудника Максима Ильича Лихтенштейна... на этом месте директор сделал паузу, Пузыревы же, сидящие в первом ряду, синхронно повернулись к Максиму и дружелюбно подмигнули. А Василий Петрович, остановившийся возле стола президиума, кивнул.

Директор продолжал речь, сказав, что к сожалению, необходимо отметить отдельные недостатки в работе, а именно — недостойное поведение младшего научного сотрудника Лыкова, не проявившего творческой инициативы при работе над первым образцом. Руководством принято решение понизить Лыкова в должности сроком на три месяца с соответствующим уменьшением зарплаты.

— Правильно! — крикнули из зала. После чего, поговорив еще немного об ответственности, ложащейся сегодня на весь институт в целом и на каждого в отдельности, директор сошел с трибуны.

В зале зашевелились, в президиуме — тоже. Создалось впечатление, что сейчас рапуют, вон и Пузырев, что-то шепнул директору, сделал шаг к трибуне, — очевидно, затем, чтобы объявить собрание закрытым. И в это мгновение Максим поднялся и пошел вдоль рядов к сцене. Еще мгновение назад он представления не имел, что пойдет. Он и сейчас не думал ни о чем конкретно, просто шел, глядя прямо перед собой. Мимо любопытных взглядов, повернутых голов, мимо трех восторженных Пузыревых в первом ряду он шел вперед, стараясь не касаться взглядом четвертого. Первым сориентировался, надо отдать ему должное, Евдоким Никитич, и, когда Максим был уже в двух шагах от сцены, нарушив протокол, возгласил:

— От имени коллектива всей нашей лаборатории слово предоставляется Максиму Ильичу Лихтенштейну, ответственному исполнителю по проблеме «Червец». Максим Ильич! Проинформируйте товарищей, чем мы намерены ответить на решения, принятые руководством института.

А Максим был уже на трибуне. Он все еще не представлял себе, какими словами скажет то, что должен сказать. Да и не имели они сейчас значения, слова. Поэтому он заговорил, чув-

ствуя непривычный покой в душе, и это чувство покоя становилось все более плотным и надежным с каждой произносимой фразой.

— Мне было стыдно, — сказал Максим, — слушать все, что тут сегодня говорилось. Стыдно. Ведь это же я заварил кашу с так называемой проблемой «Червец»! всю эту бессовестную липу ... ни у кого, я думаю, с самого начала не было сомнений, что это — чистейшая липа? Бессовестный, повторяю, способ прикрыть нашу научную... импотенцию.

В зале стало так невероятно тихо, что было слышно, как шуршат по бумаге шариковые ручки троих Пузыревых, выполняющих свой неоплаченный долг в первом ряду. И тут в гулкой пустой тишине сухо, как пистолетные выстрелы, прозвучали три негромких хлопка профессора Лукницкого.

Гул поднялся над рядами, точно пыль — над дорогой, по которой прошел трактор. Замер с полуоткрытым ртом директор, краска сползала с румяного лица Евдокима Никитича, сперва побелела лысина, лоб, потом нос — казалось, кто-то открыл кран, приделанный к одной из щиколоток профессора, и теперь кровь медленно покидает его тело. Вот побелел уже подбородок, шея... Максим торопился — сейчас, сию секунду его прервут, но Василий Петрович, недвижимо стоящий возле трибуны, всего-навсего выдернул из кармана блокнот и взялся наконец, за ручку, те же Пузыревы, что сидели в первом ряду, — наоборот, — бросили писать, разделились, и вот уже один из них завис в левом верхнем углу зала, притиснув к глазам полевой бинокль, другой с автоматом Калашникова наперевес неведомо как очутился у окна лицом к залу, четвертый же занял позицию у двери, прислонившись к ней спиной.

Синих праздничных костюмов как не бывало; тот, что сторожил окно, оказался облаченным в военную форму начала сороковых годов — с петлицами, остальные трое — в повседневные серые костюмы.

— Больше всего мне стыдно, — говорил Максим, — что я... что все мы так спокойно, будто должное, опять слушаем вранье. По уши во вранье...

Висящий Василий Петрович перевел свой бинокль на директора. Тот вздрогнул, волнообразно дернулся всем телом, будто через него пропустили ток, и хрипло закричал:

— Лишаю слова!— и выключил микрофон.

Шум взвился над рядами, заполнив зал до самого потолка. На секунду Максиму даже показалось, что стало темно. И сквозь эту темноту, сквозь какие-то выкрики и звон стакана, которым директор в отчаянии ударял о графин с водой, он успел еще сказать, что считает Лыкова невиноватым; но его, конечно, никто не слышал — шум стугился в плотную, звуконепроницаемую массу. Максим спустился со сцены, прошел к своему месту и сел, чувствуя физическую усталость и полное ко всему безразличие.

Пока директор яростно совещался с Василием Петровичем, на трибуне вдруг очутился Лыков. Микрофон заработал. Зал тотчас стих, а Лыков, то и дело вытирая лоб, потным голосом, срываясь, сказал, что категорически отказывается от заступничества Лихтенштейна. Поскольку полностью и целиком сознает свою вину и готов нести любое наказание! И только в таком больном воображении, каким обладает Лихтенштейн, — а это он доказал своим истерическим выступлением!— может родиться подозрение, будто он, Лыков, способен спрятаться за чью-либо спину, тем более за спину человека, проявившего неуважение ко всему коллективу. Остренький носик Лыкова покраснел, глаза с белесыми ресницами преданно мигали в сторону директора, Пузырева и смертельно бледного Евдокима Никитича, с поверженным видом восседавшего за столом президиума.

— Вместо того, чтобы демагогическими заявлениями вбивать клинья между сотрудниками и администрацией,— лопотал Лыков,— Лихтенштейну лучше бы... лучше бы...

— Убираться вон! — выкрикнул с места Валерий Антохин.

— Товарищ Лыков, вы закончили?— спросил директор, оторвавшись, наконец, от Пузырева.— Спасибо. Слово имеет... Валерий Валентинович Антохин.

Лыков сбежал с трибуны и облегченно затопал по проходу, шаги были частыми и мелкими, и, наверное, поэтому казалось, что бежит он на четвереньках.

Валерий поднялся на сцену солидно, перед тем, как начал говорить, поправил галстук, и только после этого громким, но плохо поставленным голосом (Павел Иванович всегда считал, что у его соседа хамский голос) заявил: выступление Лихтенштейна его ничуть не удивило. Напротив. Он давно ожидал чего-либо подобного именно от Лихтенштейна. Своей речью тот показал и доказал — в институте ему не место. И в нашей науке — не место! Таким, как он, нет, никогда не было и быть не могло дела до нашей науки, для них она только средство, а не цель, средство для получения материальных благ. За чужой счет. И это не удивительно, напротив, в каком-то смысле даже понятно... Более того...

До Максима вдруг дошло, что теперь он вовсе не обязан сидеть в зале и выслушивать эту гнусь. Он, слава Богу, поставил точку, и лучшее, что может сейчас сделать, — это пойти и написать заявление об уходе. Он встал и вышел, никем не задерживаемый, даже тот Пузырев, что охранял дверь, на мгновение от нее отшатнулся.

Максим не слышал довольно, надо отметить, кислых аплодисментов, проводивших Антохина с трибуны, не видел и того, как Алла демонстративно пересела подальше от мужа. А директор, придя, наконец, в себя, сообщил, что собрание продолжается, и следующим слово имеет передовой рабочий Денисюк.

— После чего, — добавил висящий в левом верхнем углу Пузырев с биноклем, — состоятся проводы на заслуженный отдых всеми нами горячо уважаемого профессора Лукницкого.

Тут все встрепенулись и довольно осмысленно заплодировали.

Между тем, успевший занять место на трибуне Денисюк озадаченно смотрел на присутствующих, и в зале стала набухать увесистая пауза. К счастью, прямо в руки новатору откуда-то из-под потолка плавно спустился большой бумажный голубь, крупно исписанный фиолетовыми буквами. Развернув

птицу и близко поднеся ее к глазам, Денисюк, запинаясь, громко призвал всех в зале убрать руки прочь... Потом замолчал, обиженно всматриваясь в текст, пожевал губами, подумал и произнес:

— Призываю убрать, значит, прочь... — и поднял глаза к потолку. Но помощи на сей раз не последовало. Не последовало ее также и со стороны того, с блокнотом, который только что был рядом с директором, но вдруг пропал. И от входной двери — в равной степени, не говоря уже об окне.

Дело в том, что Василий Петрович в это время уже сидел в пятом ряду, вернее, в пятом — только двое, справа и слева от Лукницкого, третий же — в шестом, за его спиной. Что касается четвертого — автоматчика, — то он стоял неподалеку, в проходе, направив свое оружие на профессора, который погрузился безо всякого движения.

Денисюк перевернул голубя и поискал, нет ли чего подобного и подходящего на обратной стороне птицы. Ничего не обнаружив и там, он напрягся, сдвинул брови, весь побагровел и закричал:

— Руки прочь от... от этой, на хрен... от охраны природы!

Зал единогласно охнул, а на сиреновом лице Лукницкого забрезжила идеологическая диверсия.

Польщенный вниманием Денисюк обвел присутствующих победным взглядом, аккуратно сложил записку, сыгравшую свою положительную роль, снова превратив ее в голубя, и, размахнувшись, пустил под потолок. Птица взвилась, описала над залом окружность и внезапно вылетела в открытую форточку, никем, заметьте, не охраняемую. Денисюк захлопал в ладоши, в зале тоже послышалось несколько сомнительных хлопков, но из шестого ряда раздался милицейский свисток, и все замерли. Ударник пожал руку директору и удалился в зал.

Последовавшая непосредственно за этим процедура проведений на отдых Лукницкого заняла считанные минуты. Скомандовав: «Руки назад», юбиляра вывели к трибуне, крепко держа с двух сторон за локти и подталкивая в спину. Автоматчик Пузырев в это время запер дверь, спрятал ключ в карман

галифе, вытащил на трибуну директора, и тот, безо всякой подготовки, очень резко произнес короткую, но энергичную речь, начинающуюся словами «Сегодня мы прощаемся...» и кончающуюся фразой «Память о нем будет всегда жить в наших сердцах». Напрасно Лукницкий пытался перебить выступавшего, при первом же поползновении его прижали из конвоя так заломили ему руки, что он решил не вступать. Сморкаясь, директор сошел с трибуны, и тут дверь, только что на глазах у всех запертая на ключ, внезапно распахнулась, и в зал хлынул отряд первокурсников с цветами и еловыми ветками.

Зал встал, потом сел, вытер глаза, и все это разноцветье, разнотравье, все колкое смолистое благоухание водопадом обрушилось на голову, плечи, спину и грудь бывшего профессора. Ноги у него подогнулись, он без единого слова опустился на крашеный пол зала и мгновенно исчез под ворохом цветов и веток. Грянули трубы, ударили литавры, застыл в скорбном молчании зал.

— Здорово, — прошептала Алла Антохина, — все-таки торжественно обставили, молодцы!

— А ты переживала, — ответил ей сидящий рядом Гаврилов.

И тут раздался залп последнего салюта — это Василий Петрович в военной форме начала сороковых годов разрядил свой автомат прямо в люстру. Словно летний дождь, посыпались сверкающие стеклянные осколки, а в форточку, слегка покачиваясь в воздушном потоке, вплыл большой бумажный голубь. Покружив над залом, он осторожно опустился на гору Цветов. Самый маленький из ребят бережно поднял птицу, развернул ее бумажные крылья и звенящим голосом прочел вслух:

— Спи спокойно, дорогой товарищ!

Громче всех рыдал передовой рабочий Денисюк.

глава шестая

СЛУХИ

Пришло лето, и десятки тысяч людей с облегчением покинули раскаленный город, точно сбросили наконец тесную, душную, пропотевшую рабочую одежду.

Десятки тысяч бодрых провинциалов с продуктовыми сумками и холеные интуристы с фотоаппаратами хлынули в город, битком забив магазины, улицы, палубы горластых теплоходов, «пяточок» под стеной Петропавловки, пирожковые, музеи и рестораны.

Оставшиеся в городе по долгу службы аборигены жались в углы, чувствовали себя неудобно и как-то неловко, будто к ним в квартиру внезапно ввалилась большая, жизнерадостная и энергичная семья малознакомых родственников из Костромы.

Каждый вечер на пыльном, никогда не остывающем небе собирались тучи, ночью гремело и вспыхивало, но дождь так и не проливался, и утром солнце снова садистки палило и жгло.

Говорили о надвигающейся желудочной эпидемии. Ожидали лесных пожаров. Многие видели по ночам в небе различные неопознанные объекты, один из которых даже вроде бы опускался на газон в Михайловском саду и сжег вокруг себя всю траву в диаметре пятнадцати метров, но был изгнан бездомными собаками, поднявшими страшный вой. На следующее за этим событием утро жара достигла тридцати градусов. Пожилые люди сосали валидол и намекали насчет вредительства.

В эти же дни пополз слух, что в новых районах обитатели седьмых, девярых и одиннадцатых этажей кооперативных домов систематически наблюдают некое ранее никем не виданное существо, которое по ночам, якобы, заглядывает к ним в окна. Существо это — не то гигантский змей, не то чудовище Лохнесс, не то снежный человек — похоже на ящера с круглой головой и близко посаженными умными глазами. Говорили, что страшилище никого пока не трогает, но на чистом русском языке, слегка шепелявя, сообщает о надвигающихся событиях, вплоть до конца света.

На прошедших многочисленных собраниях жильцов были приняты резолюции: не оставлять окна на ночь открытыми, разъяснять обывателям, что слухи, распускаемые про страшилище, не имеют под собой почвы; провокационные же инсинуации самого страшилища пресекать, сообщая о его появлении органам милиции и кому следует.

Позднее в особо доверенных кругах обсуждались не всем доступные сведения о странном нарушителе границы, оставившем неясный след на нейтральной полосе вблизи города Светогорска. След был обнаружен сверхсрочником Остапенко и его четвероногим другом и напоминал отпечаток тракторной гусеницы.

Все эти разговоры и сплетни, будоражащие население, конечно, не прошли мимо института, где одной из ведущих лабораторий заведовал профессор Кашуба, в конце мая получивший строгий выговор по милости некоего, теперь, уже слава Богу, уволенного сотрудника.

После того, как по западному радио дважды передали очередную «утку», будто в каком-то мюнхенском журнале напечатали снимок, где группа туристов сфотографирована на фоне Ростральной колонны в обнимку с гигантским червяком, одетым в соломенную шляпу и солнцезащитные очки, — после этого провокационного сообщения в лаборатории провели производственное совещание, где присутствовал весь коллектив и где Евдоким Никитич подвел итоги работ, проделанных по второму этапу проблемы «Червец». Дела шли, надо сказать, совсем неплохо; и вот вам лишнее доказательство тому, что незаменимых нет и быть не может, тем более, свет клином не сходится ни на ком, в том числе и на Максиме Ильиче Лихтенштейне. Новый образец, изготовленный из полихлорвинила, внешне был почти идентичен старому, но имел по сравнению с ним явные преимущества, главным из которых было то, что двигаться мог только включенным в сеть, а не по собственной воле, что избавляло от необходимости постоянного наблюдения. Второе отличие состояло в том, что первый червяк был, как все помнят, теплым наощупь, при проектировании же второго обогрев решили не делать, так как никаких заметных преимуществ перед возможными зарубежными аналогами он

не давал, зато при отсутствии обогрева достигалась значительная экономия электроэнергии. В общем, что говорить, на месте наука не стояла, настроение в лаборатории теперь даже как-то поднялось, каждый был занят делом, — нас толкнули, мы — что поделаешь? — временно упали, зато уж когда нас подняли, мы пошли. Семимильными шагами, все дальше и дальше, выше и выше... к той самой вершине, где...

ПУЗЫРЕВЩИНА

Рассчитали Максима с молниеносной быстротой. Заявление об уходе он положил на стол Кашубе сразу же, как тот вернулся с собрания, и Евдоким Никитич, не поднимая глаз, раздраженно черкнул: «ОК, оформить».

— Зайдите к Василию Петровичу, — невнятно скрипнул он.

И правильно скрипнул — Василий Петрович являлся как-никак заместителем директора по кадрам. И Максим направился прямо к нему.

В кабинете Пузырева шло совещание «тройки». Обсуждалась, видимо, все та же история с проблемой «Червец», потому что при появлении Лихтенштейна все смолкли, а делавший сообщение Василий Петрович Пузырев постучал шариковой ручкой о столешницу.

— Регламент, регламент, — нестройно загалдели два других Пузырева и, положив одинаковые блокноты, усталились на Максима одинаковыми глазами.

От этих блокнотов, глаз и серых костюмов перед ним вдруг все поплыло, Максим покачнулся, но Василий Петрович ловко выхватил у него из рук заявление, мгновенно поставив в углу свою подпись и, держа Лихтенштейна за локоть, заботливо вывел в коридор и прислонил к стене.

— Работы нигде не найдешь, намучаешься... — прошелестело из кабинета. Но так тихо, что, вполне возможно, Максиму это только послышалось. Тем более что стоящий перед ним

Пузырев был как будто полон дружелюбия. Посоветовал заглянуть сейчас же к директору, чтобы покончить с формальностями сразу и на высоком уровне».

К директору, так к директору, «уходя, уходи», и чем скорее, тем легче.

Однако в приемной сидящий на месте секретаря Пузырев очень спокойно доложил Лихтенштейну, что директора в настоящее время нет в институте и не будет до конца дня, так как он умер. Из-за неплотно закрытой двери кабинета внятно доносился директорский бас.

— Ступайте, ступайте, — нахмурившись, велел Пузырев, глядя Максиму прямо в глаза, — Вам же сказали: скончался, и все дела. Сгорел. А заявление можете оставить, завтра же получите в отделе кадров обходной листок. Завтра, поняли? — и очень обаятельно ухмыльнулся. А затем достал из ящика стола небольшой траурный веночек, обвитый красно-черной лентой. «Дорогому товарищу директору от. — почитал Максим, а Пузырев тем временем ловко нацепил веночек себе на шею и, не проронив больше ни звука, взялся что-то писать.

Следующим утром шел проливной дождь. На остановке мрачно переминалась под зонтами мокрая очередь. Все молчали, устремив напряженные шеи в ту сторону, откуда должен был появиться автобус. Максиму сегодня торопиться было некуда, он стоял, выставив зонт как щит — наперерез косому дождю. Мысли текли спокойно и вяло: сегодня оформить расчет, завтра... завтра весь день — отдыхать, заслужил, вечером можно съездить к Гольдиным... ох, и крику будет! Послезавтра заняться поисками новой работы. Если без претензий, тут скорее всего, больших затруднений не будет. Но уж — без претензий, на завод, в цех, в смену, если надо. Ничего! Раз в жизни захотел быть честным — плати...

— Ев-р-реи есть? — раздалось за спиной Максима. Он повернулся. Здоровенный парень в насквозь пропитавшейся водой накидке с капюшоном стоял прямо в луже, широко расставив ноги. Мясистая физиономия его была сизой, маленькие мутноватые глазки под выступающими надбровьями бродили по лицам стоящих в очереди людей.

— Ев-р-реи есть?— заорал он опять. И громко икнул. Очередь замерла.

— Ну, я — еврей.— Максим сложил зонг. Верзила замер, с трудом остановив на Максиме сползающий взгляд, приоткрыл рот, потом закрыл его и вытер губы мокрым рукавом.

— Дур-рак ты! Политики не понимаешь...— проворчал он обиженно, повернулся и, пошатываясь, двинулся прочь.

Очередь пожала плечами.

От автобуса к институту Максим бежал наискосок, через садик, и там, на мокром песке дорожки, едва не наступил на крупную бурую жабу, хмуρο восседавшую у края лужи. Жаба эта была товарищем Пузыревым.

К обеду он держал в руках свою трудовую книжку и деньги за неиспользованный отпуск. Стоя один в пустом и душном коридоре, он раздумывал, не пойти ли все же к Кашубе — проститься, и даже сделал один нерешительный шаг в сторону кабинета своего бывшего руководителя, но тут в конце коридора хлопнула дверь, раздался стук каблуков, и перед Максимом предстала Алла Антохина в таком виде, что он сперва ее даже не узнал,— лохматая, зареванная, с размазанной по щекам тушью и вспухшим носом. Подойдя к Максиму вплотную, Алла всхлипнула, обхватила его за шею и принялась громко плакать, выкрикивая:

— Сволочи! Гады! Паразиты!

— Но-но. Поаккуратней,— тотчас послышалось рядом. У стены недовольно наливался красками Василий Петрович. Голова его, шея и плечи уже ясно обозначились, нижняя же половина туловища почему-то запаздывала, так что казалось, будто в воздухе висит бюст Пузырева.

Услышав голос начальства, Алла оторвала лицо от груди Лихтенштейна и вдруг яростно бросилась к стене, где не спеша продолжал материализоваться Пузырев.

— Ах ты, мозглявка!— крикнула Алла и размахнулась. Максим даже прикрыл глаза и тут же услышал слегка испуганный и вполне миролюбивый голос Василия Петровича.

— Ты это... чего это? Ладно, ладно... расшумелась тут. Слова им не скажи. Цацы. Бегаешь целый день, как папа Карло, присесть некогда. Недовольны еще! Уволили по собственному желанию, скажи спасибо, могли бы по статье...

Максим открыл глаза. Пузырев тихо таял в полумраке коридора. Еще пару секунд его невнятный силуэт дрожал на фоне стены, а потом исчез и он.

ТУДА

Работы он не нашел. Мало того, — через две недели отказался от всяких попыток, так и заявил Гольдиным: «Пустой номер. Все. Больше никуда не пойду».

— Что значит? Это мне нравится! — возмутился Григорий Маркович. — Ира, ты слышишь? Он говорит — «пустой номер», он решил остаться без куска, этот мишугинер! Без труда, родной мой, не вытащишь и рыбку из воды. И зачем такая паника? Пора привыкать. А без работы у нас пока еще никто не остался. Завтра же звоню Андрею Соловьеву, он что-нибудь сообразит. Это — большой человек, мы с ним с войны знакомы, командовал нашим дивизионом.

— Я сама к ним съезжу, — крикнула из кухни Ирина Трофимовна.

Нет, ничего искать Максим больше не будет, у него вот они где — эти отделы кадров. Каждый раз одно и то же: очень нужно, как раз эта специальность, давайте документы, характеристику, будем оформлять... Да-а... Сейчас-то, собственно... как бы сказать?... Знаете что? Загляните к нам завтра, хорошо? Утречком... А еще лучше — позвоните. Да! Надежнее сперва позвонить.

И назавтра: знаете, мы тут разобрались, со штатными единицами туго, прямо беда. Ждем сокращения... И должность конкурсная... Что? Согласны — инженером?... М-м... К сожалению, в части ИТР у нас полный комплект, так что месяцок другой придется подождать... Если что, мы вам сообщим. Что? Нет телефона?... Найдем, найдем, не волнуйтесь...

И так — везде. С незначительными вариантами. В одной конторе уже почти оформили, позарез был нужен сменный технолог. А на другой день выяснилось, что ошибка — уже принят другой человек. Просим извинения, накладка, с кем не бывает.

— Какой он неврастеник, честное слово! — Григорий Маркович даже вскочил с кресла. — Что это ты такое болтаешь? У нас безработицы нет, к вашему сведению. В жизни, знаешь ли, надо быть более стойким и выдержанным, не распускаться.

— Что ты кричишь? — Ирина Трофимовна входила в комнату с горячим пирогом. — Опять вечером будешь принимать нитроглицерин. Конечно, мальчик переживает. Остаться без работы, и за что?!

— Как это, что значит: «за что»? «За что»... За собственную глупость, за что!

Согласен. Сам влез в это дерьмо, сам и погорел. Все нормально. ...Вот только... надоело... Надоело. Работа, положим, найдется. Со временем. Может быть, вполне приличная. Допустим, не хуже той, что была. И... что? А то, что все снова: «нас толкнули — мы упали». Снова высматривать в замочную скважину, что там, у них, нового, и кидаться копировать. Задыхаясь и дрожа, осваивать кем-то придуманное двадцать лет назад. Точно своих мозгов нету!

Вспомнилось, как лет пять-шесть назад вдруг набрел на одну идею. Была правда, не по профилю лаборатории, зато сама по себе кое-что сулила... Да брось ты! — не «кое-что», а колоссальный мог получиться результат. Максим загорелся, побежал к Кашубе, ворвался: «Ура! Событие! Срочно ставьте тему, через год-полтора, ну, через два, синтезируем новый полимер, износостойкость — на порядок выше!». Кашуба скривился: «Любите вы витать в облаках! Два года. Да за это время... и вообще, Максим Ильич, новые полимеры — не наше с вами дело, это пусть академические институты, а мы прикладники, для нас главное — не фантазии, не чистая наука, а помощь промышленности, и тут мы с вами, сами знаете, — в неоплатном долгу. Договор с Брянском в каком состоянии?.. Нет, не «на этой неделе», Максим Ильич, а сегодня. Потому что надо было — вчера!».

Поговорил с ребятами из академического. «Брось, старуха. Полная безнадёга. Это ты хочешь через нашего Дуба прорваться, через его полимеры, созданные им лично накануне Куликовской битвы? Он тебя по стенке размажет».

Больше блестящих идей и творческих взлетов не было. Была диссертация — приличная, добросовестно сделанная. И только. Наверное, и в этом виноват сам. Нет, хорошая была диссертация, не хуже других... Что впереди? Карьера? Никогда не светила, а теперь уж подавно. Да и к чему? Семейные радости? Родных не нашел, своей семьи не получилось. Был бы хоть бабником, вроде Лыкова, все веселей! Или какое-нибудь хобби... Вон Гаврилов — получил, наконец, садовый участок, теперь при деле: саженцы, семена, пленка для парников... Нет, настоящим смыслом могла быть работа, но ведь, куда ни погляди,— гора. Памиры и гиндукуши... Душно. Душно, будто в комнате с низким потолком... в комнате, из которой выкачали воздух. Тут не станешь разбирать, какая на дворе погода, выскочишь среди ночи голый... Еще и Васьки в кадрах с этими блокнотами. В этих костюмах...

Последнюю фразу он, кажется произнес вслух.

— В каких костюмах?— спросил Григорий Маркович, тревожно взглянув на жену.

— Да в серых, в серых, в каких еще!... А и сних-то что взять, крутятся, как... папы Карлы. Профессия такая.

— Какие Васьки в костюмах? Какие карлы, Максимушка? — тихо и ласково спросила Ирина Трофимовна.

— А?.. Нет, это я так, шутка.

Шутка... Зачем зря пугать стариков? Но вообще-то иногда Максиму начинало казаться, что он, и верно, того... сходит с ума: трамваи битком набитые Василиями Петровичами, едущими на футбол, очереди за пивом, сплошь состоящие из Пузыревых, десятки одноликих прохожих в серых костюмах... Надо лечить нервы. Или... Но сперва — успокоиться. Успокоиться! Плюнуть на все, посидеть дома и не делать никаких телодвижений. Переждать полосу невезения. Деньги, слава Богу, пока есть, а там видно будет.

А если?.. Бред. Какое еще «если»! Кто за тобой придет? Кому ты нужен? Тоже еще, государственный преступник. Червяка потерял. Шпион иностранных разведок. В институте скандал замаяли, живут себе и работают, а значит, раздувать кадило дальше никому не выгодно. Понял, идиот?! Понял. Ну, а если все-таки...

Максим молчал.

— Брось, — тихо сказал Гольдин. — Тебе просто надо отдохнуть. И ничего ужасного, можешь мне поверить: седьмой десяток в этой системе. Сейчас не те времена. А хлопоты я беру на себя, и запомни: ты не один, у тебя есть друзья.

— У тебя есть семья, — поправила мужа Ирина Трофимовна, разрезая пирог. И начал Максим отдыхать. Неделю сидел дома — спал до одиннадцати, гонял радиоприемник. Перечитывал «Преступление и наказание». Как-то от нечего делать принялся разбирать письменный стол, вытащил из ящика все бумаги, рассматривал, сортировал, ненужное рвал и выбрасывал. После инвентаризации ящики сделались почти пустыми, — оказалось, очень немного захотелось Максиму сохранить на будущее, всего несколько фотографий: тощие, стриженные наголо, лопухие пацаны и девчонки с испуганными детдомовскими лицами. Вон Макс: шея, как у куренка, глаза круглые, рот приоткрыт. Институтский выпуск: Лихтенштейн в первом своем настоящем «выходном» костюме — купил в долг под будущую получку. Лицо горделивое, с загадочно-иронической улыбкой; в глазах, как положено, — мировая скорбь. Дурак дураком...

Снимок с товарищами по лаборатории — в колхозе. А это — на демонстрации, под руку с Кашубой... теперь профессор этот снимок, небось, уничтожил... Рядом Гаврилов и две пьяненькие дамочки, одна — Алла Антохина, другая... Бог знает, как ее звали? — уволилась два года назад. Все снимки, обратите внимание, групповые, коллективные. Все бумаги — деловые. Так, черновики диссертации. Сжечь! Это никому никогда не понадобится... А ведь человеку полагается иметь архив, семейный альбом, чтобы — портреты дедушек, прадедушек. Полагается хранить старые материнские письма, ее тетрадку со стихами... Да... Максим наткнулся на несколько карточек де-

виц. Карточки были украшены нежными надписями. Вот и Алла, снималась за неделю до свадьбы с Антохиным. «Так уж и быть, возьми на память! Может, и пожалеешь когда-нибудь». Все это надо разорвать.

Неизвестно еще, чем дело кончится. Васька же намекал, грозил... «Выбирайте поезд — туда или туда». На Восток, стало быть, или... на Запад? Собачья чушь! В Сибирь, что ли, из-за этого червяка? Чушь-то чушь... И все же... Зачем, чтобы у девок были неприятности? Алла, дуручка, тогда в коридоре в голос ревела, за руки хватала, чушь всякую несла: «Люблю, всегда любила тебя одного, только сейчас поняла, на всю жизнь, куда угодно, мужа брошу...». Дуры бабы, жалость у них — первое чувство, пожалела — значит, полюбила. Ничего, успокоится, а нам сейчас не до любовей, нам определяться надо, поезд себе выбирать. Туда или... туда. Понятно вам? Туда... Или — туда?

За окном уплотнились душные сумерки. Не то чтобы темно, темнеть не могло, белые ночи стояли над городом, просто туча вылезла на небо, грудастая и бесплодная — ни прохлады от нее, ни дождя. Казалось, эта разбухшая туча всосала в себя последние остатки влаги и кислорода. Туда или... туда?

Вот он, поезд. Жесткое плацкартное место. Максим положил вещи и вышел на перрон покурить. Когда хотел войти обратно, проводница не пустила: вы, гражданин, лезете не в тот вагон, это первый, а вам в последний. Идите, идите скорее, через пять минут отправление.

Он пошел к своему вагону, в конец состава, это оказалось далеко. Сперва надо было идти по платформе, когда она кончилась, Максим спустился, побежал по узкой извилистой тропинке, которая быстро вывела его на безлюдную улицу незнакомого провинциального городка. Утопая в пыли, улицы лениво переваливалась с холма на холм, посередине ее нехотя бродили крупные золотистые петухи. Серый репейник стоял в канавах по обочинам, за стеклами подслеповатых окошек цвели герани.

На лавочке возле одного из домов грелась на солнце старуха. Голова ее казалась непропорционально огромной из-за толстого, в три слоя намотанного платка. На вопрос, как прой-

ти к вокзалу, повторенный дважды, она махнула рукой куда-то вбок. Максим побежал. Улица тяжело влезла на очередной холм и внезапно кончилась, превратившись в раздолбанную, пересохшую, комковатую дорогу. Максим прибавил ходу. За поворотом между стволами деревьев белело какое-то строение.

Но это опять был не вокзал. Это был очень странный, брошенный поселок, состоящий из заколоченных щитовых домиков с выбитыми стеклами, поваленными телеантеннами, оборванными проводами. Около одного из домов, в огороде, где не росло ни травинки, ни кустика, а вся земля была перекопанной, Максим увидел двух мужиков с лопатами. Безмолвно стояли они, опираясь на черенки, возле какой-то ямы и из-под надвинутых на глаза шапок хмуρο смотрели на Максима.

— Где тут вокзал? Как пройти?— крикнул он.

Мужики молчали.

— Как на поезд попасть?— умоляюще заорал он. (До отправления — всего две минуты).

Нехотя подняв тяжелую руку, один из мужиков показал влево.

Максим бежал опять. Теперь это была лесная тропинка, юлящая среди сосен. Она шла вниз, между двумя песчаными взгорками. Постепенно тропинка становилась все уже, взгорки — все выше, Максим бежал теперь как бы по ущелью. Дышать было нечем, он остановился на секунду, и тутже позади услышал шаги, которые сразу стихли. Он вообще-то все время чувствовал, что за ним идут, но только теперь услышал их, эти шаги. И оглянулся. Мужик в лохматой шапке стоял со своей лопатой в десяти шагах и ухмылялся. Максим опять побежал, а тропинка вдруг превратилась в тоннель, потолок которого снижался, так что сперва пришлось пригнуть голову, но дальше-то надо было двигаться ползком на коленях, а там, похоже, что и на животе, лицом в землю. Сзади явственно слышалось сопение; Максим не оборачивался, и без того знал, кого увидит. Он увидит того, с лопатой, в шапке. Или второго, такого же. Пузырева, Василия Петровича. Было душно, так душно, что стискивало горло.

Время истекло. Он упустил свой поезд. Оставался тупик в конце тоннеля или... четырехугольная яма, вырытая ими в огороде.

— Надо было вовремя определяться, Лихтенштейн, — услышал Максим за спиной, почувствовав холодную, липкую, смертную тоску.

И... определился.

По туче прошла ленивая судорога, полыхнуло, загремело, несколько крупных капель тяжело стукнули по карнизу.

В холодильнике он нашел недопитую бутылку водки. Вчера заходил Гаврилов, принес, но не пилоь — жара. Максим взял со стола немытую чашку, плеснул туда остаток водки. Сегодня утром звонил Гольдин. «Пока никаких новостей, Андрей сейчас в отпуске, он бы...».

...Получалось — жизнь прожита в постоянном страхе. Максим всегда считал, что он не трус, а что на деле? Боялся нудных объяснений с руководством. Боялся Кашубинской болтовни, от которой тошнило, росла гора и летел ворон. До увольнения боялся увольнения. Теперь — что не удастся найти работу. Боялся злорадных взглядов. И жалостливых — тоже боялся. Боялся всегда, в любой момент возможной ситуации, в которой придется кому-нибудь бить морду. Знал, что не струсит, но, Господи, как не хотелось! Боялся той минуты, когда в очередном отделе кадров, взглянув в анкету, замечутся глазами и снова скажут, что, к сожалению...

Он никогда не думал, что это чувство — страх. Думал: просто — не хочу, потому что противно, унизительно, обидно, в конце концов. Не хочу! Но «не хочу» на самом-то деле и было страхом, потным, скверным, с мелкой дрожью, которая всегда возникала, когда надвигался пьяный скандал, где последняя мразь может безнаказанно назвать тебя жидом, и у тебя нет другого выхода, как лезть в безобразную драку. И, главное, надо было все время бояться, что не совладаешь с собой, подожмешь хвост, скажешь не то, что думаешь, не то, что обязан сказать. Обязан, если ты не дерьмо! А ведь этот страх не исчезнет, будет с тобой и в Сибири, и на Севере. До последнего дня, до смерти...

До сих пор Максиму везло: судьба не ставила его всерьез в такие ситуации. Валерий Антохин? Это так, пустяки, семечки! Ну, а дальше как? Потом, когда придет старость, когда что-нибудь менять будет уже поздно? Кто тебя тогда защитит? Нет, не от Пузырева, и не от пьяного антисемита, и не от хулигана. От нее: привычной, повседневной, вьющейся в кровь боязни унижения?.. От чертовой духоты.

Туда!

На следующее же утро Максим отправился в ОВИР, захватив с собой вызов, неделю назад на всякий случай заготовленный Осей.

ДОМА

Конечно, такого сверкающего лакированного пола, как у Антохиных, такого мебельного финского гарнитура со «стенкой», такого бара (откройте дверцу, и внутри загорится лампочка «миньон», осветит ряд бутылок с исключительно иностранными наклейками — хоть сейчас взбивай коктейль), такой коллекции дефицитных новейших изданий — ничего этого в комнате Павла Ивановича не было. Вещи здесь стояли старые, разрозненные. Кресло, например, — дедово кресло с круглой резной спинкой темного дерева — они с матерью привезли в сорок пятом из Белоруссии. Мать рассказывала, что это кресло старше нее. Павел Иванович тоже помнил его с детства — до войны к деду ездили на лето каждый год, в семейном альбоме даже имелась фотография: двухгодовалый Павлик с завязанным горлом важно восседает в дедовом кресле, «читает» толстую книгу, уместив ее на коленях.

Большой письменный стол принадлежал отцу Павла Ивановича, а еще раньше — его отцу, инженеру-строителю. От деда-инженера, не дожившего до революции, остался и чернильный прибор с мраморной доской и двумя, сейчас пустыми, чернильницами; в одной Павел Иванович хранил кнопки, в другой — скрепки. А вот широкий диван, на котором спит Павел Иванович, купили недавно, всего года три назад. Выбিরали вместе с матерью, еще поспорили из-за обивки — Павлу

Ивановичу приглянулась красная, а мать настаивала на темно-зеленой: красная скоро надоест, утомительно для глаз и вообще больше подходит для будуара...легкомысленной женщины. Купили серьезный зеленый диван. А кровать, на которой мать спала сама, — чуть ли не бабушкино приданое. Деревянные спинки выкрашены в белый цвет, и на них — сиреневые ирисы. Эту старую кровать вместе с таким же сиренево-белым туалетным столиком мать несколько раз порывалась продать в комиссионке или подарить тете Зине — «ни ты ни се, сошло бы еще, будь у меня отдельная спальня, а так...» Павел Иванович продавать не дал, а теперь следил, чтобы покрывало всегда было чистым и выглаженным и хрустальные флаконы на туалете не пылились. Берет он и книги в старинных, с золотым тиснением переплетах: словарь Даля, энциклопедию Брокгауза и Ефрона, прижизненное собрание Салтыкова-Щедрина, самого любимого писателя Павла Ивановича, а также дореволюционных: Достоевского, Гоголя, Пушкина. А еще Бальзака. И Диккенса, которого без конца перечитывала мать. Но больше всего было стихов, мать всю жизнь любила стихи; из Пушкина, Ахматовой или Пастернака могла часами читать наизусть. В общем, большая часть библиотеки собрана была еще в блокаду и стояла теперь рядом с подписными изданиями и техническими книгами, приобретенными позже им самим.

Когда-то школьница Алла брала у Татьяны Васильевны классиков читать по программе. Теперь собственные классики в новеньких переплетах скучали за стеклом ее финского стеллажа, и раз в неделю Валерий чистил их пылесосом: «Почитаем, когда выйдем на пенсию, сейчас некогда, пускай стоят для будущих детей».

У Павла Ивановича пылесоса не было, так и не собрались купить. Как и при матери, раз в неделю он смахивал тряпкой пыль с книжных полок и тщательно протирал стекла двух фамильных портретов в дубовых рамах. Один портрет представлял собой увеличенную фотографию второго деда, в белом халате и докторском колпаке, на другом маслом была изображена надменная дама с высокой прической, бабушка по материнской линии, урожденная Сенявина. Род Сенявиных —

старинный, бабушка окончила Екатерининский институт и, как часто повторяла Татьяна Васильевна, «ни разу да самой смерти не позволила себе выйти к столу без корсета. И не сутулилась. Павлик, выпрямись!.. У них в институте девочек каждый день заставляли по два часа выстаивать у стенки, прикасаясь только затылком и пятками, сохрани Бог опустить плечи или прислониться к стене...».

Про корсет и стояние у стенки мать вспоминала всякий раз, как Павел Иванович сутулился или, того хуже, садился за стол в мятой рубашке. И он безропотно вставал и шел переодеться.

— Сделаться хамом очень легко, — шурилась мать, — а отучиться от этого невозможно.

И даже в самые мрачные дни, когда и есть бывало-то почти нечего, она упрямо стелила на стол крахмальную скатерть и клала на специальные подставки серебряные столовые приборы с бабушкиной монограммой «NS» — Наталья Сенявина.

— Это же никаких денег не хватит на прачечную! — сокрушалась тетя Зина, — да еще с крахмалом! Купили бы, Татьяна Васильевна, клееночку, я хорошенькую видела в «Гостинном» третьего дня.

Не признавала мать никаких клеенок, и даже теперь, без нее, Павел Иванович продолжал обедать на скатерти, хотя стояние в очереди в прачечной опостылело ему до последней степени.

Над обеденным столом висела небольшая, окантованная фотография отца. Снят перед самой войной, в Ялте. Белая рубашка с отложным воротником, вьющиеся темные волосы зачесаны назад, темные глаза наивно смотрят в объектив. «Это был удивительно красивый человек, Павлик, все женщины обращали внимание. Он походил на итальянца, и, кажется, там в роду что-то было... Ты, к сожалению, лицом в меня. Вот — считалась дурнушкой, а как любил! Блестящий, великолепный инженер, милостью Божией. И при этом никакого честолюбия, тщеславия, карьера его не интересовала. Здесь ты, к несчастью, похож во всем».

На тумбочке рядом с диваном Павла Ивановича стоял радиоприемник «Телефункен». Каждый вечер лет так с четырнадцати слушал Павел Иванович перед сном музыку, ловил заграничные станции, а когда стал постарше — передачи по-английски. Мать одобряла: на английском не опасно, и опять же тренировка в языке. Сама она и английский, и французский знала с детства, так что слушали обычно вместе.

Благодаря приемнику Павел Иванович полюбил и серьезную музыку, начал ходить с матерью в филармонию... Теперь-то не до концертов — кощунством казалось развлекаться, когда мать там... А вот в комнате своей, среди привычных, любимых вещей, расставленных ее руками, он всегда чувствовал себя надежно и уютно, особенно, если за стеной не слышно было соседей. Можно прилечь на диван, включить радио или читать, или просто думать, это ведь очень важно — оставшись одному, сосредоточиться, понять, что происходит вокруг и в тебе самом, что — главное, а что — пустяки, где ты был прав и должен стоять на своем, а где... И как жить.

Павел Иванович с детских лет был убежден, что его дом — самый лучший дом в мире, гордился, когда к нему приходили товарищи, мать встречала гостей радушно, оставляла обедать, и ребята потом говорили: «Как у вас хорошо, богато!». Просто мать все умела делать красиво.

Однажды, когда Павел уже учился в институте, начались разговоры, что в Советский Союз приедет с визитом Эйзенхауэр. Визиты иностранцев, тем более американцев, не были тогда таким будничным событием, как сейчас. К Соединенным Штатам благодаря своему приемнику Павел Иванович относился с большим любопытством, поэтому решил, что будет уместно пригласить зарубежного гостя к себе. А что? Ничего смешного! Интересно же президенту посмотреть, как живут простые советские люди, интеллигенты. Не так чтоб уж слишком богатые, но и не бедные ведь! Ему наша комната, конечно, должна понравиться, посидим, попьем чаю из праздничных саксонских чашек, а потом вместе послушаем джаз.

— Ох, Павлик...—только и сказала мать, когда он воодушевленно поделился с ней своими заветными планами.— Ну, а как же ты собираешься довести до сведения генерала Айка, что согласен его принять?

В ответ он задумчиво сказал, что надо, наверное, заблаговременно послать письмо в Министерство иностранных дел, чтобы там учли приглашение и включили соответствующий пункт в программу мероприятий, намечаемых для высокого гостя.

— Дурачок ты, — покачала головой мать, — прямо дитя, а ведь студент уже... Идеалист. Трудно тебе будет.

В последнем она, к сожалению, не ошиблась. А Эйзенхауэр тогда так и не приехал.

Эту субботу Павел Иванович проводил дома. Сверхурочной работы в тресте не нашлось, да и чувствовал он себя в последнее время довольно паршиво, устал и жара замучала, решил отдохнуть. С утра сходил на рынок, купил все, что нужно, к завтрашнему дню для матери, потом, не спеша, прибрал в комнате, распахнул было окно, но со двора вместо прохлады хлынул раскаленный затхлый воздух, пахнущий химией, так что пришлось плотно закрыть обе рамы. Павел Иванович решил сегодня не выходить, разве что под вечер добрести до «Сайгона» (так нарекла молодежь кафетерий на углу Невского и Литейного), чтобы выпить там кофе. Обычно он обедал в столовой на Фонтанке неподалеку от треста. Можно бы, конечно, просто сварить макароны, но для этого надо торчать на кухне, а там сегодня с самого утра истово хозяйничала Алла Антохина.

Павел Иванович очень хорошо помнил, как тетя Зина почти силком заставляла дочку выносить мусорное ведро или подметать пол в коридоре, а уж если, не дай Бог, наказывала вымыть раковину и ванну, хлопали двери, раздавался Аллин рев и крики: «Я тебе не Савраска! У меня уроки не сделаны!».

Так было до самого Аллиного замужества и отъезда тети Зины в деревню. Проводив мать на вокзал, Алла сразу, в тот же день, принялась делать в комнате перестановку, выбросила тети Зинин комод, кровать с никелированными шарами, Вале-

рий узлами таскал во двор какие-то тряпки, выносил полузасохшие кактусы; потом, уже ночью, молодожены вымыли пол, и началась новая жизнь. Вот тут-то и появилась финская мебельровка, Алла же теперь, бывая дома, буквально не присаживалась: все время что-нибудь чистила, мыла, скребла, пекла, закатывала, обдавала кипятком и откидывала на дуршлаг. Вот и сегодня: сперва долго гудела стиральная машина, потом, позвякивая, по коридору проследовал Валерий с сеткой пустых бутылок и уже от входной двери крикнул жене, орудовавшей в ванной:

— Я после посуды за апельсинами постою!

Алла не ответила. Последнее время между супругами явно был разлад, но Аллино хозяйственное остервенение от этого почему-то удесятерилось.

Развесив на кухне белье, она, видимо, взялась варить обед — до Павла Ивановича доносилось раздраженное брнчание кастрюль.

Павел Иванович знал, что соседка не уймется теперь до вечера. В воне посуды ему слышались злоба и упрек бездельникам, которые валяются по диванам, когда люди вкальвают, он даже вздрогнул, услышав, что в коридоре, у самой его двери, шаркает швабра. Он негромко включил приемник и, пошарив в эфире, нашел музыку. Это был Чайковский, Четвертая симфония.

...Когда-то очень давно, в школьные годы, они слушали ее вместе с матерью. Было это летом, в парке, кажется, на Елагинном острове. Оркестранты сидели на открытой эстраде, Павел Иванович с матерью стояли на дорожке сбоку, и мать вдруг прошептала ему на ухо:

— Погляди, какой трогательный, старенький. А контрабас — как попугай.

Павел Иванович сперва не понял: кто старенький? Какой попугай? Но всмотрелся и увидел: маленький старичок, покрасневшись от воодушевления, щипал струны, а над худым плечом его поднимался гриф контрабаса, и, казалось, там сидит, нахохлившись, большая заморская птица с крючковатым клювом. Пахло душистым табаком, листьями, рекой...

Музыка смолкла. Под дверью было тихо, потом раздались удаляющиеся шаги, Павлу Ивановичу показалось: Алла идет на цыпочках.

Алла ошиблась, когда говорила мужу, что сосед не замечает их с Валерием, не считает за людей, а только за «со-своей-подметки-грязь». Павел Иванович, напротив, очень даже их замечал и всегда помнил об их присутствии в квартире. Вот и сейчас, слушая музыку, он никак не мог отвлечься от мысли, что Алла совсем рядом, и это мешало ему. Он опять, в который раз, задумался о ней. Что заставило эту молодую, красивую, образованную и вполне обеспеченную женщину гнуть спину, день за днем убивать на хозяйственные работы? Она ведь делает в десятки раз больше, чем требует того необходимость. Нет, никто не говорит, что нужно бездельничать, жить в грязи и кормиться по столовкам, особенно, если у тебя семья. Никто этого не говорит, мать вон тоже всегда готовила обед, и в комнате был порядок, но делалось это как-то весело, между прочим, без надсады. Не считалось первостепенным. Есть в доме обед — хорошо, нет — не умрем, можно сварить картошку. Белье сдавалось в стирку, полы мыла уборщица из «Невских зорь», а иногда и тетя Зина («Татьяна Васильевна, хочу подзаработать»). По вечерам мать часто сидела над рукописями, она до шестидесяти лет была редактором в большом издательстве. И все-таки оставалось время читать, поехать осенью в Павловск, а весной — в Петергоф или просто побродить по набережной; оставалось время для спокойной беседы, не о быте, нет, не о том, что нигде ничего не достать, — одни очереди, даже не о том, как неудачно женился друг сослуживицы, а о том, например, как трудно, почти невозможно сказать себе правду о себе самом, о том, что это вообще такое — правда, или, допустим, хорошо или плохо — быть честолюбивым. Мать могла вдруг надолго замолчать, задумавшись, засмотреться на воробьев, скачущих по заснеженной дорожке в парке, на ветку с набухшими почками, на облако за окном. И Павел Иванович понимал: это очень важно, это и есть та самая внутренняя жизнь, которая требует к себе внимания, уважения, требует труда и времени, времени — да!, и тратить на это время ничуть не жалко, а необходимо, во сто крат нужнее обыденной пусто-

порожней суеты. И, наверное, она, внутренняя-то жизнь, как раз и отличает человека от старательного муравья, волокущего еловую иголку, или от курицы, которая так трудолюбиво и сосредоточенно роется в пыли...

Стоит ли приносить все это в жертву ослепительному паркету, ежедневному пирогу, запасам варенья и даже консервированным («совсем как свежие!») огурчикам среди зимы? Стоит ли платить за огурчики такую цену?

Стукнула дверь, и Валерий протопал в кухню, громко, как это было у них заведено, перекликаясь с женой. Павел Иванович поневоле получил информацию, что апельсинов в магазине нет, но молочные бутылки сданы, а винные сегодня не принимают — в пункте переучет. Несколько минут Антохины возбужденно ругали безобразные порядки в службе приема стеклотары, потом Алла сказала, что надо снести макулатуру — она набрала целый мешок, и еще хорошо бы попасть в химчистку, ковер уже пора сдавать.

— Мы хотели, когда в отпуск... — возразил было Валерий.

— А чего откладывать? Время есть, — буркнула Алла.

Время есть... Для ковра есть время, для макулатуры, для очередного надраивания и без того блестящих кастрюль... А с чего я взял, что за свое образцовое ведение хозяйства они платят каку-то бешеную цену? Что, если я все время путаю причину и следствие? Они заняты делами, считал я, поэтому у них ни на что больше нет времени, его сожрали без остатка «совсем как свежие» огурчики. Все не так! Огурчики — следствие... Они сами находят себе дела, забывают время до отказа всей этой... шелухой. Ага... Тут что-то есть. «Белье в прачечную не отдаю, там рвут». У нее хватит денег купить новое, даже если разорвут, но деньги тратить жаль, а время — не жаль. Почему? Из скупости? Нет. Алла не скупая. Переживания по поводу прачечной, сдачи бутылок, чистки ковров, доставания модных книг и — будь они неладны! — консервирования огурчиков ей нужны. Это... форма духовной жизни. Или — душевной? Пусть душевной. Потом появятся заботы по поводу покупки машины, гаража. Обстановки для новой кооперативной квартиры. Нет, они не накопители! Это на них наклепали журналисты, дело тут вовсе не в барахле. Дело в том, что им

необходимы эти хлопоты и, на первый взгляд, бессмысленные телодвижения. На первый взгляд! Это все бессознательная попытка заполнить пустоту в неразвитой, темной душе, которой никто никогда не интересовался, никогда не занимался, в которую кое-как напиханы и тут же забыты пустопорожние, жестяные правила и ничем не подкрепленные декларации... И ведь так же по-деловому, торопливо домыв полы, Алла побежит на концерт и станет, наморща лобик, изучать программку, догадываться, что хотел сказать автор своим произведением. Или схватит перед сном дефицитного Булгакова, чтобы тут же отложить — спать хочется. Да и как же не хотеться, если за день столько переверорочено: во-первых, стирка, во-вторых, обед, в-третьих... в-четвертых... в-десятых... И только на самом последнем месте, когда ничего более важного не осталось, — Булгаков, на которого уже нет сил... А не записана ли эта судорожная, беспробудная деятельность в ее генетический код? Надо встать с петухами, подоить корову, накормить скотину, потом детей, и — в поле до заката. Изю дня в день, из поколения в поколение... Ни минуты без дела, — чтобы вот так, просто так валяться на диване, решая мировые проблемы... А ведь получается, что правы-то — они, Алла с ее огурчиками и непрерывными уборками, они — работники, а те, кто на них не похож, кто живет иначе, — обычные лентяи. Они, небось, и в институте у себя вкалывают... А вот что стала бы делать такая Алла, если бы не тратила столько времени на быт? Если бы кто-то все за нее организовал, устроил, наладил? А нашла бы себе другое занятие! Принялась бы что-нибудь коллекционировать или... лечиться от болезни, тотчас возникшей от тоски и пустоты.

...Но ведь мать бы уничтожила меня за эти рассуждения: «Высокомерие! Пренебрежение к простым людям! Позор! Русская интеллигенция никогда себе не позволяла, напротив...» Все верно, мама, даже то, что такая жизнь, как у них, у Антохиных, имеет право на существование ничем не меньшее, чем любая другая, чем моя, твоя... может быть даже и большее, только мне.. только я... Да, я знаю, ты сказала бы: «Любите

ненавидящих вас» — а они ведь даже не ненавидящие, просто совсем другие. Инопланетяне... Или это я — не приспособленный к жизни... вырожденец?..

Раздался громкий крик:

— Надоело! Ты давал слово!

— Не хлопай дверью! И не обзывайся! — Валерий выскочил за женой в коридор. — Любимое дело — чуть что, клеить ярлыки. Выходит, раз ему так повезло, что он еврейчик, о нем уже и слова сказать нельзя?

— Ты почему-то всегда точно знаешь, кто еврей, а кто узбек. Не спутаешь.

— А ты бросаешься защищать! А сама говорила...

Переругиваясь, Антохины ушли, не иначе — ковер потащили в химчистку. В доме сразу стало тихо и хорошо, можно было даже выйти и поставить, наконец, чайник, но Павел Иванович еще несколько минут посидел на диване — а вдруг вернуться. Потом все-таки отправился на кухню, всю завешанную бельем. Нырря под веревки и задевая головой мокрые простыни, он зажег горелку. На столе Антохиных красовался новый предмет: большое эмалированное ведро с крышкой. Наверняка — для квашения капусты, солений или мочений... А все же дело обстоит не так-то просто... Это легче всего сказать — «нет у них внутренней жизни...». «Еврейчик»... С чего бы такие проблемы? У Аллы аж голос звенел, а Валерий, наоборот, бубнил, он всегда бубнит, когда злится. У нас с матерью почему-то никогда не заходил разговор на эту тему. С детства было известно: ругать евреев, антисемитом быть позорно.

Есть антисемитизм у нас сегодня или нет — этот вопрос был как-то вне сферы интересов Павла Ивановича. Наверное, есть, особенно бытовой, — вот, пожалуйста, возьмем хоть Валерия. Впрочем, евреями, с их обостренной, столетиями выработанной чувствительностью и комплексами, все эти проблемы явно преувеличиваются. Павел Иванович не раз слышал, будто еврейские школьники не могут и думать о поступлении в университет, слышал, но не очень верил, не мог поверить — такая нелепость... Да... а Валерий-то хорош... Нет, это подонок. Скажите на милость, ариец выискался!

Раздался робкий звонок, вслед за ним в дверь забарабанили, похоже, ногами, и Павел Иванович бросился отворять. На пороге он увидел худого, приземистого пьяного в рабочей спецовке.

— Х-хозяин, — с трудом произнес тот, протягивая Павлу Ивановичу нечто, завернутое в тряпку, — возьми ты его, ради Бога. За пятерку, на хрен, отдаю.

Павел Иванович растерянно попятился, и пьяный шагнул за ним в квартиру.

— Возьми, хозяин, а? — враждебно прогудел он и высвободил из-под тряпки новенький, блестящий микроскоп. — Новая машина, на всю жизнь. Бери, не пожалеешь!

— Нет у меня пятерки, — честно сказал Павел Иванович.

Секунду пьяный осуждающе глядел на него, потом махнул рукой:

— Бери за треху!

Но у Павла Ивановича и трешки лишней не было. Хуже того, не нашлось даже одеколona, что пьяный совсем расстроился. Под конец ему отчего-то вдруг, видимо, стало жалко Павла Ивановича, и он сказал:

— Ни хрена! Ты... этого, не переживай, понял? А деньги... эта... тьфу... И растереть! А будут — заходи, я тут всегда. Сегодня, на хрен, отдежурю — сутки дома, а со вторника — в любое время. Соседний дом, понял? Любую машину тебе устрою, лучше этой. Эта, на хрен, — дерьмо, хоть и из нержавеющей. Там, знаешь, какие есть — во! С газовую плиту, гад буду! А хочешь — полотенце вафельное принесу? Целый, на хрен, р-рулон. Ну будь здоров!

Павел Иванович запер за гостем дверь и побрел в свою комнату... А жить так больше нельзя, это не жизнь. Сегодня вот подслушивал соседские разговоры. Что будет завтра? «Жалкое прозябание», — сказала бы мать. Надо по-другому, но как? Она бы знала — как... Но ведь не так же, как Антохины... А может, ты в глубине души им завидуешь, потому и злишься: зелен виноград? Может, и сам бы не прочь, чтобы сейчас тут между стульев двигалась со шваброй крепконогая, ладненькая хозяйка — и... какие там еще, на хрен, духовные

запросы? — наводила бы в доме порядок, вон — в углах паутина! А ты бы сам... ну что? — пылесосил. Или переклеивал обои. Не нравится? Тогда женись на мясниковой дочке: «Ах, я так обожаю живопись! На Литейном в «комиссионке» продают картину, пейзаж с деревьями. Художник? Н-не знаю... Кажется... Мусье? Или Монпансье, короче — француз...».

...Если проникнуть в парк через калитку и пойти по аллее, то между стволами скоро покажется дом. Деревянный, с белыми колоннами и портиком. Широкая, посыпанная песком дорожка ведет к подъезду. Залитая солнцем гостиная. Рояль у окна. Женщина в белом платье. Кажется, это место называлось... Смирновицы?.. Смердовицы?.. — так вроде говорила мать. То ли там было имение Сенявиных, не то — просто ездили к кому-то в гости, мать была совсем маленькой девочкой, не помнит точно. Парк из одних дубов, а вокруг — лес, настоящий дикий лес, с грибами, ягодами, чашчобой. Взрослые пугали: там водится настоящий волк... Где это? Теперь не узнать.

...Женщина у рояля подняла голову, увидела Павла Ивановича, улыбнулась... Да... Идеалист. Это верно, вернее не скажешь. И фантазер.

Теперь усадьбы наверняка нет — сожгли. И парк вырубил.

Павлу Ивановичу нужно, чтобы вернулась мать. И чтобы все было, как раньше. Больше он сейчас ничего не хотел.

глава седьмая

ВАЛЕРИЙ

А Валерий Антохин вовсе не считал себя антисемитом, хотя, конечно, у него было вполне сложившееся мнение по поводу типичных черт характера лиц этой национальности. Между прочим, право на свое мнение по тому или иному вопросу имеет всякий человек, а речь идет исключительно о типичных, среднестатистических национальных чертах, вовсе не обязательных для всех и для каждого. Так Валерий и сказал Алле во время последней ссоры, когда она договорилась до того, что обвинила мужа в фашизме. Валерий тогда еще напомнил, как он всегда относился к Григорию Марковичу Гольдину, и добавил, что среди евреев встречаются на редкость симпатичные и толковые люди. Действительно: никаких отрицательных эмоций Григорий Маркович у Валерия, несмотря ни на что, не вызывал. А вот Лихтенштейн — вызывает. Причины? Их более чем достаточно. Начиная с его самоменения, манеры вести себя с этакой барской небрежностью, точно этот еврейчик — по крайней мере, наследный принц, и кончая... что ж, допустим, тут сугубо личные дела, но, все-таки, вряд ли кому-нибудь понравится, если его молодая жена на третий день после свадьбы покажет ему некоего долговязого пижона библейского вида и сообщит, что он, дескать, ее «первая, хотя и безответная любовь». Выходит, красавец пренебрег ее чувствами, и тогда она с горя осчастливила его, Валерия Антохина. Довольно смешно, не так ли? Нелепо и смешно. И, надо отдать Валерию должное, он никогда не опускался до того, чтобы всерьез ревновать Аллу к Максиму, даже теперь, когда та разыгрывала из себя борца за права малых народностей, всю демонстрировала свою симпатию к Лихтенштейну и сочувствие по поводу безобразной истории с «Червецом». Валерий считал, что в скандале Максим целиком виноват сам, нечего было разводить демагогию на собрании, а руководство обошлось с ним поразительно мягко: могли бы отдать под суд за историю с «первым образцом», так нет же, замяли, а ему, несмотря на скандал, всего-навсего предложили уволиться по

собственному желанию. Почему-то с ними так всегда, другой бы сгорел, как свечка, а этот отправляется за рубеж. Решение Лихтенштейна поменять подданство, о чем мгновенно узнали в институте, а) доказало, что этому человеку плевать на всех, вплоть до государства, которое его вырастило, и б) подтверждало мнение Валерия насчет волка, которого, как ни корми... Короче, Лихтенштейн оказался, грубо говоря, — предателем. Предал из трусости, такие случаи известны.

Эти свои соображения Валерий спокойно и достаточно дружески изложил Алле, что вызвало новый всплеск благородного гнева. Ему дали понять, что он мелкий завистник (?!), комплексант и, в общем-то, подонок, и Алла просто не может понять, что могло связывать ее с таким человеком. Конечно, Валерий был убежден, что ее поведение — блажь, женские фокусы, но, согласитесь, всякое терпение имеет пределы! Он чувствовал, что еще немного — и сойдет с резьбы: запьет или... ударит Аллу. Или, и это скорее всего, впадет в нервную депрессию. Такое скверное состояние было у него только однажды в жизни, на первом курсе, когда Валерий оказался один, без родителей и знакомых, в огромном городе, и несколько месяцев чувствовал себя так неуютно и одиноко, что чуть не сбежал домой, — самолюбие удержало.

В маленьком сибирском городке, райцентре, где было всего одно предприятие и командовал этим предприятием его отец, Валерия Антохина узнавал на улице каждый второй. Секретарь райкома здоровался с ним за руку. Здесь же, в институте, среди тысяч незнакомых людей, из которых ни один не проявлял нетерпеливого желания скорее познакомиться и подружиться с рядовым студентом Антохиным, Валерий растерялся. Набиваться на дружбу он не привык; слоняясь в перерывах между лекциями один по коридорам, осторожно поглядывал на шумных ленинградских ребят, прикидывая, отличаются ли они чем-нибудь от его одноклассников. И от него самого.

Вроде бы и одет был Валерий не хуже них — в импортный дорогой костюм, и прическу носил такую же. Но вот не умел он так вольготно усестись на подоконнике, закинув ногу на ногу, и громко острить, чтобы все проходящие оборачивались. Раз-

вязность и самоуверенность — вот чем они отличались, эти мальчишки! Поняв это, можно было бы, казалось, и успокоиться, сойтись с кем-то из скромных иногородних студентов, которых на курсе достаточно, только никто их не видел и не слышал, но самолюбивый Валера Антохин привык, чтобы его видели и слышали. И, смилив свою гордость, он сделал попытку подружиться с теми, что всегда были на виду, с уверенными, шумными и раскованными.

Самыми заметными среди них были двое: Юра Аксельрод и Марат Соколин. Юра, высокий, спортивный, элегантный, чем-то, пожалуй, походил на Макса Лихтенштейна, только Максим — брюнет, а у Аксельрода были длинные и — странно! — светлые волосы. Его приятель Соколин никак не мог претендовать на звание красавца — роста он был невысокого, не выше, чем Антохин, маленькие темные глаза смотрели из-под очков с постоянной насмешкой. Одевался Марат кое-как: в потертую куртку на молниях и брюки с «пузырями», вечно ходил небритый, но стоило ему открыть рот и, не повышая голоса, сказать несколько слов, как все окружающие, глядя на него с обожанием, принимались хохотать, девушки аж визжали, приговаривая: «Ой, Соколин! Ну, ты даешь! Ой, не могу!». Похоже, каждая вторая уже успела втрескаться в остряка-самоучку, хотя не только красотой, но и особой галантностью тот не отличался.

И все-таки, Валерий старался держаться поближе к этой компании, приходил после лекций в вестибюль под часы, где в окружении подлипал всегда околачивались Аксельрод с Соколиным, стоял там вместе со всеми, смеялся чужим островам, но участвовать в общем разговоре — как-то не получалось, робел.

Школьником Валерий часто развлекал ребят, копируя походку учителей или общих знакомых. Как-то под часами он, набравшись смелости, рискнул изобразить, как ходит преподавательница математики, которую за манеру подволакивать ногу весь институт называл «Кривая второго порядка». Никто не улыбнулся, а Марат посмотрел Валерию в глаза долгим, грустным взглядом и пожал плечами.

Валерий дал себе слово плюнуть на этих пижонов. Для чего, в конце концов, он поступал в институт — учиться или трепать с ними языком?

На следующий день после занятий, подходя к их любимому месту под часами, он нарочно ускорил шаг и отвернулся. И вдруг услышал голос Аксельрода:

— Антохин! Ты куда это устремился? Валера, стой!

Валерий и не думал, что они знают его имя, до сих пор вся эта компания вела себя так, точно Антохина не существует в природе.

Он подошел.

Затянувшись сигаретой, Марат Соколин спросил:

— Хочешь новый анекдот?

Вся братия смотрела на Валерия, и он, краснея, пробормотал:

— А чего... Давай.

Соколин кивнул и деловито начал:

— Значит так: повели слепых в баню...

Кто-то из девочек захихикал, и Валерию тоже стало смешно.

— ...а поскольку они слепые, — продолжал Марат с хмурым видом, — то и повели их в женскую баню...

Все дружно захохотали. Валерий засмеялся тоже, испытывая радость, облегчение, даже любовь к этому небритому Соколину, к ребятам, сразу ставшим своими.

— ... Вот один слепой налил в шайку горячей воды да ка-ак плеснет на голую бабу. Та как заорет: «Ты что, мать твою! Ослеп?! Это же кипяток!». А он: «Ну-у? А я думал: это... компот...».

Валерий хохотал так, что у него текли слезы. Он даже глаза закрыл. А когда открыл их, увидел вокруг серьезные лица, сочувственные взгляды и только потом услышал смех — свой собственный одинокий смех, громкий, визгливый, нелепый.

Сложив на груди руки, Соколин с любопытством смотрел на Валерия, будто экспонат в музее разглядывал. Потом повернулся к Аксельроду и лениво сказал:

— Вот тебе иллюстрация: конформизм в чистом виде.

Почему, вспоминая этот случай, Валерий Антохин до сих пор испытывал стыд, унижение и ярость? Ведь уже на втором курсе все изменилось: он съездил на целину, он получил повышенную стипендию, его избрали в факультетское бюро. К третьему курсу он уже чувствовал себя в институте ничуть не хуже, чем дома, в своем сибирском городке. И Соколин, кстати, оказался нормальным, контактным парнем, выступал с фельетонами в самодеятельности; Валерий часто сталкивался с ним, когда приходилось организовывать вечера, и Марат держался вполне дружелюбно. Похоже, он начисто забыл про случай под часами.

Валерий до сих пор не любил вспоминать те несчастные первые месяцы в институте, да и не было, слава Богу, повода вспоминать. И вот теперь, через столько лет, в своем собственном доме, со своей собственной женой, он вдруг опять почувствовал себя отверженным провинциальным мальчишкой, которому во что бы то ни стало хотят доказать, что он — хуже всех. Это он-то... И, главное, хуже — кого?!

...А Юрку Аксельрода, между прочим, отчислили на втором курсе за академическую неуспеваемость...

ВСТРЕЧА

Всю ночь до рассвета слесарь Денисюк Анатолий шел к себе домой в Дачное.

После работы завалились с ребятами в угловой, взяли три «бомбы», полпалки «отдельной» и два батона булки. Потом сидели в садике на лавке, и вроде бы подходили менты, но, видно, обошлось — вот же он, Денисюк, жив-здоров, не битый, идет к себе домой. Приходится — пешком, трамваев нет, метро давно закрыто, да что метро! Хрен тебе, не пускают они, гады, в метро, чуть чего: «Вы в нетрезвом виде», а заспоришь, пригласят ментов — и с приветом.

Денисюк тихо брел по пустым светлым улицам, белая ночь стояла над Питером, под ногами путались клубки тополинного пуха.

На той стороне, возле перекрестка, где светофор, две собаки играли в домино. Тоже, видать, коротают ночь, бедолаги, некуда, на хрен, податься. Хорошо все-таки, когда есть свой угол, а то сидят ребята, «козла» забивают, а что за «козел» вдвоем? И ведь никому-то от них вреда нету, а коснись что — к живодерам. И ни одна падла не заступится, кому дело до ничьей собаки? Никому. Вот гадство.

А у Денисюка угол был, комнатенка. Конечно, хреновая, но — в новом доме и, как ни крути, — своя. Пускай в коммуналке, но все равно, что в отдельной — соседней всего одна семья и люди как люди, а если чего и бывает... ну, так ведь у кого, если на то пошло, не бывает? Где ты видал, чтобы не поговорить, ты — ему, он — тебе? Да хоть и дадут раза — так тоже: заслужил — получи.

Нет, хоть задавись, не вспомнить, куда пошли из того садика и почему вот оказался он, Анатолий, поздно ночью один на скамейке в сквере на площади Стачек. Среди собак.

Зато днем, на работе, вообще получилось смешно, здорово получилось. С утра-то, конечно, на хрен, был немного поддавши, самую чуть: помогал переносить столы, и Кашуба, золотой старик, наградил — сто грамм гидролизного. Настроение стало хорошее, и после обеда зашел на склад, а там бабы сидят, дурью маются, давай шутки разные шутить, а Денисюк, сам не знает с чего, вдруг возьми и скажи: я, говорит, бабы, сегодня без исподнего, мы с тещей одни трусы поперемен носим, сегодня ее очередь.

Чего выдумал, сам даже удивился — какая, на хрен, теща? А эти дуры обрадовались, закудахтали: врешь, говорят, не верим, докажи. Он им: и докажу, бабы, только давайте заспорим. Выйдет, как я сказал, — вы мне двести грамм чистого, а если вру — ящики вам со двора перетаскаю за так!

Заспорили. Тут эта Рюхина, самая у них старшая, бойкая такая, как говорят, «баба с яйцами», орет:

— Ну, давай, доказывай, предьявляй свое хозяйство.

Денисюк ей:

— Больно умная, сама гляди и убеждайся.

И, думаешь, побоялась? Подскочила, хохочет, рожа красная. Ну, пропало дело: трусы-то тут, хотя и рваные.

Расстегнула она пуговицу, другую, и вдруг как занервничает, аж дрожит, на верхней губе — пот, глаза шалые. Эх ты, едрена палка, баба-то, она ведь до старости баба. Денисюк ей так и сказал:

— Ну чего ты, на хрен? Проверяй давай! Не стесняйся!

Она как отпрыгнет и давай орать:

— Хулиган! Зараза! Мать твою так и растак! В гробу я тебя видела! Больно надо! Девки, да налейте вы ему спирту, пусть отваливает со своим дураком!

Вот умора... А не скажи — жалко ихнюю сестру, которые вот так, без мужика... Спирт, конечно, взял и пошел. К концу дня уже хорош был, а там зашли с ребятами...

А здорово как на улице ночью, все такое, на хрен, чистое, спокойное, людей нет, никто тебя не толкнет, не обругает. И пух этот тополиный, вроде снега, точно зима. А тепло, хоть в реке купайся.

Хмель постепенно выходил, но настроение, против обычного, не портилось — уж больно светло и тихо было на улице.

Когда Денисюк подошел к дому, был уже совсем как стеклышко и чувствовал себя отлично. Над городом начиналось утро.

В комнате своей сразу открыл окно. Запахло тополем.

Он стряхнул со стола крошки, вынес на кухню окурки, составил в углу пустые бутылки из-под пива — завтра снести, сдать. Спать совсем не хотелось, но часок покомарить все же необходимо, в восемь — на работу, будешь, на хрен, ходить смурной, как все равно идиот.

И только Денисюк принялся разбирать постель, за спиной зашуршало. Денисюк обернулся.

Ну, мать твою!.. Гад, живой и целый, которого лично у магазина на бутылку сменял, из-за которого потом такой вышел базар! Ведь как приставал Кашуба: признайся, где живо-

тная тварь, говори! Но не такой дурак слесарь Денисюк Анатолий, не первый год на свете живет, все понимает: секретный — он секретный и есть, из сейфа; хоть червяк, хоть, на хрен, крокодил, тут дело такое — решеткой пахнет. Денисюка не расколешь! В милиции три раза был — и ни хрена. А тут на старости лет — в тюрьгу идти из-за того, что по пьянке взял эту гнусь и снес к магазину? Еле допер, тяжелый, зараза, а тот ханыга, который бутылку дал, тоже был хорош, сам еле на ногах стоял. Поверил, что рулон полотенца, обрадовался, хрен собачий, схватил и к животу прижимает. Унес гада. А вот теперь — он здесь, торчит в окне, башкой машет, змей. Еще и в очках! Белая горячка, что ли, у меня? Сгинь, дьявол, провались!

Денисюк даже перекрестился, но червяк и бровью не повел, ввалился через подоконник, все свои метры в комнату затащил и — к столу, ставит, сука, на стол «маленькую» — где взял? Магазины сто лет, как закрыты. Сидит, улыбается, козел змеиный.

Денисюк ему:

— Ты чего?

А он:

— Да так. Зашел вот к тебе, сказать, что ты все же сволочь, слесарь Денисюк Анатолий. Еще называешься ветеран труда.

— Ну ты! Потихе! Знаешь: мы таких-то говорков сшибали хреном с бугорков.

— А мы таких рассказчиков... гребли на рынке с ящичков,— червяк отвечает. Как разумный. Сам берет со стола «Север», спички, закуривает.

Ну, что тут будешь делать? Денисюк достал стаканы, даже на кухню сходил, вымыл. Разлили.

Червяк: так, мол, и так. Ясное дело, я от твоего жлоба в тот же вечер уполз, поищет он свое полотенце. И, сам понимаешь, не в жлобе дело. И не во мне, мне — что. Я лично даже рад, что так получилось — неожиданная перемена в судьбе. Но парня ты зачем подставил? Максима? Хороший ведь парень.

— А... не русский он, — сказал Денисюк, подумав.

— Ну, а хоть пускай бы и русский. И что? Получше тебя-то, пьяницы.

— Это ты брось, понял! — обиделся Денисюк. — На свои пью, это раз. А второе — кто я есть? Хозяин страны. Понял?

— Дурак ты, уши у тебя холодные. Хозя-я-ин! А он — кто? Шестерка? Он же сирота, всего — своими руками, а ты его — под вздох...

— Ладно. Насчет сироты, конечно... Я — чего? Я, допустим, как бы сказать... на хрен... а и поумнее меня ошибались, понял? Не плачь, выпей лучше, устроится твой Максим, парень он с головой, везде возьмут.

— Вот и видно, что чудило ты грешный. Правильно говорят: дурака драть — только... хрен тупить... Возьмут! Потом догонят и еще раз возьмут. У него — анкета, сам же тут разорялся. Уезжает он. Насовсем. В государство Израиль. Ясно тебе?

— Та-ак... Ну, дела... Ай да Максим Ильич, ну, мужик! Еще , ты говоришь, они не хитрые. Ей-Богу, молодец! Они его — на хрен, а он — их. На хитрую-то жопу есть хрен с винтом, понял-нет? Устроится, лучше здешнего будет жить, попомни. Спасибо еще мне скажет.

— Ну ты и бутылка — «устроится». Тут родина его, а этот: «устроится»!

— Так я ж тебе объясняю — не русский он, еврейской нации, какая тут родина?

— А вот точно такая, как и у тебя. Он что, в Африке родился? Мать-отец из Америки приехали? Здешний он, все у него тут... Вот ты, скажи, ты бы уехал? А?

— Я-то? Ясное дело! Тут-то чего хорошего? Заимел бы машину, каждый день, как фон-барон... Там, понял? — вкалывай, и все будешь иметь, а я чего-чего, а вкалывать могу, рабочий класс!.. А только пошел бы ты с границей! Я ее — знаешь как? Туда и сюда, понял? На хрен она мне, мне и здесь хорошо, рабочий — он и есть рабочий, отмантулил свое...

— Это ты — рабочий?! Какой ты рабочий, алкаш ты, работать давно разучился!

— А вот это, на хрен, брось! За такое можно и в рыло... Да мне — чего велят, я — безотказно, мастер — золотые руки, хотя бы Кашубу спроси, Евдокима Никитича. Они-то сами гайку и ту завернуть не могут, чуть что: «Анатолий Егорович» да «Анатолий Егорович! Пож-жялусста, не откажите в любезности...».

— И — гидролизного?

— Чего это — «гидролизного»? Нальют и ректификату, не думай. У нас не заграница твоя — каждому, на хрен, по труду.

— Не смейся! Квалифицированный слесарь, а чем занимаешься? Круглое катить, плоское тащить?

— Вот прилип, зараза! У нас — всякий труд почетный. Мне лично очень даже нравится. Кому не нравится — гуляй, а мне хорошо.

— Тебе?! Да ты хоть знаешь, что это такое — хорошо? Полвека отжил, а что видел? Было ли тебе хоть раз в жизни хорошо-то, единственный разочек?

— А хочешь знать, хотя бы и сегодня! Шел вот домой — и до того хорошо — чисто, тихо... Прямо как в деревне. И не лезь ты в душу, сука плоская, не то как...

— Сдалась мне твоя душа! Ничего в ней не осталось кроме разве что перегара. Деревню вспомнил. И сидел бы там, чего не сиделось?

— Ага! Ты б еще спросил, чего меня мамка девкой не родила. Девятьсот сорок пятый год, понял? Подыхать там, что ли?... Ну, а и остался, так что бы сейчас там делал? Деревни нет давно...

— Матка твоя покойница, к слову сказать...

— Матка! Так она, дурья башка, еще при царе родилась, привыкла — на земле... Ведь ишачили в поле с утра и до вечера, считалось — так и надо. Все — и матка, и батя, дед с бабкой — тоже... А там теперь и полей-то не осталось, одни кусты... Дома по бревну порастащили... Раньше-то богатая была деревня, хлеба — от пуза, молока — залейся. Давно только, при барине еще. А и я помню — до войны бабка чуть чего: «Ох, чего счас-то, вот при барине, при Ляксандре Тимофеиче...». И другие старухи заводят: «Ой, верно, ай так — и церкву расширил, и школу

построил, и ребятишкам деревенским на Рождество — елка с гостинцам». Да и батя мой, покойник, — тоже. Хвалили того барина. Это да.

— И куда же он подевался, благодетель-то, Ляксандр Тимофеевич?

— А кокнули. Когда усадьбу жгли. Батя вспоминал — они это, значит, приходят, а барин — на крыльцо: «Вам чего, мужички?». Ну... его и... У нас в избе долго еще гардероб стоял, я так лично его с рождения помню, красный такой, блестит... Мать как померла — все растащили, дом — на дрова... Соседи, хрен их... а может, из города кто.

— Да-а... А барин-то? За что его?

— Как — «за что»?! Барин он, кровосос... Да чего ты все пытаешь, гад заморский? Шпион ты или кто? То про границу, то — барин антисоветский... У меня своя жизнь, понял? Какая есть, такая и есть, не жалуясь. Вон — комната двенадцать метров, санузел раздельный, работа... тоже...

— Ага. В шараге. А ведь не врешь, были у тебя золотые руки... как у бати-покойника... да ты его разве помнишь, батюто?

— Опять завел. Да батю убили, мне восьми лет не было...

— Я к тому, что он, батя твой, все мог — и дом поставить, и печь сложить, и на земле... Да и ты, когда еще на заводе... А теперь — что? Теперь ты, брат, свои руки пропил, погляди — трясутся. А помнишь — еще в ФЗУ отличали, мог бы...

— Что — «мог»? Ну что — «мог», зараза хренова? Вспомнил!! Видал я твое ФЗУ... вместе с тем заводом... Гудит, как улей, родной завод, а мне-то... Плевал я, понял?

— Еще бы не понять. Обидели, как же! Бригадиром поставили, нахвалявали, а ты уж и расчувствовался, бабе своей внушал: «Ценят, отмечают». Чуть на радостях пить не бросил, полтора месяца в рот не брал. А они: «Иди-ка ты, Денисюк, назад на рабочее место, рупь в час, два в день, сто дней — сто рублей. Иди-иди, у нас на бригадирскую должность лучше тебя есть, грамотный, из техникума». Ну, ты и загудел. По-черному. Так загудел, что родная баба бросила, из дому ушла. Верно?

— А верно — не верно, какой теперь спрос... Ну, поставили горбатого Сашку, подлипалу, у него, и точно, ксива была, образо-о-ванный... Только им не это главное, им — чтобы начальству задницу получше вылизывал... И отвяжись. Пристал, как в ментовке, надоело. Живет человек спокойно, работает в этой... научной лаба... лабалатории, все уважают. Не каждому в начальники вылезать.

— Тебя? Уважают? Разуй глаза! Уважают его, главное дело. «Бобик, сидеть, Бобик, служи!.. Ай, хорошо, ай молодец, вот тебе косточка... то бишь стопочка». Что, не так? Уважают... Ну, чего дрожишь, озяб или с похмелья? Пошел я, счастливо оставаться... уважаемый...

И пропал червяк. А Денисюк Анатолий чего-то вдруг до того, на хрен, расстроился — ну сил нет! Вроде и выпили, а ни в одном глазу, а где ее сейчас возьмешь, семь часов утра. Черт бы его взял, сволочь плоскую, с этими разговорами. Всю душу, подлюга, разворотил... Значит, уезжает Максим. Это надо! Сходить, что ли, к нему? А зачем? Выгонит, а то и морду набьет. И за дело... Жалко парня. И Рюхину жалко, дурищу старую... Главное: «Бобик, лапу дай»... Зараза...

По коридору сосед к дверям протопал, на работу пошел, и Денисюк решил постучать к Марии, его бабе, у нее иногда бывало, оставалось от праздника.

Он постучался и вошел. Мария, в халате, растрепанная, злая, рылась в шкафу, вышвыривала на пол какие-то тряпки.

— Ну? Чего тебе? Всю ночь базлал, спать не давал! — сказала, не поворачиваясь.

— Мария, налей, — попросил Денисюк.

— Пошел ты... пьянь. Ходит тут с утра пораньше, собирается. Нету!

Мария захлопнула шкаф, повернулась, руки — в бока.

— Чего пристал? Говорю: нету. Иди, иди, расселся тут. Не в кино.

Видно, что-то хотел сказать Денисюк Анатолий, дернул шеей, завел глаза, потом вроде всхлипнул и боком повалился с табуретки на пол.

«Скорая» приехала быстро. И ругались: зачем к покойнику врачей вызываете, ему врач не нужен, ему — морг, милицию вызываете.

Ну, не умора, на хрен? Весь день проносило, берегла судьба Анатолия от ментов, а тут, напоследок, — прямо к ним в лапы.

«ВОСЬМЕРКА»

По вечерам Павел Иванович ходил гулять. Это была давняя, многолетняя традиция, заведенная еще матерью. Существовало несколько маршрутов: для морозной или ненастной погоды — «малый круг», несколько кварталов неподалеку от дома, продолжительность — пятнадцать минут. Весенняя прогулка предусматривала полуторачасовое путешествие по Фонтанке к Калининскому мосту, а оттуда — к Новой Голландии. Осенью хорошо было пройти вдоль Летнего сада по малолюдной ветреной набережной, где за парашютом вздувается и опадает выпуклая, черная Нева. Но самым длинным любимым маршрутом, рассчитанным на хорошую летнюю погоду, была «восьмерка».

По Владимирскому проспекту Павел Иванович выходил на Невский и, не спеша, двигался по правой его стороне к Адмиралтейству — туда, где в это время как раз садилось солнце.

Шумный людный Невский привлекал Павла Ивановича с ранней юности. Казалось, самая интересная, самая главная жизнь происходит именно здесь, и только здесь может случиться встреча, которой суждено сыграть решающую роль в его судьбе. Потому что где же ей и случиться, этой встрече, если все сколько-нибудь стоящие люди сосредоточены тут, все очаровательные девушки вкраплены в эту сверкающую толпу?

Так чувствовал Павел Иванович в двадцать лет, и, в общем, это ощущение сохранилось у него до сих пор.

Сейчас стоял июнь. Невский по вечерам был просто ослепителен: иностранцы, одетые с небрежной элегантностью, молодые длинноногие соотечественники и соотечественницы в

туго натянутых джинсах — все они вели себя здесь как дома: по-хозяйски толпились у дверей ресторанов, запросто останавливали такси, возбужденно переговаривались. Казалось, все тут знакомо между собой и в любой момент безо всякого труда могут сойтись и заговорить.

Обычно Павел Иванович двигался вместе с толпой, чувствуя себя равноправным участником этого праздничного шествия, шел не торопясь, одобрительно улыбался встречным молодым женщинам, в разговоры, правда, не вступал и знакомств не заводил, но отчетливо сознавал, что в любую минуту может это сделать.

Надо сказать, что в свои сорок с лишним лет Павел Иванович считал себя человеком, у которого самое главное еще впереди, а именно то, что принято называть «личной жизнью», которая у него по-настоящему еще и не начиналась. Так что в этом отношении он, и в самом деле, был на равных с джинсовыми юнцами, похожими на голенастых породистых щенков.

Время от времени судьба сталкивала его с разными женщинами, но все как-то не всерьез: возникнув, эти женщины очень скоро тихо и безболезненно исчезали — внезапно выходили замуж или просто вдруг переставали появляться и звонить. Никаких скандалов и объяснений ни разу не было, Бог миловал, и Павел Иванович, облегченно вздохнув, продолжал существовать вдвоем с матерью. С ней он привык обсуждать все свои проблемы, с ней обычно проводил отпуск: ездили на теплоходе по Волге, жили в Прибалтике у знакомой хозяйки, или (это уже в последние годы) отдыхали в семейном пансионате в Луге по путевкам, которые мать доставала за пятьдесят процентов на старой своей работе, в издательстве.

— Смотри, Павлик, — грозилась она иногда, — останешься один на старости лет. Сколько можно держаться за материн подол? Все ждешь Великую Любовь?

Павел Иванович отшучивался. Он прекрасно знал, что в глубине души мать довольна. И тем, что пока он «держится за подол» и - что ждет «Великую Любовь». Она сама всегда говорила: те, кто женятся или выходят замуж просто так, чтобы не быть одинокими, делают страшную глупость.

— Я уверена, что если бы не встретила твоего отца, всю жизнь была бы одна. Помнишь ту сказку? Ну, где каждый ищет свою половинку? Вот мы с отцом и были две половинки, а жить рядом с чужим человеком... Нет.

Итак, первая часть «восьмерки» — Невский. По многим причинам — самая любимая часть прогулок. Была. До совсем недавнего времени.

Как-то в конце мая, двигаясь в потоке людей, Павел Иванович вдруг ощутил беспокойство и раздражение: ему показалось, что он не понимает языка, на котором говорят вокруг. Невнятные, скользкие, быстрые фразы, едва взлетев, тут же рассыпались, точно бусы с лопнувшей нитки, слова стремительно и звонко отлетали в разные стороны. Он напрягся, пытаясь уловить, поймать смысл. И не смог. А прохожие обгоняли его, группами шли навстречу и взгляды их, натываясь на Павла Ивановича, скользили мимо, не загораясь и не задерживаясь. Он неправильно подумал про них — «прохожие», прохожим здесь был он, это были хозяева, местные жители Невского, его аборигены, а он — мореплаватель, потерпевший кораблекрушение, случайно выброшенный сюда, на чужую землю, где его вовсе никто не ждал. Беспомощно он оглянулся по сторонам и поймал в витрине свое отражение: плохо одетый пожилой дядька, с залысинами, с гримасой испуга на очкастом лице. Он растерянно стоял на тротуаре, а мимо него уверенно шагали красивые, взрослые, самостоятельные люди. И вдруг он понял: а ведь по возрасту большинство из них вполне могли быть его сыновьями и дочками.

С того вечера Павел Иванович всегда старался миновать оживленный участок Невского побыстрее и, свернув под арку Главного штаба, чувствовал облегчение. Дальше был сравнительно тихий участок — через площадь, по набережной Мойки к Михайловскому саду...

Сейчас Павел Иванович был в отпуске. Три раза в неделю он ездил к матери в больницу, каждый приемный день: в четверг, субботу и воскресенье. Больница летом выглядела куда пристойнее — старые густые деревья в парке, на клумбах —

веселенькие цветы, а к больным Павел Иванович уже притерпелся. Привык. И, смотря на них, не испытывал никаких чувств. Почти никаких.

Лечащий врач дал разрешение на индивидуальные прогулки с матерью. Это значило — вдвоем, без надзора дежурной сестры. Можно идти в любой конец парка, сидеть где хочешь и только к обеду вернуться.

Они часами бродили по аллеям от ворот до самого дальнего конца парка, где за проволочной сеткой стояли ухоженные, с побеленными стволами старые яблони. Павел Иванович вел мать под руку, она осторожно переставляла ноги, обутые в растоптанные больничные шлепанцы. Несколько раз он привозил ей из города туфли, но к следующему дню они безвозвратно исчезали.

Мать молчала. Он задавал ей разные вопросы: «Кто я? Как меня зовут? Сколько тебе лет? Как ты себя чувствуешь?». Она не отвечала ни слова. Потом уставала, начинала тяжело дышать и поминутно останавливаться, и тогда Павел Иванович вел ее в беседку.

Беседка стояла на бугре в центре парка, отсюда, сверху, хорошо видна была вся территория: больничные корпуса, окруженные зеленью, у каждого корпуса — свой загон, обнесенный невысоким, но глухим забором. В загонах ходили из угла в угол, беспорядочно бегали, сидели на траве, кричали, хохотали и плакали те, кто не имел права на свободные прогулки с родственниками, а может, и родственников уже не имел, да, скорее всего, и не нуждался ни в них, ни в прогулках. В одном из таких загонів Павел Иванович часто видел высокого, очень худого человека с коротко стриженными седыми волосами. Часами тот стоял неподвижно, запрокинув к небу бледное серьезное лицо, на котором застыло выражение сосредоточенного ожидания. Чего он ждал? Зачем так напряженно всматривался в раскаленную синеву? В его чертах не было ничего тупого или бессмысленного, только тихая, терпеливая внимательная надежда.

Мать не обращала внимания на загоны и их обитателей. Отсюда, с холма, где взгляду не мешала серая бетонная стена, далеко были видны поля, травянистые берега длинного озера, деревня на той стороне шоссе, полуразрушенная колокольня церкви. Мать все время пристально смотрела туда. И молчала.

Павел Иванович спрашивал доктора, отчего это. Тот пожимал плечами: нам она отвечает, односложно, правда, но отвечает. И слушается. Тихая старушка, можно бы выписать, но у вас ведь там коммунальная квартира, какая-то история с жильцами... Кстати, тут звонили, справлялись... Одним словом, ищите обмен, тогда возьмете мать. Как у вас там? Продвигается?

В два часа, сдав мать дежурной сестре, Павел Иванович шел к автобусу. Идти нужно было по тропинке мимо озера. В жаркие дни тут было много купающихся. Выкрики, плеск, солнце дробью бьет по воде. Жарко. Устал.

Он спешил домой, хотя спешить было бессмысленно. Незачем.

С утра начинались хлопоты по обмену — чтение объявлений «Ленсправки», беготня по адресам, бесконечная и бесполезная череда людей, приходящих смотреть его комнату. «Н-да, коммуналка, первый этаж, дом какой-то сомнительный, полуведомственный, не сегодня-завтра выселят к черту на рога...». День проходил в суете, и только вечером, когда хоть немного спадала жара, можно было, бредя по улице, спокойно подумать или просто посмотреть по сторонам.

И когда, покинув шумный, ставший чужим Невский, Павел Иванович сворачивал на Мойку, на душе его сразу делалось тихо и радостно. Ничто, даже музыка, не действовало на него так, как вид этих старых, чуть сутуловатых, плотно прижавшихся друг к другу домов, кажущаяся неподвижной вода за чугунной решеткой, светлое и теплое небо.

Дойдя до Михайловского сада, Павел Иванович делал там привал на скамейке у пруда. Темнеющий сад уже принадлежал парочкам и собакам. Первые, как им положено, целовались, вторые беспрепятственно скакали по газонам, норовили залезть в воду, игнорируя яростные окрики хозяев. Днем и тех и

других распугали бы бдительные пенсионеры, но сейчас они уже сидели у своих телевизоров, и в саду царил дух свободы и беззакония. И все-таки активные защитники приличий и общественного порядка изредка появлялись и в это время. Вон идет задрипанный, не вполне твердо держащийся на ногах служащий. Остановился, чтобы сделать замечание слишком откровенно ведущим себя влюбленным: «Наглость какая!». Поплелся дальше и — нет, вы подумайте, до чего дошли: «Эй ты, носатый! Ты почему пустил кобеля на газон, да еще без намордника? В милицию захотел?».

Это никакой не пенсионер, это ровесник. Насчет пенсионеров Павел Иванович давно решил: они, пожалуй, явление больше социальное, чем возрастное. А что? Это же не кто-нибудь, это состарившиеся неусмынные комсомольцы двадцатых — тридцатых годов, бывшие «молодые хозяйева страны», теперь оказавшиеся не у дел и с тоской глядящие, как все, чему была отдана жизнь, портится, разрушается, предается, ни у кого — ничего святого, мы в наше время — никогда бы себе не позволили. Одним словом: «За что отдавали жизнь?». Да. Со стариками более или менее ясно, но откуда это полицейское рвение у сверстников? И тут Павел Иванович, сидя на своей скамейке и слушая крики насчет личных собак и общественных газонов, вдруг подумал, что — оттуда же, откуда Аллины огурчики и новое эмалированное ведро, а именно — из пустоты душевной, из нереализованного, никому не нужного гражданского чувства. Сублимация. И ему вдруг стало жалко раскричавшегося защитника государственных зеленых насаждений.

Выйдя из сада, Павел Иванович медленно шел по каштановой аллее, ведущей от Инженерного замка к Манежной площади. Инженерный замок издавна нравился ему больше всех зданий в городе, и несчастный владелец чем-то был симпатичен. Несмотря на все, что о нем писали, Павел Иванович как-то по-родственному жалел своего курносого тезку.

У Елисеевского магазина он пересекал Невский, который к этому времени уже тускнел и начинал затихать, сменив толпу завсегдатаев на торопливых, случайных прохожих, тех, кто ни на других смотреть, ни, тем более, себя показывать не стремился.

Дальше предстояло пройти по прямой и пустынной улице Росси, через Чернышев мост, на Загородный.

Домой возвращаться сейчас — одно удовольствие: соседей нет, разъехались. Последнее время у них творилось что-то странное: Алла осунулась, ходила заплаканная, даже хозяйством пересала заниматься. На ее столе в кухне сутками копились немытые чашки. Валерий с работы приходил поздно, и однажды, столкнувшись с ним в коридоре, Павел Иванович вдруг увидел, что сосед пьян.

— Здрас-с... — сказал он Павлу Ивановичу, вдруг покачнулся, взялся за притолоку и тут же уронил на пол батон, который держал в руке.

— Порядок, — бормотал Валерий, нагибаясь за батоном, — полный порядок в вой-сках. Русский человек не повалявши не съест.

В этот момент в коридоре и появилась Алла. Подняв бровь, она усмехнулась и удовлетворенно кивнула:

— Напился. Молодец.

Тут Алла увидела Павла Ивановича и, повернувшись к нему, внезапно спросила, как здоровье матери. Павел Иванович холодно сказал «благодарю вас», она покраснела и шмыгнула в свою комнату.

Ночью за стеной кричали, Алла плакала; потом мимо комнаты Павла Ивановича протопали каблучки, и тотчас гулко захлопнулась дверь на лестницу. Появилась Алла только на завтра, поздно вечером, а через день собрала вещи и уехала к матери в деревню, о чем Павел Иванович узнал из громких переговоров в коридоре с подружкой.

Вскоре уехал и Валерий. В день отъезда постучал к Павлу Ивановичу и, переминаясь с ноги на ногу, поскольку ни войти, ни сесть предложено не было, произнес:

— Вот... отбываю в отпуск. Через два часа самолет, так что... просьба: будет письмо, перешлите, пожалуйста, — Сочи, до востребования.

Вот и у них жизнь пошла наперекосяк. Почему? Все не просто... Что ж, судьба, как в романах Диккенса, видно, сама распорядилась. Впрочем, если по совести, наказывать надо было бы не их...

Он с еще большим рвением взялся за обмен, но ничего не получалось. А может, он просто не умел этим как следует заняться... А чем умел? Чем?..

...«Восьмерка» занимала часа полтора, о многом можно было за это время подумать, но в конце пути тяжелые, неприятные, грустные мысли кое-как утихали, настроение делалось ровным, дыхание легким.

А на каштанах белели «свечи», пахло вянущей, недавно скошенной травой. Пахло городским летом.

глава восьмая

ПРОВОДЫ

Все дела кончены: возня с документами, маята на таможене, где громко причитала и норовила упасть в обморок древняя, совершенно библейская старуха. Ну, не вредная нация? Таможенники всего-навсего аккуратно вскрыли урну с прахом ее мужа, скончавшегося десять дней назад с выездной визой на руках. И зачем падать в обмороки? Подумаешь — исследовали пепел! А если там бриллианты или другие ценности, принадлежащие народу?

У Максима процедура досмотра прошла без инцидентов, а вечером того же дня состоялись проводы. Было шумно и даже натужно весело, если не считать слез Ирины Трофимовны и мрачных шуток Григория Марковича:

— Если б я знал, что Осюнчик организует тебе этот проклятый вызов, заблаговременно оторвал бы его глупую башку вот этими руками.

— Молчи,— всхлипнула Ирина Трофимовна,— сегодня последний вечер, не надо ничего портить. А тебе,— она повернула заплаканное лицо к Максиму,— тебе я желаю только одного: быть счастливым.

Гольдин хотел что-то возразить, но промолчал, отвернулся. Что уж теперь возражать, поздно. Было достаточно разговоров и чуть ли не полный разрыв. Еще бы: сумасшедший вздумал бросить Родину, которая его вырастила, все ему дала, а он, вилите ли, оскорбился из-за дураков, подонков, сидящих в этом паршивом институте. Да когда они умели ценить настоящую работу и умных людей? Нет, ты скажи — когда? Взять и искалечить себе жизнь! Свет клином не сошелся на лаборатории Кашубы, работу найти можно всегда... Брось! Не желаю слушать! Что значит — «нечем дышать»?! Всем есть, а ему нету... При чем здесь, скажите пожалуйста, второй сорт?.. Все, к твоему сведению, зависит от тебя самого. Трудись, и будешь не то что первым сортом, а экстракласс! Ландау, он что, был-таки второй сорт? Ботвинник — второй сорт? А Зельдович,

трижды герой? ...А вообще-то, отправляйся на все четыре стороны, но помни: будешь еще волосы рвать, чужая земля, она чужая и есть, там все будет не твое — и трава, и деревья... Слышали? Ему здесь плохо! А где хорошо? Евреям, заруби на носу, везде плохо. И всегда. Это такой народ, он иначе не может, тем только и жив, как ...как малина — ее ломают, она... Да что с тобой говорить... Не морочь мне голову! Это он мне будет рассказывать про историческую родину. Сам-то веришь в это? Выдумки и басни для таких лопающих, как ты... Видеть тебя не желаю, уходи и, пока не одумаешься, не смей являться!

Максим ушел, но дня через три старики приехали к нему сами, тихие и грустные, и Григорий Маркович больше не обличал и не ругался, сказал: «Смотри, твое дело. Каждый знает, что для него лучше. Мы, в конце концов, свою жизнь прожили. Нам казалось, что хорошо...»

С тех пор никаких споров и обсуждений больше не было, на проводах Гольдин весь вечер пил водку, быстро опьянел, и Ирина Трофимовна увезла его домой.

Теперь от проводов остались только немые рюмки на подоконнике, чужие рюмки, потому что подарены Гаврилову. Сам пускай и моет.

Все, что есть в этой комнате, кому-то подарено: тахта и стулья — соседям, подшивка старых журналов — их детям в макулатуру, книжный стеллаж и письменный стол еще позавчера увезены к Гольдиным. Остался торшер (завтра заберут), а также треснувшая кофейная чашка, какие-то кастрюльки в кухне. Граненый стакан.

Все кончено.

Даже письмо Алле в деревню Максим написал и отправил, написать было нужно. Больше месяца тому назад, еще в июне, Алла пришла к нему среди ночи — приехала на такси уговаривать. Говорила правильные вещи, про родину, про друзей, про ностальгию.

— Ведь пойми, — убеждала она, — ты же там просто не сможешь! Ведь ты советский человек, советский! А капиталистический мир — это, как ни говори... Пускай и у нас полно недостатков, но в конце концов, мы в них сами же и виноваты!

Не кто-то, а — мы: плохо работаем, пьянка у нас, воровство... Нет, нам обижаться надо только на самих себя — страна тут не при чем. И, согласишься, — как бы мы ни жили, но мы знаем, что это наша страна, а там ты будешь — кто? Я ничего не говорю, материально там, может, даже и лучше, и в магазинах все есть, и — сервис, но ведь найти работу у них — тоже трудно, а потерять легче легкого, так что уверенности в завтрашнем дне фактически никакой. А главное, вся их идеология, весь образ мыслей — не для нас! Там, по сути дела, все сводится к деньгам. Вот ты, например, — сможешь ты спокойно смотреть, когда один — миллионер, а другой — под мостом валяется?

— У нас тоже иногда кое-кто кое-где валяется, — усмехнулся Максим, — помнится, мой приятель Денисюк...

— Перестань! Не до шуток. Ты же губишь себя! Это ведь необратимо! Конечно, я верю: сейчас тебе обидно, но пройдет время... А если ты вообразил, что все кругом антисемиты, так это глупости! Разные люди бывают, много у нас еще и серости, и подлости... Но почему нужно обращать внимание на всякую... мразь? Вот некоторые не любят грузин, а я считаю — это очень талантливый и трудолюбивый народ, нельзя же судить обо всех по тем, кто торгует на рынке...

Максим молчал, а Алла все говорила, говорила... Она просила: утром, как только откроется контора, бежать вместе и брать документы назад. Пока не поздно.

А потом, через час, отчаявшись и отплакавшись, сказала:
— Я у тебя останусь. До утра.

Максим ничего не ответил, и тогда она сообщила ему, что уходит от мужа, потому что окончательно поняла, Валерий ей — чужой, она всегда любила, любит и всю жизнь будет любить только одного человека, Максима. Его это, разумеется, ни к чему не обязывает, но пусть она знает: стоит ему сказать одно слово, и она за ним — куда угодно.

Не сказал он этого слова.

В шесть часов Алла ушла. Глядя в окно, как она, вся съезжившись, в легком платье в синих цветочках пересекает под дождем пустырь, Максим подумал, что ей, наверное, сейчас очень тошно, и виноват в этом он. Вот она остановилась, что-то ищет в сумочке. Вынула носовой платок...

В письме Максим просил у нее прощения.

Когда Алла получит письмо, Максим будет уже там.

Чего же он все-таки не успел?.. Заплачено. Отослано. Получено. Сказано... Как будто все. А то, что не сделано, в последний день уже не сделаешь. Например, не поедешь на теплоходе по Волге, много лет мечтал. Не успеть и на речку Сестру за раками, ночью. Можно, конечно, попытаться, но рано утром — самолет, куда девать раков?.. Не побывать и на Байкале. На Сахалине. Также и в Средней Азии... Ничего, мечети и верблюдов он увидит, с верблюдами не все еще потеряно. А Север? Кольский полуостров? Полярный круг?.. Уходя, уходи. Уходи, понял?.. Колодцы, тропинки... А гору не хочешь? Высокая такая, наверху ворон. Забыл? А этой... пузырьщины, может, там и не будет, хотя... Впрочем, с того самого дня, как Максим отнес документы в ОВИР, он Василия Петровича больше не встречал. Зато выезд ему разрешили баснословно быстро — не иначе, поспособствовал добрый гений в сером костюме... Теперь-то думать больше не о чем, назад хода нет, отрезано... И если за столько лет никого из родственников найти не удалось, значит, уже не удастся. Все. У нас на свете только один родной близкий человек — Люция Лихтенштейн в городе Иерусалиме, любимая тетя, изобретение расторопного Оси. ...Ну, а сам ты кто? Как — «кто»? Мистер Ликтенштейн, так, во всяком случае, значится в паспорте.

Остаток ночи провел отвратительно, заснул на рассвете да тут же и проснулся: в ванной шумела вода. Вот болван! Не хватало еще затопить напоследок нижнюю квартиру! Пойти закрыть. Максим сел на тахте, зажег торшер, но шум внезапно стих, скрипнула дверь, и в комнате... появился этот... плоскобрюхий. Башка замотана полотенцем, сам облачен в старый Максимов халат. В очках. Проследовал в угол и с удобством устроился там на полу, завернувшись спиралью.

— Сейчас очень неплохо бы чашечку кофе, да... пожалуй, именно крепкого черного ко-о-фе, — мечтательно произнес он басом и кивнул Максиму.

— А... пива с воблой?

— Язвите. И напрасно, мой друг. Напрасно — ведь мое внезапное, так сказать, исчезновение принесло вам пользу, избавило от необходимости трудить свою совесть, занимаясь черт-те чем. Сами-то вы когда бы еще решились. Верно?

— Пожалуй. И что же?

— Эрго, все сложилось наилучшим образом. Во-первых, для вас: попадете туда, где, по вашему мнению, нет таких, как я. А еще — для бедной России. Ну-с... Отдохнете друг от друга, то есть — вы от тех, кто на работу не принимает, нехорошие слова говорит, а Россия... Россия, соответственно, от вас. Так что скатертью дорожка, воздух будет чище. ...Молчите? И правильно. А чтоб уж совсем не терзались в предчувствии будущей ностальгии, и еще добавлю: катитесь на землю предков, Макс Эльевич!.. Да, да, именно Макс Эльевич, а то у вашего брата вечно: Самуил Гиршевич — Семен Григорьевич, Аарон Хаимович — Аркадий Ефимыч... Вот ведь чужие вы здесь, Россию ненавидите, а так и норовите примазаться.

— Та-ак... Чужие. Ну, что ж, все, стало быть, путем, все верно... Ты что-то еще хотел сказать?

— Что ж... Валите отсюда, коли решили. ...Ну, а вдруг как и там, в какой-нибудь Америке или Австралии отыщется точно такой же... валерик? Они ведь повсюду водятся, как клопы. И, знаете, их тоже понять надо.

— Чтобы простить?

— Ох, ироничный вы народ! Прямо как в том анекдоте. Ну, помните, как еврея распяли на дверях при погроме? Приколотили гвоздями руки-ноги, висит он, голубчик, — все путем, а сосед его, значит, и спрашивает: «Что, Мойша, больно тебе?». А у того губы черные, еле шевелятся. «Да нет, — отвечает, — не очень. Только, когда смеюсь...». Нет, родной мой, прощение ваше нам, валерикам, без надобности, а вот понять — другое дело. В самом деле, представьте: живет... некто, икс, живет он себе, и все у него как-то не так... криво, не ладится,

неудача за неудачей. Так-с... Кто же виноват? Сам он, что ли? Еще чего! Это уж, знаете, чересчур большое мужество надо иметь, чтобы признать такое. Нет, он не виноват, он — жертва. Но, если жертва имеется, где-то же должен быть и палач верно? Где? Кто? Может, судьба? Раньше все принято было на судьбу пенять. Можно, конечно, и на власть... да только боязно. А вот на соседа — сколько угодно, и уж если сосед какой-нибудь... чучмек, хохол или, еще лучше, жид — тут вообще полный порядок. Жид — он, конечно, больше всего подходит. Почему? Да полно вам отворачиваться — тоже вот не любите правды, а на других обижаетесь... Да потому, что тех — украинцев, казахов там, армян — тронешь, — а они — в поезд и тютю к себе домой. А еврейской морде куда деваться? Русскому еврею? У которого тут и дом, и мама, и папа, и могила прадедушкина? Ему — куда?.. То-то... Так что можно безнаказанно покуражиться, от души. За все неудачи и собственные унижения. Мы здесь законные хозяева, а ты, пархатый, из милости живешь! Пусть ты хоть профессор, а я простой шкуродер с бойни, а захочу и... укажу на дверь!.. Согласны вы со мной, Максим Ильич?

— Закругляйся. Ни к чему все это. Решено. Кончено.

— Так и я потому, что решено. Только повторяю: валерики, они не в одной России живут, и у них там свои «чучмски», «кацапы», «нигтеры», ну, а жида — само собой.

— Черт с ними, перебьюсь.

— О-о, вот это уже интересно. Там, значит, перебьетесь, а дома — ни в какую?.. Можете не объяснять, сам все понимаю, дайте кофе, сил больше нет.

Пока Максим готовил кофе, Червец осваивал квартиру — двигал зачем-то тахту, зажигал и гасил в комнате свет, заглянул в кухню: «Не надо ли помочь?», вернулся в комнату и крикнул оттуда, что решил пока что позавтракать лампочкой из торшера — надо же что-то кушать в этом негостеприимном доме! После чего громко захрустел, а покончив с лампой, принялся противно насвистывать. Получил, наконец, свой кофе, уселся на прежнее место и завел нуднейший разговор о поэзии

— он, мол, не любит сложных стихов, известно же, что поэзия должна быть глуповатой, и это верно, очень даже верно, поймите!

Максим молча прихлебывал кофе, от которого в голове, вопреки ожиданию, полз какой-то туман, временами чудилось, будто никакого Червеца в комнате нет, Максим лежит на тахте, спит, хочет проснуться, но не может, а в незанавешенное окно давно уже светит солнце, пора вставать.

— Ну что? Успокоил я вас? Не мечетесь больше... Конец сомнения?

Максим тряхнул головой, потер ладонями виски — все на местах, вот он, Червец, — развалился в углу, а за окном в самом деле светает, но никакого солнца, напротив — вот-вот пойдет дождь; вдалеке, за домами, безмолвно посверкивает прямая тонкая молния.

— А хотите, объясню, в чем заковыка? — задушевно спросил Червец. — Почему на американского антисемита или на израильского фанатика, который обязательно станет кричать вам: «Чужой! Советский! Пошел вон!», вы особого внимания не обратите, поскольку «перебьетесь», а от бедного валерочки аж в глазах темно?

Максис молчал. Дождь уже шел, молнии сделались ближе и ярче, сухой, короткий гром сопровождал их с небольшим отрывом.

— А оттого, родной мой, оттого у вас темно в глазах, что обидно уж очень. Ведь тому дураку, ну — из Америки или Израиля, вы и в самом деле — чужой, пришлый. А Валерик — он свой. В чем и дело.

— Да отвяжись ты. Ну, чего пристал? — угрюмо произнес Максим, не шевельнув онемевшими губами. — Ради правды. Исключительно ради нее... Максим Ильич. Свои они, и Валерик, и Пузырев тот же. Подлые, мерзкие... да свои. И ведь Вы им тоже свой, вот парадокс... А, что главное, та земля, с которой они вас гонят, — тоже ваша. Ваша. Не меньше ваша, чем их. Хоть в Антарктиду бегите, меньше русским вы от этого не станете... Нет! Вы уж не отворачивайтесь! Вы представьте только: живет человек в семье — вот отец, вот мать, вот братья,

хорошие, там похуже — не важно, братья. Живет это он себе, живет, и вдруг в один прекрасный день кто-то из братцев ему — хрясь: «Ты нам не родной, подкидывай ты. Погляди: мы же все блондины, ты один рыжий, из милости тебя держим, а теперь надоело, так что катился бы ты из нашего дома куда подальше — воздух будет чище!» Каково? И куда ему, бедолаге, катиться, если другого дома у него на всей земле нет? Куда идти? Рыжих искать?.. Вот и «чужие»... И — «Россию ненавидите». Какая тут ненависть, милый мой, тут любовь... неразделенная. Вот оно что.

— Убирайся отсюда со своими проповедями!

— Ишь ты! Забрало. Больно, да? Все. Молчу. ...Водки нет у тебя?.. Что, выпил всю? Эх, ты... А еще говорят — вы не пьете... Ладно, уйду. А все же на прощанье позволю тебе заметить: в России не одни пузырьеры живут с валериками, слава Богу, не одни! Не то был бы полный, как говорится, завал, уж давно бы всем подряд анализ крови сделали и всех инородцев — за ворота.

...На этот раз сон навалился всерьез. Дождь начался и кончился, с улицы в открытое окно плыл туман, голос Червеца звучал все слабее, слабее...

Прснулся Максим с тяжелой головой — много выпил накануне. Открыл глаза, обвел взглядом комнату. На полу чашка из-под кофе, возле тахты стакан...

Начинался последний день.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

Утро последнего дня было очень жарким и синим. (Там будет жарче и синее...).

Максим вдруг понял, что обязан сейчас поехать к Вере, надо проститься. Зачем? Неизвестно. Но — надо. Тем более, что делать ему, как выяснилось, просто нечего.

Кашуба вчера все-таки пришел. Сидел, помалкивал. Выпил коньяку. Когда Макс спросил, как дела у Веры, весь перевернулся, буркнул несколько слов и вскоре стал прощаться. Паршивая и у него жизнь, не нам его судить. Да, дела... «Суицидная попытка в состоянии опьянения». Надо поехать.

Пока Максим собирался, пока выстаивал очередь за сливами да искал цветы, время перевалило за одиннадцать (до вылета двадцать часов с небольшим), и жара набрала полную мощность. В переполненном вагоне электрички нечем было дышать.

Больница оказалась черт-те где, за Гатчиной, и, узнав в справочном бюро на Невском, как туда добираться, он чуть не отказался от своего намерения. Но впереди лежал бесконечный день, пустой и уже ненужный, в этом дне Максим был посторонним, как в своей разоренной квартире. Да и сливы, черт побери, куплены.

Поехал.

...Ничего, это еще не жара. Настоящей жары ты, брат, не видел. Ужо увидишь. На днях. Завтра будет голубой Дунай — сказка венского леса. Потом — Средиземное море. Сейчас это всего лишь ярко-синее продолговатое, не очень большое пятно на карте, а через несколько дней можно будет запросто войти в него по пояс и поплыть... в сторону Африки... Будут бедуины в ночные бары. Экзотические красотки. И когда-нибудь — непременно Париж. Монмартр, кафе, вдруг — Боже мой, какая встреча! Евдоким Никитич, сколько зим? Ах, конгресс? Вот совпадение. Представьте, я — тоже. Послали. Не посмотрели на пятый пункт. Да, да, делаю доклад...

За пыльными окнами плыли пустыри, тянулись пригороды и дачные поселки с обязательными кустами желтой акации у станционных построек. Возле дверей приземистого здания с надписью «Раймаг» мужик в темной от пота майке пил, запрокинув голову, прямо из бутылки. Рядом нетерпеливо переминались еще двое. Поодаль, в затылок друг другу, стояли три одинаковых трактора.

Белый грязный петух преследовал пеструю курицу. И настиг.

В маленьком круглом пруду яростно плескались мальчишки.

Желтая собачонка гналась за автобусом, тяжело ковыляющим по раздолбанному проселку. Собачонка свирепо разева-ла пасть, но лая слышно не было.

Старая женщина с отечными, в синих венах ногами брела вдоль насыпи с двумя полными сетками. В одной из сеток блестел громадный арбуз.

Оказалось, что от Гатчины до больницы — еще километров двадцать. На плавающей привокальной площади Максим сел в такси.

...Восемнадцать часов осталось, это — две трети суток. В большом парке Максим легко отыскал нужный ему корпус и вошел наконец в прохладный, пахнувший дезинфекцией коридор. Дверь с табличкой «7 отд.» оказалась запертой изнутри, и он нажал черную кнопку звонка.

Потом позвонил снова. Послышалось шарканье, скрежет ключа, и на пороге появилась немолодая медсестра с узкими раскосыми глазами на скуластом лице. Белая крахмальная шапочка на ее голове напоминала рогатую немецкую каску времен первой мировой войны.

— К кому? — хмуро спросила сестра.

— Кашуба Вера Евдокимовна.

— Нельзя, — отрезала она, — в день — одно свидание, а у нее уже были. Отец. А вы кто ей будете?

— Да так... Знакомый.

— Знакомый... — сестра сверлила Максима глазами. — Нельзя. Если родственники, тогда еще... Или муж, — во взгляде светилось любопытство. — А сейчас вообще обед. Потом «тихий час».

Наверное, надо было сунуть ей рубль. Раньше Максим так бы и поступил. Или начал бы говорить комплименты и охмурил. Или сообщил: представьте себе, приехал к родной сестре на полчаса из Байконура, завтра — в полет. Но сейчас у него, как это часто случалось в последнее время, одеревенели мысли.

— Передайте, — понуро произнес он, протягивая сестре кулек со сливами и цветы. — Всего доброго.

Сестра явно не ожидала такого оборота, готова была к длинному диалогу, — ее будут умолять, она, торжествуя, отказывать, а потом, кто знает... Она растерялась.

— От кого хоть? Молодой человек! Что сказать? От кого передача? Кто приходил?

— Знакомый. Передавал привет, — повторил Максим.

Нельзя так нельзя...

Жара за эти несколько минут ухитрилась сделаться еще злее. Не спасала даже тень старых деревьев.

Возле корпуса мерзко пахло щами и тухлой рыбой. Двое рослых парней со слепыми лицами подкатили к дверям тележки, на которой тошнотворно дымился большой алюминиевый бак. Максим побрел по аллее к выходу. На клумбах улыбались веселые цветочки — «анютины глазки». Интересно, что было здесь раньше? Похоже, барская усадьба, — главный корпус с колоннами напоминает господский дом. А теперь вот — клиника для душевнобольных. Бедлам. Психушка.

Аллея поднималась на холм, где в круглой беседке сидела какая-то пара. Мирная картина, прямо девятнадцатый век: старинный парк, беседка, поля кругом, вон озеро, а за ним — деревня. И даже церковь. Правда, без креста... остается еще семнадцать часов тридцать пять минут... Что он там рассматривает?

Высокий человек с седыми волосами неподвижно стоял в небольшом загончике, обнесенном низеньким дощатым забором. Голова его была запрокинута, взгляд устремлен в небо. Максим тоже поднял голову. Над парком важно проплывал большой бумажный «змей», слегка покачиваясь в неподвижном воздухе. Длинный и широкий, как полотнище, хвост его почти доставал до верхушек деревьев. «Змей» скрылся за главным корпусом. Высокий человек продолжал, не отрываясь, глядеть ввышину.

...А ведь еще месяц этой пузыревской вакханалии — и загремел бы сюда, как миленький, очень свободно. Выяснилось, что вы не титан духа, рэб Лихтенштейн, так что не в куске хлеба тут дело, можно было бы, в конце концов, устроиться по протекции гольдинского дружка Андрея Соловьева в Трамвай-

ное управление, а там глядишь, нашлось бы что-нибудь попримечательнее. Нет, не в куске дело, просто — осознанная необходимость. Гора. Кто желает ее устроить и укреплять — на здоровье. Еще — валерики. А у нас вот кишка оказалась тонка. Достаточно. Поигрались, — и будя, кислород кончился.

Про кислород Максим сказал вслух, услышал собственный голос, вздрогнул и поднял голову. Он стоял около беседки лицом к лицу с худым мужчиной, держащим под руку старуху в больничном халате. Сквозь старомодные круглые очки мужчина смотрел на Максима с тем неопределенным выражением, какое бывает у очень застенчивых людей при встрече с мало знакомыми: готов улыбнуться или, наоборот, сделать равнодушное лицо и пройти мимо.

Максим улыбнулся первым. Он сразу узнал этого чудака — именно к нему в квартиру забрался как-то ночью проклятый Червец. Было это зимой, очень давно. Максим тогда еще героически трудился на поприще дворника, посильно возводил гору, был умнее всех...

— Здравствуйте, — с внезапной сердечностью сказал Максим и пожал растерянную руку, — тесен мир, вот где встретились.

— Очень рад. Я вот тут... — (А он ведь и в самом деле был почему-то рад, даже покраснел).

— Ваня! — вдруг громко и отчетливо позвала старуха, до тех пор стоявшая тихо и безразлично. — Иван Николаевич!

Она неотрывно смотрела на Максима, и подбородок ее дрожал.

— Господи... Ваня...

— Что, мама, что? Что ты хочешь сказать? — Павел Иванович обнял мать за плечи, но она его не слышала. Не сводя глаз с Максима, твердила: «Ваня, Ваня, вот ты где, Ваня», — и по щекам бежали слезы, и не только подбородок, все ее слабое тело дрожало.

— Ваня, ведь это чудо, — вдруг совершенно осмысленно сказала старуха Максиму и вытерла слезы, но тут, откуда ни возьмись, возникла давешняя сестра — потомок Чингисхана в немецкой каске — и, яростно ругая Павла Ивановича — «не

привели к обеду, бегай за каждым, скажу Юрию Петровичу, запретит, безобразие, она у вас возбуждена», — железной хваткой взяла старуху под руку и повлекла по дорожке к корпусу.

Старуха не сопротивлялась, послушно семенила рядом, продолжая время от времени слабо повторять:

— Ваня! Как же так? Ваня! Иван Николаевич?..

Павел Иванович с Максимом молча шагали к автобусной остановке. Солнце зашло за большое темное облако, сделалось прохладно, вдали опять бормотал гром. Оставалось шестнадцать часов сорок восемь минут... У озера торопливо одевались и собирали свои вещи купальщики.

— Не понимаю, что это с мамой сегодня, — сказал Павел Иванович, и у него дернулась щека, — целый год ни одного слова... Иваном Николаевичем звали моего отца...

Максим не отвечал, он все еще видел перед собой эту старуху, слышал ее голос.

Пошел пустой автобус, и они сели. В открытое окно дуло, летела пыль.

Зеленые крупные яблоки висели в садах вдоль дороги.

Приземистая собачонка, вроде той, что лаяла давеча на автобус, моталась на цепи возле будки. «Местная порода, — подумал Павел Иванович, — вон еще одна, такая же, лежит на боку в пыли у обочины. Какой-нибудь низкорослый, но боевой красавец-нахал развел здесь целое племя».

Максим собачонки не видел, он смотрел на «змея». Это был тот же воздушный «змей», что пролетал над больничным парком. Сейчас он двигался вдоль шоссе вровень с автобусом, далеко распустив по ветру свой белый хвост.

Рядом взволнованно и сбивчиво говорил Павел Иванович:

—...столько горя. Война, оккупация, сперва — брат, потом — отец... И вот теперь — эта больница...

— Да, конечно, я понимаю, — рассеянно сказал Максим, не отрывая взгляда от «змея», который вдруг сделал в воздухе большую петлю и стал стремительно уходить вверх. Павел Иванович сразу замолчал.

Когда они подъехали к станции, погода совсем испортилась, стемнело, вот-вот должен был хлынуть дождь. Павел Иванович сказал, что ему нужно тут задержаться — есть дело в Гатчине, и, простившись с ним, Максим сел в первый вагон.

Павел Иванович направился к последнему, ругая себя за болтливость и назойливость: полез изливаться к незнакомому, в общем, человеку, наречь симпатичный и вроде бы действительно чем-то похож на отца... (Какой, однако же, странный «змея», висит в воздухе совершенно неподвижно, как приклеенный... На молодого отца с той фотографии, которую переслали уже после войны, отец снят в белом полушубке около какого-то орудия. Надо найти в альбоме, посмотреть...).

Чувство одиночества и неприкаянности налетело и ударило с неожиданной силой. Конечно. Матери, прежней матери, нет больше, не будет никогда. Напрасно он откладывал, копил самые важные свои мысли, серьезные разговоры до того дня, когда она вернется домой. Она не вернется. Даже... даже если сегодня, сейчас же забрать ее отсюда, даже если произойдет чудо и он выменяет на свою комнату отдельную квартиру! Конечно...

И никто не вернется — ни дед, грустно и укоризненно глядящий с портрета, с которого Павел так старательно стирает пыль... Ни Генка, младший брат... сейчас он был бы уже взрослым человеком... Ни отец... Павел Иванович плохо помнил их всех, особенно отца с Генкой, и только в больном меркнувшем сознании матери жили они, не меняясь, не старея, такие же, как когда-то. Они оставались живыми для нее, такими же реальными, как он, Павел... Но она никогда больше не расскажет ему о них... В груди жгло. Опять... Павел Иванович вдруг вспомнил, что похожее ощущение заставило его проснуться сегодня на рассвете. Скрипнула дверь, приоткрылась, и в комнату, огибая стол, вполз белый плоский червяк. Вполз и решительно двинулся к окну, точно на полу раскатывали ковровую дорожку. Странно — в полумраке Павлу Ивановичу показалось, будто голова червяка обмотана махровым полотенцем. Но вот она нырнула под плинтус. Червяк уползал, укорачивался и, наконец, исчез совсем. И от этого почему-то тоскливо и болезненно сжалось сердце. Вот как сейчас. Ударил грохот. И

еще раз! А сразу за ним — огонь! Огонь везде, но больше всего — в груди, в верхней ее части. Это пожар, бомба попала в дом! Сейчас Павел поднимется и выбежит на улицу, а там... Там — воронка, в ней — никого, нигде — никого. Он один.

Как душно в вагоне... И тоска, такая тоска...

Шестнадцать часов до вылета. Дождь шел уже вовсю. В последний раз бежали за окнами блестящие зеленые пригороды.

Мелькнули две березы с натянутыми между ними гамаком. Мокрая девочка с загорелыми ногами взлетала вверх, подставив лицо дождю.

Взлетела.

Навсегда.

ЭПИЛОГ

Последний круг над аэродромом. Над Киевским шоссе с крошечными автомобилями и автобусами, с невидимыми людьми, едущими в них, чтобы через пятнадцать минут оказаться в городе. А вот и он — город: белые кубики новостроек, блестящий купол Исаакия. И сразу — плоская, снежная равнина Финского залива, а дальше — ворсистая и белесая облачность. Все. *Ladies and gentlemen, our plane...*

Дамы и господа в салоне молчали. Сидели, послушно пристегнув ремни, и испуганно привыкали к надписи на табло «No smoking». «Не курить» — это уже не для них было написано.

Хотелось курить.

Стюардесса, сияя, сообщила, что самолет набрал высоту восемь тысяч метров.

Стекло иллюминатора покрылось инеем — белыми блестящими звездами (идеальная кристаллическая структура). Потом звезды исчезли, и среди ослепительной жесткой синевы Максим увидел гору. Он впервые видел ее вблизи, огромную, угрюмую, комковатую, всей своей глухой, темной массой придавившую землю. Толстый ворон, сидя на самой вершине, лениво ковырял клювом перья. Заметив самолет, нехотя взмахнул крыльями, поднялся и вяло полетел. Он летел совсем

рядом, так что Максим мог разглядеть грозный клюв и блестящее, точно стальное, оперение. Приблизившись к иллюминатору вплотную, ворон скосил глаз, скверно ухмыльнулся, подмигнул, начал отставать. И вскоре вовсе исчез из вида.

А поверхность горы стала вдруг как будто истончаться. Контуры земного ландшафта под ней, сперва слабо наметившись, с каждой секундой проступали все уверенной и четче.

Максим видел теперь лес, знакомый, простодушный лес, тот, что в Смердовицах за рекой, — воробей вспорхнул с ольхи и улетел, а ветка все качается, на матовой изнанке одного из листьев отчетливо видна круглая дырка — гусеница проела. Песчаный пригорок, поросший вереском. Дятел в красных подштанниках сосредоточенно долбит сосновый ствол...

...Босая девочка в синих тренировочных штанах, торчащих из-под короткого ситцевого платья, склонив к плечу белобрысую голову, доплетает косичку. Она стоит у калитки в конце пустой деревенской улицы. Улица упирается в волжский обрыв, под которым медленно плывет вдоль берега береза с бессильно раскинутыми, еще зелеными ветками и перепутанными, вывороченными корнями. Высокий был в этом году паводок, держался до середины лета, многим деревьям подмыло корни. Девочка не смотрит на березу — громкая музыка доносится с середины реки, с нарядного, трехпалубного, белого парохода. Девочка доплела косу и завязала на конце розовый бант.

...Возле здания аэропорта Ирина Трофимовна Гольдина никак не может найти в сумочке валидол, роняет на асфальт ключи, мелочь и плоскую синюю пудреницу. Рядом беспомощно суетится Григорий Маркович, наклоняется поднять ключи и с хрустом наступает на пудреницу.

...Профессор Кашуба, сидя за столом в своем кабинете, поминутно вытирает с башенной лысины пот. В руке его пляшет телефонная трубка.

— В местных командировках... Да, — уговаривает он трубку. — Именно. Именно, все... Да, с моего ведома... И Гаврилов тоже, и он... А в чем, собственно, дело, Василий Петрович? Кажется, трудовая дисциплина в моей лаборатории пока еще

вне вашей компетенции, и прошу иметь в виду, что в условиях развитой научно-технической революции, когда принципы единоначалия и демократического централизма поставлены во главу угла, все мы, как никогда, в неоплатном долгу...

...Молча, не чокаясь, пьют находящиеся в «местных командировках» и неоплатном долгу сотрудники лаборатории. Все они сидят в аэропортовском буфете, и Лыков, вынув из вишневого сверхэлегантного портфеля бутылку, разливает водку («Русскую» — 4 руб. 42 коп.). Буфетчица за стойкой делает вид, будто никакого безобразия не происходит.

...В воде медленной речки, такой медленной, будто она и вовсе не движется, двое мальчишек в по пояс мокрых, кое-как закатанных штанах застыли с удочками, уставясь на неподвижные поплавки. На лоб одного из мальчишек села синяя стрекоза...

Молодая женщина в нарядном городском платье идет босиком по проселочной дороге. Маленькие, почти детские следы глубоко впечатываются в горячую, мягкую пыль. В одной руке женщины — туфли — сумочка. По обе стороны дороги — пшеничное поле.

Дорога, не спеша, взбирается на небольшой пригорок, где в темно-зеленой тени старых кладбищенских деревьев среди разросшихся кустов сирени и шиповника застенчиво белеет деревенская церковь.

Пусто на кладбище. Искусственные венки выгорают на солнце. Женщина входит в ворота. Отряхнув ступни от пыли, она надевает туфли. Потом достает из сумки ситцевый платок и повязывает на голову, туго затянув узел под подбородком.

Внимательно посмотрев по сторонам, женщина приближается ко входу в церковь. Здесь она останавливается, оглядывается еще раз, потом решительно, хотя и неумело, крестится.

И, склонив голову, скрывается внутри...

...Гора рассеялась полностью. Ветер относит вправо последние клочья, похожие на паровозный дым. И совсем ясно и отчетливо видит Максим худого человека в старомодных очках на загорелом, очень усталом лице. Человек сидит на диване в почему-то знакомой темноватой комнате. Что он делает?

Смотрите, пожалуйста: изучает семейный альбом. У него, у счастливица... да! счастливица! — мать. Конечно, больная, но — живая, ее наверняка можно вылечить... У счастливица все как положено: прабабушка, прадедушка. Дедушка в докторском халате со стетоскопом на груди. Шестнадцатилетняя бабушка в пелерине институтки. Еще какой-то родственник — с усиками, не иначе — белый офицер. Уж не погромщик ли?.. Человек нетерпеливо листает альбом, усатый погромщик ему, похоже, до фени. Нашел. Вынул какой-то снимок, поднес к глазам. Черт близорукий, мало ему очков, все загородил, не поймешь, кто у него там, на карточке! Зато видно, как со страницы открытого альбома изумленно таращит темные глаза кругломордый младенец в капоре.

...Павел Иванович рассматривает фотографию отца, последнюю его фотографию, — уже после войны переслали однополчане. Отец в белом полушубке стоит возле пушки. На обороте — рукой матери: «Январь 1942 г.». Вчерашний парень, в самом деле, поразительно похож: тот же разрез глаз, и губы. И прямой нос с едва заметной горбинкой.

Павел Иванович встает и подходит к отцовской фотокарточке, висящей на стене. Пожалуй, и тут что-то есть... Выражение, овал лица. Но особенно — выражение. Прямо неправдоподобное сходство, как это он сразу не заметил? Вот бы показать ему. Он же тут работает, рядом. Непременно надо показать...

Младенец в капоре с грустным удивлением смотрит из альбома на старшего брата.

Младенца звали Геннадием. Генкой. Он очень громко кричал по ночам, а днем спал. Он погиб в восьмимесячном возрасте под бомбежкой, в самом начале войны, в Минске, откуда Павел с матерью так и не успели эвакуироваться, вернулись к деду, в село.

Павел Иванович плохо помнит тот день, помнит только, как они выскочили на улицу, мать тащила его за руку, а баба Лиза, соседка, несла орущего брата. Помнит, что они потеряли друг друга в толпе, был грохот, пыль, воронка, мать упала... Бабу Лизу так потом и не нашли. И Генку не нашли.

Ночью, как раз накануне, Павлику приснился страшный сон: огромная, белая и плоская змея заползла в комнату. Он пытался закричать, но не мог, и проснулся от взрыва. Кругом грохотало, в окно виднелось зарево. Вопил Генка, а мать укачивала его, взяв на руки.

Брата, конечно, искали. И тогда, когда мать пришла в себя после бомбежки, и потом, уже после войны. Искали через милицию, по радио. «Смирнов Геннадий Иванович, год рождения 1940, уроженец Ленинграда. Русский».

Павел Иванович осторожно кладет отцовскую карточку на место и закрывает альбом...

А Максим видит парк и в глубине его — серое здание. Окна в этом здании забраны густыми металлическими сетками, а на первом этаже еще замазаны до половины белой краской. И все же, если взглянуть как следует, можно рассмотреть старуху, неподвижно сидящую на краю узкой железной койки. Старуха о чем-то усердно думает, покачивая седой нечесанной головой.

— Ваня? — негромко спрашивает она. — Ты, значит, жив? Жив, Иван Николаевич?

Самолет летит на высоте девять тысяч пятьсот метров...

...Душно. Наверняка опять будет гроза. Павел Иванович расстегивает воротник рубашки, вытирает лоб. И вдруг на полу рядом с диваном видит выпавшую из альбома фотографию. Видит и наклоняется поднять.

На старой этой потемневшей фотографии — солдатский обелиск со звездой, а вокруг — поле.

...Самолет на мгновение сверкнул над полем и исчез. Ветра нет. Неподвижная трава, поднявшаяся чуть ли не до половины обелиска. Неподвижны серые метелки, и клевер, и лиловая путаница «мышинного горошка».

А земля здесь мягкая, сухая и теплая. Соленые песчинки липнут к губам Максима, скрипят на зубах, забиваются под ногти. И никак не оторвать лица, груди, ладоней, не выпрямить скрюченных пальцев, вцепившихся в гибкие прочные стебли.

— Ladies and gentlemen, our plane has just crossed the border of the Soviet Union.

...Двое санитаров с трудом удерживают худую высокую старуху. Голова ее запрокинута, седые волосы рассыпались по спине. С нечеловеческой силой старуха рвется к дверям и, не замолкая ни на секунду, пронзительно кричит. Она кричит так громко, что слышно во всех этажах серого кирпичного здания с густыми сетками на окнах:

— Павел! Гена! — кричит старуха. — Павел! Гена! Дети мои!..

1979-1987

РАССКАЗЫ

ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА

Когда инженер Иванов обнаружил у себя на антресолях эту лампу, он, конечно, и в мыслях не имел, что она сыграет такую роль в его дальнейшей жизни, иначе без промедления вынес бы ее на помойку или, в худшем случае, оставил продолжать пылиться среди хлама.

Увы! Ни первого, ни второго не сделал горемыка Иванов, а, напротив, вытащил лампу из груды старья и обтер с нее пыль.

Как хорошо и спокойно живется тому, кто переехал в наш город издалека, из какой-нибудь буколической сельской местности, где кругом ручейки да пригорки! Простившись с пригорками, он вселяется в новую квартиру, и сравниться с ним по везению могут, пожалуй, только здешние уроженцы, чей дом обветшал и поставлен на капитальный ремонт, а жильцы, погружив свои вещи в фургон «Трансагентства», едут продолжать жизнь в только что построенном современном доме где-нибудь в Веселом поселке или там, где Теплый Стан переходит в Ясенево, одним словом — севернее Муринского Ручья. Это далеко, зато со всеми удобствами, но речь не об удобствах, а о хламе. Хлам, как правило, накапливается в каждой семье, прожившей на одном месте столько лет, что дедушка, прадедушка и прапрабабушка здесь родились, выросли, жили и умерли, а ведь каждый из них, в силу отсутствия телефона и телевидения, приобрел за свою жизнь громадное количество писем, фотографий, книг, дневников, шляп, засушенных подвечных цветов, и вот, поглядите: даже лампу с кружевным абажуром, похожим на паука, — ровесницу электрического освещения. Выбросить это добро рука не поднимается и не поднимается, и только тогда, дрогнув, поднимется, когда толкнет ее непреклонная необходимость в виде двух новеньких сугубо смежных комнат со встроенными шкафами, расположенными очень удобно и рационально и дающими весьма высокий технико — экономический эффект, если иметь в виду все, что угодно, кроме хранения бесполезных и вредных: у ребенка аллергия! остатков прежней, так сказать, роскоши. «Кто старое помянет, тому глаз вон!» — вот девиз этих сверка-

ющих квартир, но Иванов-то, Иванов наш, к несчастью, жил в старой, даже, можно сказать, старинной квартире на редкость кражистого дома, о котором и думать смешно, что ему когда-нибудь может понадобиться ремонт.

Итак, Иванов достал с антресолей лампу, в древности принадлежавшую кому-то из предков. Он задумал поставить ее на журнальный столик, так как был человеком современным и не чуждым моде, а, согласно ей, считается очень красивым выставлять на видные места ископаемые вещи, извлеченные из сундуков и кладовок или даже купленные, причем иногда за такие деньги, что рухлядь при этом автоматически приобретает ученое звание «антиквариат».

Ввинтив в патрон стосвечевую лампочку, Иванов тут же включил штепсель в розетку и был поражен. Конечно, он не понял, что лампа волшебная, сперва подумал: «Ах, черт возьми, какой же сегодня отличный день. И вообще...». А может быть, и не это он вовсе подумал, а просто взглянул в окно, был восхищен великолепной погодой и теми соображениями, что завтра погода непременно станет еще лучше. А потом он посмотрел в зеркало и увидел свое симпатичное, умное и благообразное лицо.

А потом ни с того, ни с сего, вспомнил один анекдот и громко захохотал, после чего не очень громко, но отчетливо запел популярную песню «К нам любовь пришла неожиданно». Тут как раз пришла его тетка.

Эта тетка, вполне безобидная с виду старушка, жила в убеждении, что является утонченной пожилой дамой с прошлым. Войдя в комнату и негодуя остановившись в дверях, она молча смотрела на разухабистого племянника, и в глазах ее ясно читалось: «Что за вкус! Что за моветонские манеры?! Что за поколение выросло?!».

Иванов поймал этот взгляд и в ответ радостно ухмыльнулся. Вместо того, чтобы привычно отметить сходство тетушки с Бабой-Ягой, он подумал, что надменным и загадочным выражением лица она даже напоминает ему какую-то прекрасную незнакомку. Может быть, Крамского? Или, напротив, Блока? Да какое это имеет значение — и так, и так красота!

Он искренне любовался старухой, а та, стоя в дверях, залитая светом лампы, продолжала преобразаться. Сперва на ее лице проклюнулась непривычная, а поэтому нерешительная улыбка, которой вначале было явно неуютно, но потом она, то есть улыбка, освоилась и расположилась по-хозяйски, придав старухиной физиономии как бы некоторую удаль. Глаза заблестели, брови поползли вверх, и, подмигнув ошарашенному племяннику, тетя грациозно ступила в комнату и поплыла в каком-то странном танце, взмахивая руками, как будто она лебедь или по, крайней мере, морская чайка.

— Вот так номер, — пробормотал Иванов.

— Чтоб я помер, — скромно, но кокетливо парировала старуха, продолжая свой танец. И пояснила:

— Вальс-гавот. Кстати, для чего ты выволок на свет божий эту ружлядь? — с изысканной улыбкой спросила она, указав на лампу.

— Для моды, — объяснил племянник, и тут они с теткой весело рассмеялись, а когда она кончила танцевать, сели пить чай с вареньем и медом; по телевизору же в это время шла передача «Спокойной ночи малыши», удивительно увлекательная, забавная и интересная. Короче говоря, вечер удался.

А со следующего дня жизнь опять пошла по-прежнему. Как всегда. Как обычно.

Иванов любил после работы ходить в гости к знакомым, так как считал человеческое общение лучшей формой использования свободного времени. На это раз он отправился к одной супружеской чете, жившей на соседней улице. Кстати, взял он с собой и антикварную лампу. Зачем? А просто так. Вернее, чтобы немного похвастаться. А главное, как тему для разговоров. Ведь человеческое общение должно быть содержательным, и смешно являться к людям, не подготовившись, чтобы тупо сидеть и хлебать чай, вяло обсуждая события, происшедшие на работе. Проблемы же антиквариата интересны всем без исключения, так что, заворачивая лампу в случившийся рядом полиэтилен, Иванов предчувствовал, сколько мыслей она вызовет.

Знакомые Иванова (фамилия их была Петровы) болели гриппом. Они сидели, нахохлясь, в крайне неубранной комнате и ели щи. Щи были невкусные, из консервной банки с надписью «Борщ», но ничего другого в доме не нашлось, на улицу же выйти ни муж, ни жена не могли из-за гриппа.

Иванов вошел к ним, держа в одной руке лампу, а в другой — продуктовую сумку, из которой тут же вынул полкило сосисок, и банку малинового варенья, и пачку индийского чая, и батон, и половину круглого хлеба, и, наконец, пакет масла. Все эти яства он расположил на столе в виде натюрморта, а посередине стола поставил замечательную свою лампу и, не без торжественности ее зажег. То, что последовало, заслуживает описания совсем другим слогом, нежели тот, каким мы тут изъяснялись до сих пор. Все мы, если вы заметили, часто говорим о вещах вполне серьезных и важных так, будто это чепуха какая-то, повод для шуток и смеха. А высоких слов вообще стесняемся и избегаем, чтобы не подумали, что мы дураки. Так что если события, случившиеся с нашим Ивановым, тут и описываются иногда как бы залихватским языком, вывод из этого уместно сделать только тот, что вся история слишком волнующая. Поэтому будем уж лучше подшучивать над ней, не то впадем в обличительный пафос, а то и в трагическую сентиментальность или, того хуже, в ложную многозначительность.

А приятели Иванова, супруги с гриппом, те и в самом деле впали. В сентиментальность. Да и как им, счастливицам, было не впасть, если по неизвестной причине их расплывающаяся жизнь в несколько секунд, как говорится, поменяла знак минус на плюс и представилась во вполне привлекательном свете. Только что двое обрыдлых друг другу кашляющих и чихающих людей хлебали в грязной комнате омерзительные щи, непрерывно помня, что за квартиру не плачено, потому что вместо этого по обоюдной глупости, которую каждый, естественно, считал глупостью другого, куплено никому ненужное и на редкость безобразное кресло в стиле не приведи Бог кого; только что сокрушительно болела голова и противно было думать о будущем, только что было очевидно, что окружающие — злы, завистливы, эгоистичны, хотя и умеют неплохо устроиться (мы бы так не могли), как вдруг оказалось: все не так уж

скверно, а может быть, даже хорошо; да нет, братцы, очень даже хорошо, великолепно, грипп излечим, а комната наша — оригинальная и милая, особенно вон с тем антикварным креслом в углу, где сидит сейчас улыбаясь самый лучший, самый замечательный человек на земле, такой бескорыстный друг, красивый и остроумный!

Иванов сидел себе тихо в драгоценном кресле и внимал восхищенной чете, которая, перебивая друг друга, изумлялась, почему до сих пор, зная его чуть не с детских лет, не видела такой простой и очевидной вещи: этот человек, оказывается, самый лучший из всех, кого она когда-нибудь встречала в своей жизни. Сам же Иванов, слушая, вдруг понял, что по ошибке до сих пор считал их просто знакомыми, тогда как это были его друзья, едва ли не самые близкие ему люди. А еще он, пожалуй, первый раз в жизни осознал по-настоящему, что значит быть счастливым, и если бы некто любознательный спросил его, что же это, наконец, такое — счастье, он бы подумал: что это такое, он все же не знает, но нет ничего лучше, чем видеть радость на лицах друзей и знать, что именно ты его подарил. Именно ты.

Это он так подумал бы, а сказал бы совсем другое, возможно, даже глупую шутку, вроде того, что счастье — это выиграть сто тысяч по трамвайному билету. Или что-нибудь еще глупее. Почему он так сказал бы, вы, вероятно, догадываетесь, мы ведь уже, помнится, обсуждали этот вопрос.

Иванов сидел и улыбался, а супруг Петров между тем ни с того, ни с сего, снял со стены гитару и запел старинный романс. Пел он с большим воодушевлением, и вот тут Иванову в первый раз пришла мысль: а дело-то, похоже, того... Все очень приятно и мило, но ведь раньше этот Петров, помнится, никогда под гитару не пел. И вообще — с чего? Вина не пили. Слуха у него нет и голоса также. В комнате форменный хлев, а жена Петрова, пытающаяся ему подпевать, непрерывно чихает и кашляет. Так почему же такая радость?

И тогда ему вспомнилась тетка, исполняющая посреди комнаты вальс-гавот.

Иванов беспокойно покосился на старинную лампу, и та вдруг быстро подмигнула ему из-под своего паукообразного абажура.

Дело было в ней — ни в чем более. И Иванову сразу стало грустно, обидно и даже слегка совестно. Ведь выходило, что источником радости и веселья и вчера и сегодня был вовсе не он, а посторонняя лампа, предмет случайный, неодушевленный и, похоже, имеющий темное прошлое.

Супруги Петровы продолжали веселиться. То и дело кто-нибудь из них обращался к Иванову, он машинально и невпопад отвечал, а сам лихорадочно обдумывал ситуацию. В конце концов он додумался до одной вещи, а как только додумался, лампа подмигнула ему второй раз, причем так нагло, что хозяйева дома высказали предположение: мол, в розетке наверняка нарушен контакт и сейчас произойдет короткое замыкание.

Иванову сделалось весело, хорошо и спокойно. Что из того, что именно лампа развлекала и, так сказать, тонизировала окружающих? Владельцем лампы был, все-таки, он, Иванов, он нашел ее среди хлама, где она могла бы валяться еще сто лет, он принес ее сюда, чтобы доставить друзьям удовольствие, а раз так, то принимая восторги, он ничуть не жульничает и не присваивает ничьих заслуг.

На этом месте его размышлений внезапно раздался треск, из розетки вылетели искры, и комната Петровых погрузилась во тьму.

Ничего страшного, впрочем, не случилось: пробку быстро заменили, розетку отремонтировали, снова зажгли лампу, которую Иванов теперь про себя иначе не называл, как волшебной, и опять все было очень славно, только поздно и пора домой.

— Пойду, — сообщил Иванов, — а лампа пусть пока у вас. До следующего раза, во временное пользование. Пускай горит.

Когда он вернулся домой, тетка еще не спала, а сидела в неумолимой позе перед абсолютно темным телевизором.

— Какие будут свежие поветрия? — спросила она, не отрывая глаз от мертвого экрана. — Что нового на телетайпных лентах?

Иванов молчал. Он все еще находился в размягченном состоянии.

— Интересно, — не унималась тетка, — куда это девалась моя девичья лампа? Мне ее, помнится, подарил ко дню ангела граф Загурский, мой давний и преданный поклонник.

Графа Иванов кладнокровно пропустил мимо ушей. Во-первых, тетка была 1915 года рождения, а во-вторых, он уже привык к погибающим от любви к ней титулованным особам и знаменитостям с мировыми именами. И так, игнорируя графа, он сразу пошел к телефону и позвонил своим Петровым, чтобы просто пожелать доброй ночи. Разбудив их звонком, он двадцать минут выслушивал речи, от которых на душе его теплело и расцветало, и он отчетливо решил, что назначение человека на этой земле — украшать существование близких своих.

С этими соображениями он и отправился поутру в институт, где работал научным сотрудником, и стал там трудиться над исследованиями, время от времени с удовольствием думая о Петровых — как он вечером непременно, непременно уж к ним зайдет, хоть тетка и намекала почти открытым текстом, что неплохо бы посидеть дома, ей, видите ли, одиноко и скучно, но это были обычные ее фокусы, и, в конце концов, не его, Иванова, вина, что в собственном доме ему менее уютно и приятно, чем у друзей. Тетка, что ей ни сделай, все принимает как должное, все недовольна, а Петровы... Петровы — это самые близкие его друзья, самые славные люди, странно, что он только теперь это так решительно понял.

Вечер у Петровых прошел на редкость интересно: снова, как вчера, все сидели вокруг стола, красивые и счастливые, и разговор шел о дружбе, товариществе и смысле жизни. Петровы опять несколько раз повторили Иванову, что он замечательный человек и необыкновенный друг, что они — по гроб, что кто бы ни спросил, они — всегда, одним словом, хороший был разговор, содержательный, и ох как не хотелось бедному Иванову возвращаться в этот вечер домой к бабе-яге с ее вечными упреками и притязаниями. Друзья это заметили и предложили ему остаться ночевать, но он объяснил им, что не может бросить старого человека, хотя, вероятно, и стоило бы — в чисто педагогических целях. И они согласились: бросить нельзя, хотя

многие, несмотря ни на что, бросают, но вот Иванов-то не такой, чего уж тут! Иванов ушел, а лампу опять оставил — пускай себе посветит друзьям еще какое-то время.

Прошел месяц, даже полтора. Иванов приходил к своим знакомым почти каждый вечер, и его всегда встречали радушно и с большой теплотой. Все было как будто бы как прежде, как в самом начале, — лампа посреди стола, чай с халвой. Но вот разговоры... То обсуждали демографический взрыв, то Петров принимался излагать свои соображения про жизнь в космосе... Иванов украдкой посматривал на часы, это удивительно — какими длинными вдруг сделались вечера. Кроме того, появился еще один момент, который не то что раздражал его, но все же вызывал некоторую досаду. Дело в том, что с некоторых пор отношение Петровых к лампе сделалось, мягко выражаясь, не совсем нормальным. Из неодушевленной вещи она превратилась для них в лучшего друга, чуть ли не в члена семьи. Горела она не только вечером, но и днем, когда за окном сияло солнце. Смешно, но Петровы называли ее теперь не иначе как «лампион». Как-то раз, сидя за столом, Иванов случайно задел лампу локтем и тут же поймал откровенно неприязненный взгляд хозяйки. Черт знает что!

Чаще и чаще стала приходиться Иванову на ум мысль, что он совсем забросил других своих знакомых, которые ни в чем не виноваты и ничуть не хуже и не глупее этих Петровых, сотворивших себе кумир из чужой старой лампы. В один прекрасный день он сказал Петровым, что, пожалуй, заберет сегодня вещь: надо показать ее и другим приятелям.

Шагая с лампой в руках по тихой заснеженной улице, он смотрел на чужие освещенные окна, за которыми жили совсем незнакомые люди со своими заботами, радостями и неприятностями. Смотрел и представлял себе, что вон за тем окном, вон, в третьем этаже, где такая тусклая лампочка, сидит сейчас какая-нибудь одинокая старая женщина, пьет жидкий остывший чай из чашки с отбитой ручкой, смотрит, подслеповато щурясь, в телевизор, где мелькают одинаковые хоккеисты, и не с кем ей перекинуться словом, и вчера было не с кем. И завтра будет. И вот он, Иванов, звонит к ней в дверь, входит без приглашения, зажигает свою волшебную лампу, и тут...

Размышления его были внезапно прерваны встречей с бывшим одноклассником. Тот очень обрадовался и затащил Иванова к себе выпить чаю. В доме у него было удивительно уютно, и вообще он производил впечатление человека удачливого и благополучного, но несколько рационалистического, так что Иванов даже слегка засомневался, стоит ли здесь демонстрировать волшебную лампу. Но когда она все же была включена, им с приятелем сразу стало так хорошо, до того они понравились друг другу, что просидели до утра уже отнюдь не за чаем, вспоминая детские годы и кто кого когда побил и столкнул с парты. Уже под утро школьный друг Иванова признался, что в общем-то, несмотря на кажущееся благополучие, он был до сегодняшнего дня довольно одинок и даже начал смиряться с этим, объясняя все своим неуживчивым характером и мнительностью, но теперь с одиночеством покончено — у него есть настоящий друг.

Иванов ушел, а лампу оставил пока у приятеля, впрочем, у друга, конечно, у друга: за длинную ночь, проведенную в разговорах, выяснилось, что их взгляды, вкусы и убеждения настолько совпадают, что приходилось только поражаться, как они смогли прожить, не общаясь, столько лет.

Дома тетя со змеиным акцентом спросила племянника, какие нынче поветрия и где он, интересно бы знать, провел ночь. Лично она, к слову сказать, не спала ни единой минуты: волновалась, не попал ли он под трамвай.

Выслушав взволнованный рассказ про школьного друга, она ни к селу ни к городу, сообщила, что лампа, которую Иванов «носит, слоняясь из дома в дом, как попова корова», — ее приданное, выписана еще покойным батюшкой из Парижа, и она просит незамедлительно вернуть ей означенный предмет.

Иванов не стал пререкаться с теткой, давно привык к ее штучкам, да и времени на это не оставалось — надо было сломя голову бежать на работу. А после работы он, естественно, отправился к школьному другу.

Каждый вечер они проводили теперь вместе: друг его ждал, советовался с ним по каждому поводу, рассказывал все, что с ним случилось за день, повторяя, что без Иванова он бы давно пропал, что... и многое еще. А весной друг влюбился.

Люди, которые влюблены, довольно странные ребята и весьма скучные собеседники. Зануды. Говорить они способны только на одну-единственную тему, и сбить их с нее нет никакой возможности. Винить тут некого, так, видно, для чего-то устроила природа; Иванов и не винил никого, но выслушивать изо дня в день однообразные исповеди глупеющего на глазах приятеля? Если бы еще его любовь была взаимной! Иванову, получающему каждый вечер подробный отчет о том, что «Она» сказала и по какому поводу, было вполне очевидно, что женщина эта в упор не видит его знакомого. Самому же влюбленному угодно было обманываться, истолковывать ее слова обратно смыслу, который в них вложен, требовать от Иванова, чтобы он подтверждал, что надежда все же есть... одним словом, бесконечная утомительная тягомотина, а тут еще Иванов внезапно вспомнил, что давным-давно не был у их общего старого учителя Герберта Исидоровича, а тому, как физику, наверняка тоже было бы любопытно посмотреть на волшебную лампу.

И вот Иванов брел по сверкающей весенней улице с лампой в руках и представлял себе, как в лучах его волшебного светильника преобразится и заиграет всеми красками тусклая жизнь одинокого, никому не нужного старика.

Накануне тетя распоясалась до последней степени и кричала, что она — несчастная, всеми заброшенная старуха, у которой украли ее единственную лампу, дорогую память о покойном друге, величайшем в мире покорителе высочайших горных вершин! Это было просто нахальство, и Иванов напомнил старой ведьме, что лампа десятки лет валялась на антресолях среди пауков, еще более никому не нужная, чем сама тетя, теперь же эта лампа дает радость и веселье людям. Тетка грозилась и пророчествовала. И накликала.

Как-то уже в конце лета, темной и душной ночью, когда Иванов, уставший от загородной прогулки со своими новыми друзьями, спал, все те, у кого ранее побывала лампа, а именно: чета Петровых, одуревший от несчастной любви одноклассник и учитель физики Герберт Исидорович, явились к нему, где-то заранее собравшись, и позвонили в дверь. Тетка впустила их в квартиру и тут же, в коридоре, сообщила, что лампа, подарен-

ная ей одним космонавтом и присвоенная племянником, как раз дома, но завтра он ее собирался отнести этим... как их?... в общем, новым! новым!— своим знакомым.

Пришельцы вошли в комнату, где спал Иванов, обступили диван, и Герберт Исидорович включил лампу, стоящую на журнальном столике. От ее резкого света Иванов проснулся и сел, изумленно моргая и улыбаясь, но ответных улыбок не последовало, напротив, бывшие друзья заявили ему, что их больше не обманешь и не обольстишь, и они пришли сюда специально и исключительно для того, чтобы сказать ему, какой он все-таки мелкий, тщеславный и безответственный человечешка. Шепотом Иванов спросил, что же он им сделал. Наступила возмущенная пауза. Затем Герберт Исидорович раздельно, как бывало на уроке, отчеканил:

— Ты. Забрал. Лампу. У каждого из нас ты ее отнял. Отнял! Вот что ты сделал.— После чего гости сразу удалились, тетка вышла их проводить, а Иванов остался неподвижно сидеть на диване.

И тут погас свет.

— Пробки, — констатировала тетка откуда-то из мрака. — Я же говорила: нельзя ставить «жучков». Погоди, еще сторим.

Потом долго искали свечу. Потом Иванов ставил очередного «жучка». Потом зажглось, наконец, электричество, тогда Иванов пошел к себе в комнату и сел на диван. И увидел, что волшебной лампы на столике нет. Более того, на том месте, где она только что была, неподвижно сидит в развязной позе паук с неприятными мохнатыми лапами.

— Кыш! — ошеломленно велел Иванов пауку. Тот сперва помедлил, подумал, а потом вдруг усмехнулся, сорвался с места и, квалифицированно перебирая своими гадкими конечностями, побегал по краю стола, спустился по ножке, пересек комнату по диагонали и исчез за платяным шкафом.

И тогда Иванов явственно услышал всхлипывания. Он повернулся и увидел свою тетку, стоящую в дверях с непогашенной свечкой в руке. Со свечки капало на паркет, по тетке-

ным щекам катились слезы, тоже капали на паркет и, как ни странно, застывали на нем подобно воску со свечки — в виде прозрачных ледяных чешуек, блестящих до рези в глазах.

Вот на этом мы, пожалуй, и закончим наш рассказ, так как сказать нам больше нечего, разве что признаться, что не только у Иванова, но даже у автора вся эта грустная история оставляет чувство растерянности и изумления. Ведь если разобраться, этот Иванов...нет! Все-таки — нет. Но, с другой стороны, если принять во внимание, что род человеческий... Но с такими мыслями жить решительно нельзя!

КОЛЛЕКЦИЯ ДОКТОРА ЭМИЛЯ

1

Даже глаза открывать было тошно. Тусклый свет почему-то все время трусливо моргающей лампочки падал на пыль в углу, как раз напротив дивана, на котором он лежал вниз лицом; пыль эта сбилась комками, похожими на мертвых мышей, а сбоку на окне жухлая занавеска съежилась, брезгливо подобрала мятые края, точно противно ей было касаться грязного подоконника.

Лаптев застонал и уткнулся лицом в ковер. Запах от ковра тоже был пыльным. Все это, и пружина, выпирающая прямо в живот, раздражало, а больше всего — нет, уже не раздражало, а злило ощущение собственной нелепости, никчемности, неумения ничего организовать в своей жизни. Ничего! Ладно бы еще просто не везет, так ведь эту его патологическую неудачливость чувствовали другие и, конечно, шарахались, как от больного холерой. Сегодняшний день — вовсе не исключение, и все-таки; почему эта история с докладом должна произойти именно с ним? А с кем? Если не с ним, то с кем? Не с Рыбаковым же!

Думать о докладе было невозможно: дергалось что-то внутри и даже снаружи, в шее, и благоразумные мысли торопливо, гуськом перебежали на другое. Лаптев лежал с закрытыми глазами на диване, а они, мысли, ползали, как тараканы. Дотошно пересчитали они оторванные пуговицы на рубашках, плохо отглаженных в прачечной, отметили беспорядок на полках, с отвращением дотронулись до недавно засунутого в угол комка мокрых носков, полюбовались на моль, которая иступленно жрала старый уже, не модный, но единственный выходной костюм. Каждодневная одежда в лице только что стащенного через голову и вывернутого наизнанку свитера висела на спинке стула, перевив в узел рукава, будто ломала в отчаянии руки.

Дождь за окном шумел и плескался и хлюпал со вчерашнего вечера, от которого Лаптева отделял длинный, отвратительный, как всегда, неудачный день.

Утром на совещании у начальника лаборатории при всех, а это особенно «приятно», сказали, что ехать в Москву на конференцию Лаптеву не придется, потому что доклад его, надо сказать со всей прямоотой, оказался при ближайшем рассмотрении малоинтересным, не содержащим сколько-нибудь полезной информации и, по существу, представляет собой беспомощную компиляцию из всем известных, надоевших книг и статей. К тому же, не обессудьте, плохо написан.

— Ученическая работа, — сказал начальник, — нельзя с таким... понимаете ли... сочинением выйти на трибуну Всесоюзной конференции. Нельзя.

Воспоминание о лицах сотрудников, на которых сперва расцвело злорадство, а потом проступило удовлетворение: как же, все правильно, так и должно быть, это же Лаптев! — заставило его еще крепче зажмуриться и даже немного поскрипеть зубами. Но услужливые мысли, семена тараканьими лапками, уже спешили прочь, уводили Лаптева из института, на дождь, на ветер, на автобусную остановку, где, раздраженно протоптавшись двадцать минут, он принял решение идти пешком.

Ветер дул какой-то просто невыносимый, мокрый и плотный, как резина. Шляпу приходилось все время придерживать рукой, мокрая пола старого плаща шлепала по коленям. Проехавший вплотную к тротуару хлебный фургон взметнул на Лаптева лужу, так что грязные потоки полились даже по лицу его. Он отер лоб, для чего пришлось отпустить шляпу, и ветер тут же, изловчившись, сорвал ее, подбросил, швырнул на тротуар и колесом покатил к глубокой рыжей луже. Через секунду шляпа уже мирно плыла по грязной воде, растерянный Лаптев стоял, переминаясь, не знал, что делать, — ступить в лужу значило промочить ноги по щиколотки.

Две совсем еще молоденькие и, как назло, весьма привлекательные девицы, пробегая под одним зонтиком мимо Лаптева, посмотрели на него, потом друг на друга, расхохотались и застучали каблуками мимо.

Лаптев свирепо шагнул одной ногой в лужу — вода, конечно, сразу потекла в ботинок — и вытащил шляпу. Мокрая, вся в каком-то не то мазуте, не то солидоле, она напоминала теперь старый болотный подберезовик-шлюпик с обвисшими, поенными улиткой краями. Испорчена была безнадежно, тут и думать нечего, и Лаптев кинул шляпу обратно в лужу.

Дождь стекал с волос за шиворот, по носу катились холодные капли, вид, если представить себя со стороны, — самый жалкий и достойный осмеяния, а до дому еще минут семь по этому ветру и дождю. Можно, конечно, пойти наискосок, через сад, там, кстати, и народу сейчас меньше, некому будет веселиться по поводу его несчастий.

Людей в саду, действительно, не было. Там разбойничал вконец распоясавшийся ветер — обламывая сучья, целые ветки срывал с деревьев и с силой швырял об землю. Продрогший кленовый лист прибился к плечу Лаптева и доверчиво затих там. Вдруг впереди, где-то наверху, Лаптев услышал отчетливый треск. Толстое, осанистое дерево на глазах его распадалось наискосок, медленно валилось на дорожку, а обломок ствола ощеривался острым, криво обломанным зубом. Обойдя по мокрой траве рухнувшее дерево, Лаптев бегом бросился к выходу из сада. За спиной шелестело, выло, трещало. Дождь усилился.

«Так и наводнение, того и гляди», — мелькнуло в голове. С запозданием: вода на набережной, куда он теперь вышел, ясно давала понять, что не «того гляди», а уже, начинается, где-нибудь на Карповке или на Каменном острове, небось, и не пройти, да и здесь надо поторапливаться.

Вода в канале текла вспять. Тащились против течения подгоняемые ветром беспомощные стайки палых листьев, растерянные волны тщетно пытались бежать туда, куда им от веку положено, но сил не хватало — бил наотмашь, толкал их в грудь остервенелый бешеный ветер.

Какой ужасный, какой отвратительный день! Но он еще не кончился, далеко еще до конца, все впереди: добежав, наконец, до своего дома и бегом поднявшись на пятый этаж, потому что лифт на ремонте, обнаружит дрожащий от холода Лаптев в кармане плаща вместо ключей дыру, будет полтора часа, вылив из ботинок на каменный пол лестничной площадки воду

и отжав края штанин, ждать, когда вернется, наконец, из гостей (даже ей всегда есть куда пойти!) Антонина Николаевна, старуха соседка, будет материть себя вслух за то, что знал ведь, подонок, про эту дыру, знал, да поленился зашить, думал, ничего, обойдется, дырка — маленькая, ключ — большой. Сиди теперь тут, наживай воспаление легких, нет у тебя в городе таких друзей, к которым ты мог бы явиться просто так, без звонка, мокрый, голодный, и знать, что тебе будут рады.

Полтора часа койчились, соседка пришла, и вот — наконец-то! — этот диван, и пружина в живот, и мышеобразные сгустки пыли, и ржавое пятно на потолке прямо над головой, про которое он помнит и теперь, лежа лицом вниз. Помнит и знает: не сегодня, так завтра отвалится здоровенный кусок штукатурки и разнесет ему череп. Так тебе и надо, Лаптев, потому что и тут, как с дырой в кармане. Надо было давно сделать ремонт, да руки не дошли. «Надо было...»

И почему же, почему именно у него всегда «надо было»? А если брался, то кончалось это как-нибудь по-идиотски: то решит отремонтировать любимые удобные заграничные туфли, а приемщица в мастерской специально для него приготовленным злорадным тоном сообщит: «Такую обувь в ремонт не берем, вы что? Это, извините, только выкрасить и выбросить».

А то фирма «Невские зори»... Ладно, к чему эти перечисления? Неудачник. Да! Неудачник! Патентованный, хрестоматийный, вульгарный. Куда ни кинь — везде клин. Можно подумать, это первый сегодня такой день. Ха-ха-ха. Как поживаешь, Ефим Лаптев? Средне. Что? Да, средне: сегодня хуже, чем вчера, но лучше, чем завтра. Ну почему, объясните кто-нибудь, крысится на него Антонина Николаевна? Когда-нибудь не так поздоровался? Не тем тоном к телефону позвал? Не помнит он, хоть расстреляй. Он не помнит, она — помнит, ходит, поджав губы, и нарочно громко поет в коридоре. А еще литературу в школе преподавала, интеллигентный человек. Тьфу!

...И не согреться ведь, хоть и надел сухие носки.

Лампочка под потолком жалобно мигнула и погасла. И тут же в коридоре зазвонил телефон. Он вопил долго и крикливо, Антонина Николаевна, само собой разумеется, не шла, и, чер-

тыхнувшись, Лаптев в одних носках вышел из комнаты. Конечно, он ударился об дверь, естественно, толкнул столик в прихожей, и со столика, ясное дело, упала пепельница. Пепельница разбилась, а телефон, между тем, затих. Но стоило Лаптеву двинуться вдоль стены в обратный путь, как телефон залаял снова.

— Это доктор?— крикнул тоненький женский голос.— Алло! Мне доктора!

— Вы. Не туда. Попали!— отчеканил Лаптев, но дама на том конце провода не обескуражилась.

— Это два четырнадцать семьдесят пять восемнадцать?— допрашивала она.

— Это два семнадцать семьдесят пять девятнадцать!— рявкнул Лаптев, бросая трубку.

Однако дойти до своей двери он не успел. Телефон опять так разорался, как будто «междугородная» вызывала «скорую помощь».

— Доктор, миленький!— закричали в трубке, не успел Лаптев даже сказать «да».— Доктор, дорогой мой человек, что делается!— Женщина не слушала Лаптева, рта ему раскрыть не давала, задыхаясь, за что-то благодарила, все время приговаривая:— Вы волшебник, доктор, вы чудесник, вы просто маг и колдун!

— Да не доктор я! Не доктор!— прорвался, наконец, Лаптев.— Это — два семнадцать семь пять девятнадцать! Наберите как следует. Вы меня сводите с ума!— он тоже почти кричал, сам отмечая в своем голосе истерические нотки.

Дама молча брякнула трубкой. Лаптев вернулся на диван, сел, сжал пальцами виски и медленно начал думать, что это ужас, тридцать лет, а сердце от пустяков трепыхается, как у старухи, что надо сейчас постелить и лечь,— нёт! сперва выпить бы валерьянки, а еще лучше — водки... Но ни валерьянки, ни, тем более, водки у него не было.

И тут телефон взорвался опять. Он не такой дурак, Лаптев, хватит! Он не даст, он больше не позволит над собой издеваться, пускай разорется, гад, хоть до утра!

Скрипнула дверь ванной, слышались шаги Антонины Николаевны, ее голос, сперва приветливый: «Да, слушаю» — и, после короткой паузы, — холодно-надменный: «Одну минуту». Снова зашаркали шаги, теперь — к двери Лаптева, короткий сухой стук и отрывистое: «Вас».

«Вдруг — Светлана?» — как всегда, каждый раз, когда его звали к телефону эти два последних, два самых несчастных года, подумал Лаптев, бросаясь к дверям.

Это был низкий и густой мужской голос, очень уверенный, медленный и властный.

— Вас тут... давеча беспокоила одна моя темпераментная пациентка, — сказал голос, — так что пардон. Впрочем, вина не ее и не моя, просто каверзы автоматической связи. Но дело, конечно, не в этом. Вы меня слышите?

— Слышу... доктор, — откликнулся ошеломленный Лаптев, — я только не понимаю...

— Вам понимать абсолютно не требуется, — заверили Лаптева, — понимать это, так сказать, *my duty*. Ну-с, как делишки?

«Какого дьявола он пристал?» — подумал Лаптев. А в трубку сказал:

— Делишки? Хреново. Дела как сажа бела. — Захихикал, сам себе удивляясь.

— Хуже, чем вчера, но лучше, чем завтра. Не правда ли? Лаптев молчал.

— Пойдем дальше, — гудел голос невидимого доктора, — знаете, конечно, кто вы? Неудачник. На лице у вас прыщи, которые странно выглядят в вашем далеко не юношеском возрасте. Не перебивайте! Походка — отвратительная, способная вызвать сострадание. Девушки на улице проходят мимо вас, как мимо витрины магазина похоронных принадлежностей. Ну-с... Денег всегда нет. Гардероб — мерзкий. На работе — полный завал. Короче, идеальное несоответствие уровня возможностей уровню притязаний. Вы ведь гений? В душе?

Лаптев молчал.

— Ну как же! Написали блестящий отчет или — как там? — доклад про какой-то синтез чего-то, а вам говорят, что все это чушь, что бездарный Рыбаков, который, кстати, и без того ведет себя с вами пренебрежительно и нагло, что этот трепач достойнее вас может представлять институт...

— Кто вы? — тихо спросил Лаптев.

— Ну-ну!.. И ведь что обидно: вот Мустыгина — тоже не послали, но у него отговорка, пусть только для себя самого. У него — клаустрофобия, боязнь закрытых пространств. А вас — за что? Выходит, вы — бездарность, а Рыбаков — гений? Да еще и фамилия — Лап-тев. Великолепно: Лаптев Ефим Федосеевич. Дед Федосеич, а?

— Что вы ко мне пристали? — спросил Лаптев.

— Ага! Забрало! Давай-давай! — торжествовал доктор. — Ну до чего вы мне подходите!.. Ладно. Бросьте комплексовать. Я просто сказал вам, кто вы есть. Но это все пустяки, поправимо.

— Меня обхамили в обувном ателье, — неожиданно пожаловался Лаптев, — не приняли туфли.

— Примут, — пообещал доктор. — Будут валяться в ногах. Ну, вот что, — голос стал деловым, — берите ручку, бумагу, записывайте адрес, и через полчаса я вас жду. Транспорт еще ходит.

И тут в прихожей зажегся свет. Вспыхнула лампочка над зеркалом и вторая, в глубине коридора. На столике, рядом с телефоном, Лаптев обнаружил шариковую ручку и, воровато косясь на дверь Антонины Николаевны, записал адрес на обоих.

У лица (вернее, это был переулочек) оказалась узкой и темной. Видно, взбесившийся ветер везде, где достал, оборвал и перепутал провода. По черному небу суетливо пробегали лохматые и белые, похожие на клубы дыма, низкие облака. Это было необычно: облака на ночном небе и — беспокойные, сухие, яркие звезды, смотрящие издали, сквозь морсящий дождь. Наверное, облака мчались так близко к земле, что отсвет городских огней освещал их.

Дом, указанный загадочным доктором, оказался в самом конце переулочка, в палисаднике, к неосвященному входу вела асфальтовая дорожка, и, уже ступив на нее, Лаптев подумал, что вот опять, как идиот, вляпывается в какую-то авантюру, кто-то решил его разыграть, а он, развесив уши, тащится теперь под дождем к неизвестному подъезду, чтобы застать в лучшем случае пьяную компанию старых приятелей.

«Только сомной такое, больше — ни с кем!» — зло подумал он, сунул озябшую руку в карман и нащупал дыру. Прекрасно. Ключей нет, на дворе — ночь, соседка давно легла... А-а! Чего уж теперь. Так тебе и надо, дебил несчастный, раззява.

И он вошел в подъезд.

Лестница представляла собой один, слава Богу, освещенный, длинный пролет и упиралась в стену. Не стену — витраж с маленькой и узкой дверью справа. Разноцветные птицы были грубо изображены на стекле вперемешку с красными, синими, оранжевыми цветами, разлапистыми листьями, желтыми треугольниками, восьмиконечными звездами и полумесяцами. Лаптев не успел толком разглядеть этот витраж — дверь открылась, и на площадку ступил высокий грузный человек. Очень черными были его выпуклые глаза, брови и курчавые волосы. А кожа — смуглой, чуть желтоватой.

Рукава фланелевой ковбойки закатаны, джинсы — американские, давняя и безнадежная мечта Лаптева — и ничего таинственного или, напротив, каверзного. Все нормально.

— Быстро вы, — поощрил доктор, улыбаясь во все свои зубы. — Меня зовут Эмиль. А вы — Фима Лаптев.

— Очень приятно, — пробормотал Лаптев. Он ненавидел, когда его звали Фимой. С именем у него дела обстояли не лучше, чем с прыщами на лице. Но лучше уж, все-таки, Ефим.

— Проходите, — пригласил Эмиль, отступая вглубь передней. — Давайте плащ. Так. Теперь сюда.

Комната куда они вошли, оказалась не похожей на приемную практикующего врача. Тахта, два кожаных кресла, небольшой, весь заваленный какими-то безделушками письменный стол.

— Сейчас заварю чай, — деловито сказал Эмиль и исчез, оставив Лаптева разглядывать мраморного белого медведя, бронзовую лошадь с отломанной передней ногой, фарфорового снегиря, царский пятак, пучок сухой травы и другие предметы, непонятно по какому принципу собранные и сваленные на столе.

На стенах, впрочем, тоже висели странные вещи: несколько довольно ржавых подков, битая глиняная тарелка, часы без стрелок, внутри которых, однако же, что-то все время тикало, лисья маска из папье-маше и другой хлам.

Эмиль вернулся с чаем и конфетами, расставил чашки, вазочку и чайник на тахте и придвинул к ней оба кресла.

— Садитесь, — сказал он Лаптеву, — там, — он махнул рукой на письменный стол, — такой хлев, знаете.

...Нет, это не было диалогом, Лаптев говорил один. Едва глотнув горячего чая, он сделался болтлив, слова просто переполняли его, и, отставив чашку, он без передыху выложил всю свою жизнь от детства в сонном провинциальном городе Острове до сегодняшнего невезучего, но такого типичного для него, горемыки, дня. Он не скрыл ничего, подробно рассказал даже то, чего никому никогда не рассказывал, — про женитьбу на Светлане.

— Я ее любил, так сказать, — признался он с неловкой косою улыбкой и передернул плечами.

— Сколько это продолжалось? — деловито спросил Эмиль, точно речь шла о болях под ложечкой или повышенной температуре.

— С первого курса.

— Нет. Я о вашем браке.

— Два дня.

— Не слабо. Ерго, на третий она и покинула вас. Скрылась без объяснения причин в неизвестном направлении, оставив вам, однако, свою комнату?

Лаптев молча кивнул. Подумал и еще кивнул.

— По-ня-а-тно... — прогудел доктор, не сводя с Лаптева своих рачьих глаз, и в этом «понятно» Лаптев с обидой услышал удовлетворение: «что ж, мол, вполне естественно, так и должно быть, красивые женщины всегда уходят от таких вот растяп, уродов и неумех». И ему стало стыдно и противно — разболтался, раскис, раскрыл душу — и кому?

Он встал с кресла.

— Нет, погодите. Как говорится, еще не вечер, — ухмыльнулся Эмиль, — я ведь вас не для того позвал, чтобы выматывать вам душу из любопытства. Все это я уже знал, хотелось послушать вашу интерпретацию. И довольно. Пейте чай, он, конечно, давно остыл, но аромат сохранился. А я пока подумаю, что с вами делать.

Лаптев послушно сел и взял чашку. А доктор Эмиль принялся расхаживать по комнате. То он перебирал хлам на своем письменном столе, то подходил к стене, снимал с нее какой-нибудь предмет, вертел в руках, качал головой, и вешал обратно.

— Можно бы, конечно, вот эту... — неуверенно бормотал он, разглядывая бронзовую безногую лошадь, — да кто вас знает...

Лаптев глотал холодный чай и думал свое. Додумав до конца, он поднял голову.

— Вы — психотерапевт, — заявил он, глядя прямо в черные выпуклые глаза, — и телепат. И, по-видимому, гипнотизер. Угадал?

Эмиль улыбнулся.

— Mon enfant, — сказал он, — дитя мое! Кто вас научил думать, что какая-то терапия, психо там или не психо, — что вообще какая-то наука может сделать человека счастливым? Вы ведь не больны, вон какие бицепсы. Да и, пардон, состояние вашей кожи тоже признак скорее избытка чего-то, нежели

недостатка. Вы здоровы, молоды, имеете высшее образование, должность старшего инженера, прописку в Ленинграде и нестарых еще родителей в милом, патриархальном Острове, рукой подать до Пушкинских Гор. У вас есть комната, телевизор, стереофонический проигрыватель и абонемент в Большой зал филармонии. И тем не менее вы... такой...

Лаптеву снова начало казаться, что доктор над ним издевается, но он решил дослушать до конца и молчал, внимательно глядя в пустую чашку.

—...Вы — такой... — грустно повторил Эмиль. — И не один, к сожалению. Десятки, если угодно — толпы одиноких, неустроенных, невезучих, наполняют наши, так сказать, города и веси. Чего же им не хватает? Сил? Или, может быть, денег? Нет. Есть такое коротенькое, незвучное слово «удача». Слышали? Вы ведь химик, верно? Синтезы, анализы, катализы... Так вот, эта самая удача, она — как катализатор. Много ее не надо, самую малость, несколько молекул — и реакция пойдет. И получится все, как задумано. Все сбудется. И радости экспериментатора нет конца. Ибо! ибо наша жизнь часто всего-навсего эксперимент, поставленный на самом себе. Или на других... иногда... Итак, удача. Немного удачи — и успех следует за успехом, понимаете, химик? Просекаете? И наоборот: представьте — прекрасно отработанная, тысячу раз проверенная другими реакция с заранее известным тривиальным результатом, схема собрана — колбы, переходники, холодильники, дефлегматоры. Бюретки, наконец. И — фиаско. Пустой номер. Отбивная шляпа. Почему? Не мне вам объяснять: нерадивая лаборантка или сам охламон экспериментатор плохо высушили колбу, а в присутствии даже капли воды реакция не идет! Даже капли... Доходчиво я объясняю? Молодец я, а?.. Капля удачи... Капля удачи... Катализатор. И ведь у каждого он — свой. И искомое, желанное вещество, которое требуется синтезировать, — тоже свое. А прогос, помните ту даму, которая терзала вас сегодня телефонными звонками? Она у нас, бедняга, мучилась от несчастной любви. Несколько лет. Все как положено: бессонные ночи, мольбы, слезы, бесконечные звон-

ки «ему», даже письма какие-то дурацкие. А в ответ только — мордой об стол. И в результате что? Ранний невроз, первый седой волос, морщины и мысли о смерти.

— И вы — тут как тут, — усмехнулся Лаптев, — дали приворотного зелья, любимый выпил стопку, закусил и упал ей в ноги.

— А вот и нет! — в восторге закричал Эмиль. — Ничего подобного! Я дал ей на счастье — вон, одну из них, — он показал на подковы, — и теперь все в порядке.

— Он прозрел? — ехидно настаивал Лаптев.

— Какой вы, право, традиционалист! В этом конкретном случае, печальном и исключительном, нужен был другой исход процесса. Любовь прекрасное дело, не спорю, но не в ста же случаях из ста. Прозрела... она. О-на! Поняла, что он — тоскливая посредственность, самодовольное ничтожество. Бездарность. А что? Умение оценить чужую любовь — это тоже своего рода талант. Люди — так называемое большинство — утилитарные существа, им, как правило, нравится то, что нужно и件лезно. Любовь, на которую не отвечают, не нужна и бесполезна, а следовательно, и цены не имеет, барахло. Короче, эта женщина все это увидела и излечилась. Но бывают, конечно, и противоположные случаи... Впрочем, о любви как-нибудь в другой раз. А вам, юноша, я помогу, не сомневайтесь.

Лаптев подумал, что не такой он уж и юноша в свои тридцать лет, в особенности рядом с этим так называемым доктором, который сам вряд ли старше. Но промолчал. Он вдруг забеспокоился: за любой частный визит к врачу полагается платить. И, в конце концов, неважно, настоящий это врач, модный прохиндей или знахарь. Как платить? Когда? Сколько? Да и денег у него с собой нет.

— Не ерзайте. Ваши сиротские инженерные гроши меня не интересуют. Сто тридцать пять без прогрессивки! — тотчас же отозвался на его мысли Эмиль. (Чертов колдун и тут ухитрился подслушать.) — Но расплачиваться, конечно, придется, а как же — товар — деньги — товар, — продолжал он ухмыля-

ясь,— у меня есть хобби, я, знаете ли, коллекционер. Все теперь что-нибудь коллекционируют, вы — неудачи... шучу! Шучу! А я... благодарности.

— То есть?

— Что — «то есть»? Я сказал ясно: собираю, лелею, сортирую и изучаю. Редчайшая вещь в наше время, должен вам сказать. Благодарных людей надо записывать в Красную книгу. Как вымирающих животных, вроде сумчатого волка. Слышали про такого?

— Не думаю, чтобы все те люди, которым вы помогли, если, конечно, в самом деле помогли, чтобы они не хотели вас отблагодарить,— рассудительно сказал Лаптев.

— Отблагодарить? Именно. Отблагодарить — это да! Еще как! Коробки дорогих конфет с вложенными внутрь десятками, торты от Норда, гладиолусы — два рубля штука — в хрустальных горшках. Подписка на Пушкина. И просто и откровенно — конверты с ассигнациями. Этого пруд пруди, как говорится — навалом. *Quantum satis*. Но я ведь о другом. Это, ну, то, что называется «отблагодарить», ничего общего не имеет с настоящей благодарностью. Это ее антипод.

— Не понял.

— Сейчас поймете. Это — желание поскорей расплатиться, откупиться, то есть избавиться от тягостного чувства, что ты кому-то обязан. То есть — от нее, от благодарности. *Comprenez?*

— Что?

— *Do you understand me?*

— А вы, оказывается, не только врач и химик.

— А как же! И то и се! И — философ! И — коллекционер. О, я гармоническая личность, вы еще увидите. Я колдун, а колдуны — все гармонические.

«А может, он — псих?» — вдруг подумал Лаптев.

— Почему это — псих? — сразу обиделся врач. — Почему, как только что не укладывается в рамки, так сразу же и оскорблять? Колдун у вас псих, летающие блюдца — мираж, телекинез и телепатия — проделки ловких прохвостов. Скучно и глупо. Ладно, прощаю. Слушайте дальше и постарайтесь не

перебивать. И так, «отдаривание» — первый и самый легкий способ избавиться от чувства благодарности. Отдарил — и забыл. В душе — пусто и тихо, ничего не скребет, не мерещится стук кредитора и грозное: «Час пробил, пора платить по счетам» — ан все оплачено. Деньгами. И главное, по той цене, которую сам же и назначил, — коробка, как я уже говорил, хороших конфет или приглашение на дефицитное «Лебединое озеро».

— Это интересно, — сказал Лаптев, — я никогда не думал...

— Есть много, друг Горацио, такого. Но и это еще не все...

— Мне только одно не совсем ясно, — сказал Лаптев, — вот вы осчастливили ту женщину, лишив ее любви к ничтожеству. Теперь хотите помочь мне, не знаю, что у вас получится, но хотите, это очевидно. Так вот, если вы такой благодетель, так зачем вам эта несчастная благодарность? Вы же должны испытывать, как говорится, кайф от самой деятельности.

— С чего это вы взяли, будто я — благодетель? Я этого, помнится, не говорил. Я — исследователь, провожу опыты. Вы ведь — тоже экспериментатор, так что должны понять мой чистый интерес.

— Допустим. Но вот вы сказали, что «отдаривание» — не единственная форма неблагодарности. А другие?

— Другие?.. Пожалуй, не другие, а — другая. Потому что мелочи не в счет. Благодарность, как вы теперь знаете, моя слабость, я о ней могу говорить сутками. А вы устали, да и я тоже... Так что не стоит, на сегодня хватит, я просветил вас больше, чем следовало, а много будете знать, скоро состаритесь.

Сколько раз потом, через короткое время и через долгое, через многие годы своей жизни, будет Лаптев вспоминать этот разговор. Но сейчас он, и верно, был вне игры. Ночь шла к концу, накануне он намучился и устал, выпитый чай не помог, хотелось спать. И он больше ни о чем не спросил доктора. А тот замолчал.

Стоя около стола, он смотрел куда — то в стену, лицо его было усталым и бледным, глаза потускнели и запали, морщины обозначились около губ. Лаптев вдруг заметил несколько седых волос в черных кудрях и подумал, что насчет возраста Эмиля он, возможно, сильно ошибся, испугался тут же, что этот странный человек поймает его на мыслях, но доктор даже не повернулся.

— Что же вам дать? Что дать-то? — бормотал он. — А, была не была! Вы меня заинтересовали, пусть все будет по высшему разряду. Дина! — крикнул он. — Дина! Ко мне!

Что-то заскреблось, дверь приоткрылась, и в комнату вошла собака, желтовато-рыжая, низкорослая, на широко расставленных коротких лапах, подпирающих широкое туловище с плоской спиной, Темные, выпуклые и блестящие грустные глаза умным и каким-то проникающим взглядом напоминали глаза хозяина.

«Ну и урод», — подумал Лаптев.

3

На улице Лаптев застал раннее утро, робкое, с еще не проступившими красками и не набравшими силу звуками.

Вчерашнее ненастье оставило следы: на конце скрученного спиралью оборванного провода, свисающего с решетки сквера, уныло болтался фонарь с разбитой лампочкой, желтые листья, стаями носившиеся вчера по тротуарам, лежали теперь неподвижно на мокром асфальте, как рыбы, выкинутые на берег приливом. Однако бесцветное пока еще небо было чистым и обещало хороший день.

Пять часов, о трамваях и думать нечего. Лаптев шагал по мостовой, сунув руки в карманы плаща, сбоку, чуть отстав, и часто переставляя короткие лапы, деловито бежало похожее на скамейку для ног существо, его, Лаптева, собственная собака, бежало без поводка и так уверенно, точно хорошо знает дорогу. Вид у Динки был озабоченный, как будто на работу спешит.

Светало прямо на глазах, очертания домов делались резкими и четкими, постепенно четкими становились и мысли Лаптева, ясно проступало главное: он опять оказался в глупом, потому что ненормальном, положении. Все это с начала до конца мистификация, и, если как следует подумать, можно докопаться до ее причин. И вдобавок ему навязали этого пса. Зачем ему собака? Во-первых, вполне возможно и даже наверняка Антонина Николаевна устроит скандал... Антонина Николаевна... Лаптев остановился. Сейчас четверть шестого, ключ, как известно, того... Соседка будет спать минимум до девяти, а это значит — сверкающая перспектива провести еще часа четыре на лестнице. Лаптев взглянул на собаку. Она сидела рядом с ним, не отводя от него внимательного сочувственного взгляда.

«А еще говорят, что звери боятся смотреть людям в глаза, — подумал Лаптев, — или это только дикие?».

Он двинулся дальше, чего стоять-то? Шел теперь нарочно медленно, рассматривая пустую заспанную улицу, остановился, чтобы прочесть объявление, написанное от руки и прилепленное к водосточной трубе: «Срочно меняю однокомнатную квартиру со всеми удобствами на две любые комнаты в разных местах». Ну да. Как он сказал, Эмиль? «Ходят десятками, толпами по городам и весям...» Лаптеву стало смешно: он-то теперь редкий удачник, счастливец, можно сказать. У него есть пес! У других, конечно, доги, пудели, сенбернары с медалями, а у него зато вон, полюбуйте. И дал ведь еще этому Эмилю честное слово, что никогда никому собаку не отдаст и не продаст. А с ним только свяжись, с колдуном, — отомстит. Да и кто ее возьмет, а тем более купит, вот вопрос.

«Кулинарное училище готовит: шоколадчиков, карамельщиков, мармеладчиков, бисквитчиков». Объявление было наклеено на сером дощатом заборе, отгородившем строительную площадку.

Лаптев почувствовал, что жутко голоден, прямо зверски, и сказал собаке:

— Был бы я бисквитчиком, мы бы с тобой знаешь как жили?

Собака вильнула хвостом, согласилась.

Пока они шли до дому, утро вошло в полную силу, небо пропиталось синевой, вставало солнце, ползли по улицам умытые, пустые трамваи, появились прохожие.

«А как, хотел бы я знать, с удачей у этого?» — подумал Лаптев, всматриваясь в приближающуюся щуплую фигуру человека в синем ватнике. Лицо человека было очень маленьким, бледным и плохо выбритым, глаз не видно из-под опухших век. Что они напоминают, эти толстые веки? Где-то Лаптев читал про уши, похожие на пельмени, здесь на пельмени были похожи глаза. Раскисшие губы безвольно висели.

Человек шел прямо на Лаптева, и, когда расстояние между ними достигло шагов пяти, Лаптев шагнул в сторону. Человек шагнул тоже. Лаптев остановился. И вислогубый встал.

— Пьяный, что ли? — пробормотал Лаптев.

Человек стоял совершенно неподвижно и смотрел на собаку даже не мигая. Нижняя губа его совсем отвисла, рот приоткрылся.

«Чего он так уставился? Может, она, вдобавок ко всему, еще и краденая?» — подумал Лаптев. И строго спросил:

— Вам что нужно, гражданин?

— Слушай, парень, — очень тихо, почти шепотом, попросил человек, не отводя своих полузакрытых глаз от Дины, сидевшей у ног Лаптева, — продай кабысдоха, тысячу рублей тебе дам. Прямо сейчас. Продай, а? — Маленькими грязными пальцами он, торопясь, расстегнул ватник, полез за пазуху, извлек оттуда завернутый в газету пакет и шагнул к Лаптеву.

— Считай, — приговаривал он, разворачивая пакет, — ты считай, считай, все точно.

Лаптев увидел пятидесятирублевые бумажки, толстую стопку. И отдернулся.

— Отстаньте вы! С ума, что ли... — и быстро пошел прочь.

Собака затрусилась следом. А сзади доносилось:

— Две тысячи! Вернись! Три! Эй!..

«Это кооперативная квартира», — отметил Лаптев про себя, рассмеялся и прибавил шаг.

Нет. Никаких сказочных дел не произошло с Лаптевым ни в ближайшие сутки, ни после. Он не нашел тайника с золотом и драгоценностями за обоями своей комнаты, Барбара Брыльска не прилетела, чтобы объяснить ему в любви с первого взгляда, не сделал он также гениального открытия, вследствие чего элемент «лаптий» не занял своего места в таблице Менделеева. И все-таки что-то изменилось, как будто черноволосый мистификатор и впрямь обладал тем, что называется «хороший глаз» или «легкая рука».

Сначала была встреча — в половине седьмого утра! — с Антониной Николаевной, спускавшейся по лестнице с мусорным ведром в то время, когда Лаптев, возвращаясь от Эмиля, рассчитывал торчать у запертой двери, по крайней мере, два часа.

Засыпая на ходу, он понуро тащился по ступенькам и вдруг услышал над своей головой:

— Кто это? Боже мой! Ефим Федосеевич, кто это?

Лаптев поднял глаза, увидел Антонину Николаевну и понял: сейчас ему скажут, что тот, кто и так никогда не убирает квартиру, не должен приводить в нее собак. Однако на сухом лице Антонины Николаевны засветилась совсем девчоночья улыбка; бросив ведро, она сбежала вниз, к Лаптеву, легко присела на корточки и принялась гладить Динку по голове, возбужденно повторяя:

— Кто же это такой? Кто же это у нас такой?

Потом она выпрямилась, неожиданно протянула Лаптеву узкую руку, которую он ошеломленно пожал, и торжественно, как будто открывает первый урок, произнесла:

— Сегодня я беру назад все дурные слова, какие когда-либо говорила по вашему адресу. Более того, прошу у вас прощения. Я в вас ошиблась. Человек, подобравший и пригревший бездомное существо, — тут она наклонилась и опять погладила указанное существо, которое завиляло хвостом, — это настоящий человек. Если бы вы, Фима, привели из собаководства какого-нибудь медалиста с родословной, я, конечно, тоже бы

вас одобрила, так как люблю животных, но этот поступок... Породистых собак очень часто держат из тщеславия, а таких — только из любви. Только! Можете рассчитывать на мою помощь, и в добрый, и в черный час.

Покивав самой себе, Антонина Николаевна горделиво распрямилась, поднялась вместе с Лаптевым на площадку, отперла дверь и только после этого вспомнила о своем ведре.

С этого дня к телефону Лаптева приглашали таким голосом, будто это событие — исключительно большая радость для всего человечества. Более того, было решено, что Тоня, девушка из «Невских зорь», которая всегда приходила к Антонине Николаевне делать уборку, вымоет и приведет в порядок комнату Лаптева: «Что вы? Что вы? Конечно же, одинокому мужчине, занятому научной работой, трудно, невозможно следить за хозяйством, а жизнь в неуюте — какая же это жизнь?». А совместные чаепития с вареньем и пряничками, только что испеченными по новому рецепту, которая привезла из заграничной поездки знакомая учительница французского языка! Не говоря уже о тихих вечерних беседах, расспросах; раньше Лаптеву как-то никогда не приходилось рассказывать о себе — не было слушателя, которому было бы интересно. А тут представьте: холодный ноябрьский вечер за окном незаметно переходит в ночь. Антонина Николаевна, блестя спицами, вяжет, слушая эпопею Лаптева, или о том, как Рыбаков в прошлом году посчитал ниже своего достоинства прийти к нему, Ефиму, на день рождения.

Антонина Николаевна слушает, кивает, иногда вставляет какое-нибудь замечание: «Люди, в сущности, очень разные, Фима, очень». Или: «В нашей юности все было не так — дружили семьями, музицировали. Играли в фанты, во флирт, да, да! Это была такая игра, очень милая и целомудренная...».

А иногда они просто молчали, каждый думал о чем-нибудь, и Лаптеву было уютно и тихо на душе, исчезло ощущение сиротства и неприкаянности, а Динка, дремавшая у ног, положив свою морду на туфли Лаптева, усиливала это ощущение прочности, надежности и покоя.

Антонина Николаевна как-то сказала Лаптеву, что в детстве у нее была такая же — ну как две капли! — собака, первая в жизни ее собственная собака, исчезнувшая при загадочных обстоятельствах из запертого дома. Кухарка — тогда, знаете, еще были кухарки, — рыдая, клялась, что дело не обошлось без нечистой силы.

— Даже ушла от нас. Взяла расчет, — закончила Антонина Николаевна.

— А куда же, все-таки, девался пес? — спросил Лаптев.

Антонина Николаевна была почти уверена, что кухарка сослепу выпустила собаку или даже продала живодерам — любила, знаете, выпить. А уволилась, испугавшись разоблачения. А может, и совесть мучила.

— Мой отец расклеил по всему городу объявления о пропавшей, обещал большое вознаграждение, я ведь серьезно заболела тогда. Но никто не пришел. Это Бог меня наказал, — задумчиво сказала Антонина Николаевна, — за Лизу. Была у меня такая подруга, а я ее... предала. Тогда, конечно, я это так не называла, казалось — пустяки, подумаешь, детские дела. А теперь вот, когда вспоминаю... нельзя предать безнаказанно, понимаете, Фима? Нельзя, даже если тебе одиннадцать лет... Потом были другие собаки, но это уже не то. Да и жизнь пошла другая, как-то, знаете, сразу все не заладилось... Да. А Динка была моей первой любовью.

— Ее тоже звали Динкой?

— Ну конечно же! Разве я вам не говорила? Именно Динкой, а как же!

5

На работе у Лаптева тоже кое-что произошло. Во-первых, ту злосчастную конференцию внезапно отложили до февраля, и вот начальник лаборатории, вызвав Лаптева, сказал ему:

— Вы, Ефим Федосеевич, подработайте свой доклад. Время теперь есть, тема, которой вы занимаетесь, перспективная, могут получиться интересные данные. Поищите. Попробуйте.

например, применить в качестве катализатора металлический натрий, этого еще никто не делал, в литературе, во всяком случае, я ничего подобного не встречал. Ни в нашей, ни в зарубежной. А вдруг, чем черт не шутит...

Нехотя, Лаптев начал работать с натрием, и что-то забрезжило. Правда, пока из девяти проведенных реакций нужный результат давала одна, но и то хлеб. Значит, все дело в оптимальных условиях, это ясно. Сотрудники, по крайней мере, уже завидовали.

Во-вторых, за прошлогоднюю работу лаборатория получила большую премию. Ответственный исполнитель Мустыгин к тому времени проштрафился, и исполнитель Лаптев очень удачно купил себе импортное демисезонное пальто. Выбирать его в универсам с Лаптевым пошел пижон и тряпичник Рыбаков, всегда знавший, что сейчас носят и что будут носить в следующем сезоне. Заодно купили с рук зимнюю шапку, пыжик не пыжик, но что-то пушистое и, главное, Лаптеву шло.

Когда одетый, как боярин Шуйский, Лаптев на другой день явился на работу, лаборатория была потрясена.

— Девки, он же у нас интересный мужчина, — сказала главная красотка отделения Наташа Бессараб, — куда мы, дуры, глядели? Давайте все выходить замуж за Фиму.

Каждый вечер после работы Лаптев брал Динку, и они отправлялись гулять. Шли по хозяйственным делам — в магазины, прачечную, химчистку. Лаптев медленно вышагивал по улице в своем элегантном новом пальто, собака преданно шла рядом, и попадающиеся навстречу молодые женщины отвечали на взгляды Лаптева благосклонными улыбками, а не бежали прочь, отвернувшись, точно он — витрина похоронного бюро, как довольно точно заметил тогда доктор по имени Эмиль.

Очень часто какая-нибудь девушка, кокетливо повизгивая от восторга, принималась гладить Динку, и Лаптев отлично понимал, что все это, конечно, камуфляж, собака — только предлог, чтобы привлечь его, Ефима, внимание.

Как-то, выйдя из булочной, Лаптев увидел, что перед Динкой, ждущей его у входа, сидит на корточках барышня в клетчатом пальто и длинном синем шарфе. Концом шарфа она

щечокет Динке нос, а та только вежливо отворачивается. Заметив подходящего Лаптева, собака кинулась к нему, девушка подняла лицо и вдруг просияла:

— А я вас знаю! — торжествующе объявила она, выпрямляясь. — Это вы летом приносили нам в ателье польские туфли. Теперь поступил новый клей, так что приходите, починим.

«... Неужели все-таки гардероб играет такую роль в жизни человека? — с интересом раздумывал Лаптев по дороге из булочной. — Стоило приобрести эти вещи — и будьте-нате: улыбки, заигрывания, взгляды. А раньше? И ведь прыщи, и те куда-то подевались, вот смех!».

В последнее время Лаптев раза три или четыре звонил мистификатору Эмилю, но дозвонился один раз.

— Я беспокою вас, почтенный доктор колдовских наук, чтобы сказать большое мужское спасибо, начал Лаптев весело.

— Знаю. Рад, — отозвался Эмиль. — Благодарность в вашем голосе заносу в блокнот.

— В Красную книгу?

— Пока еще только в блокнот. Как Динка?

— В порядке.

— Берегите собаку, господин удачник, в ней — все ваше состояние.

— Неужели?

Лупоглазый доктор хмыкнул, помолчал, потом заговорил опять:

— Скажите, вам не приходилось, например, посреди поля или где-нибудь в лесу испытывать нелепое желание поклониться в пояс земле или упасть в ноги деревьям, которые так, казалось бы, безразлично стоят вокруг?.. Впрочем, это совсем не телефонный разговор, может быть, зайдете?

— На этой неделе не получится: Полно работы. И, стыдно сказать, закрутился в вихре светских удовольствий.

— Звонки. Приглашения в гости. Прелестные женщины, а? Как знаете. Но, может быть, ненадолго? На часок? Так сказать, *pour passer le temps*?

— После понедельника — непременно.

... Все-таки кто он, этот Эмиль? Скорей всего, очень одинокий, неудачливый человек, может быть, с каким-нибудь дефектом, придумавший себе, чтобы заполнить жизнь, вот такое развлечение: разыгрывает людей, напускает туману и таким образом заводит знакомства... Откуда он все про меня знал тогда? И знает теперь? Ну, теперь он просто по голосу мог догадаться. А тогда? Да мало ли... Если постараться, можно всегда с кем угодно найти общих знакомых, это уже проверено. А в конце концов, такое развлечение ничем не хуже другого, никому, во всяком случае, не во вред. Допустим, от кого-то чужак услышал, что Ефим — интересный, незаурядный человек, и захотел познакомиться: навел справки, выяснил детали и разыграл этот спектакль. Неплохо, как профессионал, мастер сцены. Собачку, конечно, мог бы и не всучивать, хотя, справедливости ради, надо сказать, что эта деталь как-то убеждает... да и Антонина отмякла, и в квартире — рай земной... А я — зря. Вместо того, чтобы пойти человеку навстречу, поддержать игру, подружиться с ним — ему ведь это нужно, а не мое дурацкое «спасибо»... Да. Схожу на той неделе обязательно. Надо бы пораньше, так ведь, серьезно, не разорваться, навалились приятели, как-то сразу все вдруг, что ни день — куда-нибудь тащись: то в преферанс, то Мустыгин-клаустрофоб не может пойти на просмотр в БДТ и буквально силком навязывает билеты.

Почему это люди так обожают играть в благодетелей? Вот Рыбаков, после того, как помог приобрести тогда новое пальто, считает себя опекуном и наставником. Сам, если уж начистоту, личность сомнительная, единственный талант — умение одеться и нахально вести себя с дамами. Довольно противно, а дамы — вон, та же красотка Бессараб — млеют. Вчера, например, подошел, хлопнул по спине, и заорал: «Наталья! Беру после работы в пивной бар!». И — Боже ты мой! — весь остаток рабочего дня эта дурочка мазала ресницы и красила веки.

Правда, на тот просмотр в БДТ она тоже пошла с большим удовольствием. Ресниц она тогда, помнится, не мазала и вообще вела себя буднично, но, может, и не буднично, а торжественно? Потому что пойти с Лаптевым для нее — событие, это тебе не Рыбаков со своей дубленкой и пустой головой.

Раздумывая на эти темы, Ефим брился, переодевался, завязывал галстук — настырный Рыбаков зазвал сегодня к себе на киноартиста. Артист — довольно известный, где Рыбаков их берет? Ефим посмотрелся в зеркало и остался доволен: новый костюм сидит прекрасно, галстук в цвет к носкам, лицо — очень даже ничего.

Динка, лежащая у двери, подняла голову и с надеждой взглянула на хозяина.

— Собака — дома! — сказал ей Лаптев, и она, поняв, что прогулка не светит, тотчас уткнулась в лапы и закрыла глаза. Оскорбилась.

— Я — в гости, поняла? В гости с собаками не ходят, — вразумлял ее Лаптев, а сам подумал, что явиться к пижону Рыбакову с его киноартистом, ведя на поводке какого-нибудь датского дога, было бы, пожалуй, эффектно. Но вслух про дога он, конечно, ничего не сказал.

Работа с металлическим натрием шла довольно успешно, уже не одна из десяти реакций удавалась Ефиму, а четыре-пять. Наташа Бессараб, которую подключили ему в помощь, обещала, что к Новому году добьется ста процентов.

— От лаборанта зависит все! — самонадеянно объявила она. — А у меня, Ефим Федосеевич, золотые руки. И не только руки...

Тут находящийся рядом Рыбаков силпо заржал и сказал, что это он может подтвердить. Лаптев брезгливо молчал, а сам думал, что люди, все как один, что бы ни случилось в мире положительного, склонны считать это своей персональной заслугой. «От лаборанта зависит все». Видали? Что поделаешь, красивая женщина, ей ум ни к чему. Как это вчера выразился вон тот пошляк? «Если бы все женились на умных, кому бы достались красивые?». И эта — туда же... «Не только руки...» Ясно дает понять... Что ж! Поглядим, уважаемая, поглядим, торопиться нам некуда, мы уже один раз нажглись с женским полом... Интересно все же, как она там поживает, его беглая половина Светлана Борисовна?

В ближайший понедельник Ефим, как и было обещано, позвонил телепату и сказал, что освободился и может ненадолго зайти. Тот почему-то особого восторга не проявил, промямлил, что простужен, но «если хотите, можете заглянуть».

После такого приглашения желание идти у Ефима, откровенно говоря, пропало, тем более что погода была гнусная — мокрый снег. Но откладывать тоже не имело смысла, остальные дни недели все были буквально забиты битком, он специально высвободил вечер, да и не хотелось, чтобы невыполненное обязательство висело над головой.

Ефим взял собаку и отправился, удивляясь по дороге странному все же характеру этого типа — то сам хочет общения, просит заходить, а звонишь — вроде бы и не рад.

В комнате «доктора», как и в прошлый приход Лаптева, царил беспорядок, а на столе он, казалось, даже увеличился, прибавились какие-то совсем уж бессмысленные вещи, например: ржавый детский совок и грязный Дед-Мороз из ваты.

Чай пили опять на тахте, и сегодня эскулап ни о чем не расспрашивал. Обязанный шарфом, одетый в два свитера (рукава нижнего неряшливо торчали), он, поминутно борясь с налетающим, как ураган, кашлем, тем не менее, весь вечер болтал точно заведенный, держа на коленях разомлевшую Динку.

Сегодня он разглагольствовал о любви. Развивал довольно бредовую, им самим, конечно, разработанную теорию, что любовь, мол, это нечто вроде магнитного поля, окружающего, как скафандр, того, кого любят.

— Понимаете, — информировал он, тараща на Ефима свои и без того выпученные глаза, — в идеале необходимо, чтобы каждого человека хоть кто-нибудь любил. Другой человек или животное — неважно. Главное, чтобы любил сильно, — тут он наклонился и поцеловал собаку между ушами, — и в этом случае тому, кого любят, ничто не грозит, никакие несчастья. Силовые линии поля не пропускают их, отобьют. Или уж, в крайнем случае, смягчат.

— Для того вы и вручили мне собаку? — усмехнулся Ефим.

— И для этого тоже. Но не так просто, не так однозначно, топ ами. Динка — это талисман, волшебный пес.

«Повело,— тоскливо подумал Ефим,— пошло-поехало. То силовые линии, теперь — волшебный пес. То мытьем, то катаньем хочет внушить, что мои успехи упали с неба, вернее, не с неба, а из его рук. Каждый человек — сам кузнец своего счастья. Как говорит отец: «Не потопаешь, не полопаешь».

Лаптев вдруг спохватился, что Эмиль давно молчит и смотрит на него грустным изучающим взглядом.

«Черт бы его побрал, вдруг отгадал, о чем я думаю, и скажет сейчас какую-нибудь гадость!».

Но телепат не сказал ничего, отвернулся. Он гладил Динку, чесал у нее за ухом, потом долго откашливался.

— Конфет не принесли?— спросил он, наконец, и, не успев Ефим ответить, махнул рукой и устало уронил:— Ладно. Это я так, не берите в голову.

Ефим почувствовал, что пора идти, и стал прощаться. Эмиль не задерживал. Непонятный это был человек и нелепый, сам не знал, чего хотел. Очевидно, ему просто нужно было выговориться, изложить свои доморощенные теории, а кому — неважно. Скорее всего, слушатели выдерживали не больше одного сеанса, сбежали и требовалось вербовать новых.

7

Наступил Новый год. Ефим Федосеевич встретил его дважды: сперва дома, в десять часов, в обществе Антонины Николаевны и Динки; ели специально изобретенный пирог с лимоном и пили шампанское, которое купил Лаптев по случаю прогрессивки. Вместо обычных двадцати процентов дали тридцать. Скажите, пожалуйста, почтеннейший Эмиль, как вас там по батюшке,— может быть, решение администрации выплатить сотрудникам института лишние десять процентов — тоже результат вашего колдовства? Между прочим, старшего инженера Е. Ф. Лаптева на днях официально утвердили руководителем темы и написали представление на вудущего. Очень хотелось бы знать — это тоже вы или следст-

вие кое-какого, пусть ничтожного, экспериментаторского таланта некоего жалкого химика? Каждый — сам кузнец, вот какие дела...

Новогоднее пиршество у Володи Рыбакова прошло блистательно. Среди приглашенных, кроме прикормленного, уже знакомого Ефиму киноартиста, был еще американец, очень забавно и мило говоривший по-русски. Помнится, речь за столом зашла о собаках: Рыбаков со смехом уговаривал Ефима поменять его дворнягу на королевского пуделя, а Наталья Бессараб приняла все всерьез и с пьяной страстью стала кричать, что, если Фимка совершит такую подлость, она выкинет его установку и все банки с натрием с пятого этажа.

Американец, слушавший с вежливой улыбкой эту дискуссию, принял в ней участие: у его родителей в штате Индиана, оказывается, тоже есть собака, немецкая овчарка, очень злая.

— German shiper, — важно произнес Лаптев.

— О, не совсем так, — поправил американец с ослепительной улыбкой, — немножко другое: sheep dog, а как ты сказал, это на русский — «немецкий моряк».

И продолжал рассказывать про свою овчарку:

— Лэрри хотел кусить меня. Не очень, ну... так и так. У него была кость. Он лежит верку лестницы перед спальней родители. Они уже там, а я — низу смотрел тиви... Когда я хотел лечь спать, Лэрри боялся, что я взять кость, конце концов, нужно было моей отца взять кость, и он спросил Лэрри свою спальную. Сестра бегала свою комнату, я низу — туалет, запер дверь, и как мать пережила, не знаю. Следующий день — ничего, Лэрри как обычно любил меня.

Американец громко захохотал, гости тоже, Ефим со смеху чуть не подавился цыпленком-табака. Ему почему-то было очень приятно беседовать с американцем о собаках.

Потом слушали Высоцкого, последние записи, потом опьяневшая кинознаменитость тихим голосом читала Рильке. Под утро Наташа категорически потребовала танцев, а то скучища, интеллектуалы чертовы, больше в жизни не приду, и не зовите!

Плясала она здорово, в основном, с американцем. А он, осовевший было от нашей водки, — кто это выдумал, что они умеют пить? — живо взбодрился и прямо прилип. Рыбаков чинно танцевал со своей востроносенькой женой. Вообще замечено: дома он бывал совсем не такой, как в институте, — солидный, вальяжный, эдакий хлебосол-семьянин. Ефим тоже станцевал с Наташей раза три. Она молчала, стеснялась, наверное, — все-таки, начальство, а может, раскаивалась, что в начале вечера назвала его Фимкой. Кто их, женщин, поймет. Но одно-то было вполне очевидно Ефиму: он Наташе нравился, пожалуй, больше всех этих.

Поэтому, уверенно ведя ее под музыку старомодного вальса, он, сохраняя полную индифферентность, слегка пожал ее руку. И тотчас получил ответное пожатие.

«Антонина, конечно, давно спит и видит десятый сон...» — подумал Ефим.

После танцев пили кофе, артист опять порывался читать, но его не слушали, начали расходиться. Одеваясь, Наташа посмотрела на Лаптева, и он сразу ее понял.

На улицу они вышли вдвоем, сбежали по лестнице, пока другие гости, галдя, пытались вызвать лифт. Было еще темно, падал снег. Наташа тихо шла рядом мелкими из-за высоченных каблучков шагами. Ефим нарочно не взял под руку, хотел посмотреть, что будет. Но она не решалась, шла, помалкивала. Ждала.

Ефим понимал это и ломал голову: не предложишь — обида будет смертельная, а как предложить?.. Видела бы его сейчас Светлана — идет по улице мужчина, которым она пренебрегла, которого за человека не посчитала, использовала, чтобы кому-то там насолить, а насолив, тут же и выкинула, как пустую папиросную пачку, идет он по улице и ведет к себе домой такую красотку, на которую все оборачиваются, — вон, парень с гитарой аж шею вывернул, а сам, между прочим, с дамой.

— Куда это ты, Ефим, заруливаешь? — вдруг каким-то сонным голосом спросила Наташа. — Мне, например, налево.

«Обиделась, — понял Ефим, — девушки любят, чтобы им говорили слова, а то потащил к себе ночевать, как будто это само собой разумеется. Пусть они в душе давным-давно согласны, а все равно надо делать вид, дать возможность поломаться, так, слегка, для самоуважения...».

— Наташа, — четко произнес, он останавливаясь и беря ее за руку, — Наташа, я прошу тебя стать моей любовницей.

Чего угодно мог ожидать Лаптев в ответ на свое предложение: сдержанной стыдливости, притворной обиды — мол, «я вам не такая», — деловитого согласия и даже смущенного отказа — мало ли какие могут у девушки быть обстоятельства, — но того, что произошло, он уж никак не предвидел и даже в первую минуту решил, что Наташа, скорее всего, сошла с ума.

Секунду она широко открытыми глазами смотрела на него, потом взялась за грудь, тихо сказала: «Ой, не могу», зашаталась, потом затряслась, согнувшись, и слезы потекли по щекам, смывая синюю тушь.

— Ну, ты даешь! — повторяла она. — У-ми-ра-ю...

Лаптев испугался как следует: дура, казалось, сейчас упадет на тротуар и забьется в конвульсиях. Он стоял молча и оцепенело ждал.

Наташа внезапно прекратила свою пляску святого Витта, судорожно вздохнула и, аккуратно промокнув ресницы носовым платком, тихо спросила Лаптева:

— Так ты говоришь — «стать»?

Тут припадок повторился, но продолжался он на сей раз недолго и без слез. Однако, Ефим успел за это время прийти в себя и решить, что — пошла она на фиг, неврастеничка, он, можно сказать, из джентльменских соображений, он вообще любит другую женщину... И при этом рисковал, потому что: а вдруг бы она согласилась? Возник бы роман между начальником и подчиненной, что, как говорится, совсем не способствует... Тем не менее, он на это шел, а она, вместо того, чтобы оценить, устроила идиотскую истерику.

— Неплохо бы иметь чувство юмора, Наталья Николаевна, — сказал он ядовито, — ха — шутка! В смысле — смех.

— Это другое дело, — очень серьезно и как бы даже с сочувствием сказала Наташа, — надо предупреждать в таком случае.

Всю остальную дорогу они молчали, иногда Наташа искоса поглядывала на Ефима и сразу отворачивалась.

«Поздно, матушка, — мстительно думал он, — все понимаю, жалеешь что глупо себя вела, надеешься, что я это замечу. А я — не замечу. Таких красоток на Невском — штакетником, только свистни — любая прибежит».

Лаптев так никогда и не узнал, разболтала Бессараб в институте про этот инцидент или нет. Могла, конечно, разболтать, чтобы похвастаться. Но могла и промолчать, если рассчитывала, что Ефим повторит свое предложение. Девчонка просто набивала себе цену, не в любовницы к нему она метила, а замуж!

Рыбаков после встречи Нового года стал называть Ефима «герой-любовник», вечно подмигивал, отпускал рискованные шутки, решил, очевидно, что у Лаптева с Натальей что-то было. Ну, как же — танцевали, ушли вместе. Счастливым человек — все-то у него просто и понятно, а на самом деле ничего не просто и совсем не понятно — ведь живет же где-то на своем Урале Светлана. Как живет? Что делает? Если верить теории Эмиля про любовь, похожую на скафандр, и про силовые линии, которые отгоняют неприятности, то, надо думать, живет она хорошо...

8

В январе события помчались друг за другом с пугающей скоростью. Десятого числа Лаптеву дали «ведущего», а двенадцатого был техсовет по результатам первого этапа его работы, где Ефим сделал короткое, но весомое сообщение. Пока говорил, все время видел себя со стороны — как он ходит с указкой вдоль своих развешанных на стене таблиц и графиков, как уверенно, без бумажки, рассказывает, как четко отве-

чает на вопросы. А что ему, в самом деле, путаться и мандражить? Реакция с металлическим натрием впервые пошла у него, у Лаптева. Впервые.

Естественно, все последующие выступления были на тему «наш большой успех», в заключение выступил начальник и час говорил, тоже напирая на «мы», «наша» и «у нас», строго судить его за это не стоит — все мы люди, все человеки, у всех честолюбие.

После техсовета жали Лаптеву руку, даже Мустыгин, хотя он половину времени провел в коридоре — в просторном зале техсовета ему то и дело становилось душно и страшно, и он выбегал за дверь подышать. Рыбаков, любящий, как известно, быть женихом на всех свадьбах, по случаю успеха лучшего друга вырядился в кожаный пиджак, подарок американца. Лаптеву он сказал, что считает для себя большой честью служить с ним в одном офисе, и надеется, что будущие биографы этого замечательного ученого упомянут где-нибудь в сносках и его, Рыбакова, скромную фамилию. С этого дня вместо «героя-любовника» Лаптев для него стал «то академик, то герой».

Восемнадцатого января Ефиму Федосеевичу было предложено начать потихоньку оформлять командировку в Москву — конференция открывалась первого февраля. Володя Рыбаков обещал все хлопоты с билетами на «Стрелу» и с гостиницей взять на себя. «Устроимся в Советской, у меня там приятельница администратором, не таскаться же через весь город куда-нибудь на ВДНХ». Несчастный Мустыгин, вздыхая, ехать отказался, он не только в клетушке купе, но даже в салоне ТУ-134 чувствовал себя, как в гробу.

Когда замдиректора подписал командировочное удостоверение, а доклад, любовно перепечатанный Наташей, был выучен почти наизусть, Лаптев счел своим долгом позвонить Эмилию. Тот отнесся к его звонку как-то кисло, к себе не позвал, о делах не спросил, зато настырно интересовался Динкой: как она, сколько гуляет, что ест и т. д. и т. д. Ефим, подавив раздражение, подробно ему отчитался, и «доктор» сказал:

— Плохо. Прогулку необходимо увеличить минимум на час в сутки, собаке надо двигаться. Что вы, в самом деле, не можете раз в неделю выехать с ней за город? Эх вы... «кузнец»...

«Выехать!» Советчик! Да как раз на выходные у Лаптева накапливается столько дел, что успевай поворачиваться. По хозяйству — это раз, что он, свалит весь свой быт на Антонину? Хватит того, что она руководит уборкой и кормлением собаки. С первого января по воскресеньям плавательный бассейн — это два, потом встречи с приятелями — три, а пригласить знакомую девушку в кино надо? Все-таки, он — мужчина, а не только собаковод. А театр и Филармония? А — читать?

Все это Лаптев, как мог спокойно, объяснил Эмилю.

— Собака гуляет вполне достаточно, три раза в день, — сухо закончил он, — а уж где — в лесу или в саду, в конце концов, для нее значения не имеет.

Сварливый тон пучеглазого благодетеля, его въедливые вопросы про рыбий жир, который, дескать, удавись, а ежедневно подливай собаке в миску, выговор Лаптеву за то, что он толком ничего не знает о собачьем рационе, так как — о ужас! — передоверил его соседке, идиотские подкусывания — а какие, мол, такие невероятные спектакли посещает Лаптев и что за бестселлеры он читает, может быть, сказку Пушкина о рыбаке и рыбке? — и другой подобный нудеж так, в конце концов, разозлил Ефима, что он, чтобы не обхамить парапсиха, решил переменить пластинку.

— Как там насчет Красной книги? — спросил он.

— Че-го? — каркнул Эмиль.

— Занесли вы меня в книгу или все еще держите в блокноте, как в предварилке?

— Какие еще книги? Какие блокноты? — Голос Эмиля звучал брезгливо и злобно. — Что вы глупости болтаете? Отнимаете только время, а меня люди ждут!

Неприятный тип. Его, видите ли, люди ждут. Лаптев готов был дать на отсечение руку, что никаких людей нет, опять вранье. Вот она, плата за чашку холодного чая и шизофреническую беседу! Если бы у Лаптева не случился тогда такой неудачный день, он никогда не поддался на эту глупую провокацию. Прямо гангстеризм какой-то! Духовное тунеядство! Воспользоваться трудной минутой, потом присосаться как клещ, дышать невозможно, будто кто-то держит тебя за горло,

давит и нашептывает: «Не забудь — ты всем мне обязан, ты — в долгу, без меня ты никто и ничто». Видали — коллекционер благодарностей! А сам? Лаптев безропотно взял у него абсолютно ненужную собаку, теперь ходит, тратит на выслушивание его болтовни время — время, которого не то что мало, а нету, элементарно — нету! Регулярно звонит, наконец. А в ответ — этот нарастающий нажим, это бесцеремонное влезание в душу. Можно подумать — у него что-то просят или когда-то просили, сам затеял этот балаган с колдовством и собакой. Как были вы, Ефим Федосеевич, тряпкой, так, видно, и остались. Не умеете врезать. Рыбаков сумел бы. И чего же всем, кому, не лень не садиться вам на шею? Вот и Антонина Николаевна, та тоже в последнее время стала хуже татаро-монгольского ига: то советы примется давать, когда ее не просят, то — куда ходил да с кем ходил. Ей, конечно, скучно, одинокий человек, Лаптев с Динкой ей вместо семьи, но надо же понимать, бабушка, что у нас с вами разный уровень и, как ни приятно пить чай в вашем обществе и слушать склеротические рассказы о детстве, когда «жизнь была светлой, как родниковая вода», надо и меру знать, не каждый же день, правда?

Тридцать первого января вечером Лаптев должен был выехать в Москву. Тридцатого ему в институт позвонил киноартист и сказал, что приглашает его и Рыбакова сегодня к шести часам на студию: будут показывать картину, в которой он только что отснялся.

— Это еще не официальный просмотр, — сказал артист измученным голосом, — кроме съемочной группы будет всего человек восемь. Так я жду. И Володьке передайте.

Не успел Лаптев положить трубку и дойти до своего стола, как его позвали опять. Услышав голос Эмиля, которому он своего рабочего телефона никогда в жизни не давал, Лаптев сразу разозлился.

— Зайдите ко мне сегодня вечером, — не здороваясь, отрывисто приказал Эмиль.

— Сегодня вечером я занят, — холодно и твердо ответил Лаптев.

— Ах, так! А если я, допустим, болен? Лежу один, некому сходить в аптеку за лекарством?

Голос был провокационно-издевательским, сильным и звучным. Болезнью тут не пахло.

— Повторяю, я занят.

— Чем, позвольте вас спросить?

Это было уже прямое нахальство. Надо ставить точку. И Лаптев тихо произнес:

— Вот что, уважаемый эскулап: а не пошли бы вы... Если вам обязательно требуется плата, я пошлю вам бутылку коньяка Камю. Бандеролью.

В трубке раздались отрывистые короткие гудки.

— Кого это ты послал?— осведомился подошедший Рыбаков. — Крут, батюшка, крут. В голосе прямо — железный металл.

Лаптев кратко объяснил, что привязался какой-то шиз и набивается в друзья, малопримечательная история, а вот другое дело — сегодня показывают фильм, надо быть на студии к шести часам.

Фильм оказался посредственным, а знакомый артист играл в нем просто плохо — напыщенно и фальшиво. Однако пришлось говорить комплименты и пить после просмотра водку.

На обратном пути, уже у самого дома, Лаптев задумался и чуть не наткнулся на слепого. Слепой был маленький и тщедушный, в затюрханном пальтеце и шапчонке, наехавшей на самые глаза. Он медленно и как-то совсем неслышно двигался вдоль дома, шаря рукой по стене. Обычной в таких случаях палки, которой стучат о мостовую, у него небыло, поэтому Лаптев, шагавший довольно быстро, чуть не сбил его с ног. Но, слава Богу, в последний момент заметил и отпрянул, даже лица не успел разглядеть, мелькнуло что-то бледное, маленькое, как бы размытое. Мелькнуло — и пропало. Лаптев, не сбавляя шагу, прошел мимо. И вдруг, отойдя на несколько шагов, вздрогнул. Содрогнулся от непонятно откуда идущего тревожного ползучего чувства.

«Может, я его видел раньше? Нет. Не помню. Да и какая разница — видел или нет. Ладно. Сейчас — вывести собаку, потом посмотреть еще раз доклад и спать. Завтра ехать».

Но противное ощущение не исчезало, скреблось, как мышь, ползало, до самой ночи шуршало и хрустело челюстями и только во сне отпустило.

Пропала собака. Это было непостижимо — вечером Лаптев вывел ее перед сном; когда вернулся, Антонина Николаевна уже спала — света в ее комнате не было. Ефим, как всегда, запер входную дверь на задвижку и крюк, а утром открыл глаза и не увидел Динки. Ее не было на обычном месте в углу, и Ефим решил: псина кусочничает в кухне при Антонине. Однако соседка все еще спала, а собаки не оказалось ни в коридоре, ни в кухне, ни в ванной комнате, куда Лаптев заглянул уж так, на всякий случай. Тогда он подумал, что старуха ночью взяла собаку к себе и теперь вконец избалованное животное валяется у нее в ногах на кровати. Успокоившись, он начал бриться, как вдруг услышал из коридора голос соседки:

— Дина! Дина! Бака! Бача моя!

Через секунду в дверь постучали, и Антонина Николаевна, заглянув, горестно сказала:

— Не хочет. Я ей колбаски приготовила, а она не идет.

— Разве Динка не у вас? — удивился Лаптев.

Потом они искали собаку вдвоем. Заглядывали во все углы, в стенной шкаф — Антонина Николаевна боялась, что Динка заболела и забилась куда-нибудь: «Животные, знаете, не любят, чтобы видели, когда им плохо, это у людей все напоказ.»

Очень скоро стало очевидно — в квартире собаки нет.

Лаптев сидел в кухне на табуретке, он уже опоздал на работу, надо срочно бежать, иначе будет скандал, на десять часов назначено совещание как раз по поводу его завтрашнего выступления на конференции. Напротив стояла, скрестив на груди руки, Антонина и, глядя на него с отвращением, говорила:

— Вы явились вчера поздно ночью, где-то, конечно, выпили, не спорьте, вы это делаете все последнее время, пошли с собакой гулять и потеряли ее. Не спорьте!

К ужасу Лаптева, старуха вдруг начала рыдать, у нее дергалась голова и тряслись руки, но времени на объяснения и утешения у него не было, он побежал на работу.

Собаку надо будет поискать вечером, наверняка бегаёт где-нибудь около дома. Но как оказалась на улице? Антонина Николаевна так горячо обвиняла его...минуточку! Не слишком ли горячо?.. Эта её привычка проснуться ни свет, ни заря, и выносить мусор...

Именно сегодня-то как раз и не хватало этой галиматши с собакой! Вечером поезд, ничего не собрано.

— Нашли Динку? — вот был первый вопрос, которым встретила Антонина Николаевна вернувшегося после работы Лаптева. В вопросе звучала откровенная ненависть и не было смысла — прекрасно видела, что Ефим пришел один. А ведь перед этим он добросовестно обошел все соседние улицы и дворы, спрашивал мальчишек и пенсионеров — никто не видел рыжей собачонки с широкой плоской спиной.

Допрашивать соседку было глупо — как будто она признается! Так что пришлось Лаптеву с испорченным — очень кстати! — настроением гладить себе рубашку, собирать портфель, вспоминать, не забыл ли чего, — бритва тут, зубная щетка тут, папка с докладом... вот болван, чуть не оставил на столе!

Билет на «Стрелу» он аккуратно убрал в бумажник, туда же — приглашение на конференцию, пересчитал командировочные. Как будто все, а времени до поезда еще полно, сейчас восемь, а из дому выходить, самое раннее, в одиннадцать. И Ефим решил пойти поискать Динку еще раз. От Эмиля можно ждать чего угодно, да и старуха со свету сживет из-за этой собачонки.

В прихожей на столике, где телефон, он вдруг заметил записку. Разлапистым почерком Антонины там было выведено:

«Пока вы вчера пьянствовали, звонила ваша супруга. Будет звонить сегодня в половине одиннадцатого».

Ну, дела! Объявилась! Потрясенный Лаптев бросился назад в комнату, кинул пальто на диван и зачем-то выхватил из портфеля электробритву... Погоди. А что, собственно, произошло? Почему она? Узнала, услышала, наконец, про его дела на работе... но ведь она — в Свердловске... Да мало ли кто мог рассказать?.. Приехала к матери, а тут кто-то видел его на

улице с киноартистом... Спокойно. Возможно, рассказали и про Наташу, был же он с ней тогда на просмотре, а такие как она, сразу обращают на себя внимание. И тогда Светка... Возьмите себя в руки, Ефим Федосеевич! По крайней мере, пусть эти руки не трясутся так мелко и противно. Никакого бритья! Это твой звездный час, и ты обязан встретить его как мужчина. Не сидеть тут с бритвой, уставясь на часы, а хладнокровно пойти и отыскать свою собаку, которую выпустила старая ведьма. Ты — руководитель научной темы, ведущий инженер... Но она же была в Свердловске...

Лаптев надел пальто и шапку, медленно — руки все-таки еще дрожали — застегнулся на все пуговицы и твердой походкой вышел из комнаты. Когда он проходил мимо открытой двери в комнату Антонины Николаевны, оттуда громко сказали:

— Уезжаю к сестре в Шапки. На неделю. Квартира пустая, пусть обворуют, мне наплевать!

«Ну и катись!» — мысленно ответил Лаптев.

На улице шел густой вязкий снег, он сразу же залепил пальто и шапку, начал таять, и холодные струйки поползли по лбу и щекам. Лаптев шел наугад, даже особенно не глядя по сторонам, смешно надеяться найти кого-нибудь в этой снеговой каше. Было уже около девяти, через полтора часа она позвонит. Ни одного вопроса он не задаст ей. Ни одного упрека. Спокойно выслушает...

И вдруг Лаптев понял, что идет к нему, к Эмилию. Все верно: вон за тем поворотом — переулок, где стоит дом в палисаднике. Мысли Лаптева болтались где попало, а ноги делали дело, вели его по единственному адресу, куда, скорее всего, прибежала заблудившаяся собака.

— Пожалуй, еще не захочет отдавать, будет нудить, что не уберег...

Когда он вошел в подъезд... там было так темно, лампочка не горела, свет падал только с улицы и, когда Лаптев открыл дверь, ему показалось — он видит на каменном полу чуть заметные мокрые следы собачьих лап.

Он долго звонил, потом стучал. Не открывали. Где же этот больной страдалец? Вчера вон не мог в аптеку сам пойти... Может быть, спит? Лаптев взялся за ручку и тряхнул дверь, нажал плечом, и она вдруг открылась прямо в темную прихожую, из которой потянуло нежилым холодом.

— Есть кто-нибудь?— крикнул Лаптев.

Было тихо.

— Хозяин!— еще раз позвал он. Никто опять не откликнулся, но в глубине квартиры что-то как будто шевельнулось. Скрипнула половица, послышались шаги, и вдруг из темноты в глаза Лаптеву ударил белый свет карманного фонаря. Непроизвольно он прикрыл лицо ладонью, а когда отвел руку, фонарь уже светил мимо него на лестницу. Негромкий и совершенно незнакомый женский голос спокойно спросил:

— Что вам угодно здесь?

— Я ищу собаку. Вы не видели? Она могла прибежать сюда. Светло-рыжая, почти желтая, глаза...

Женщина молчала, и Лаптев тоже замолчал. Луч фонаря беспокойно рыскал по лестничной площадке.

— А где Эмиль?— спросил Лаптев.

— Что такое?!— надменно сказала женщина.— При чем здесь Эмиль? Вы — кузнец своего счастья. И довольны с вас.

Полоснув Лаптева по лицу лезвием своего проклятого фонаря, она взяла его за плечо и с неожиданной силой толкнула с порога на лестницу. Дверь тотчас захлопнулась, грохнул засов, и Лаптев остался один в темноте и тишине.

«Все в том же духе,— с яростью подумал он,— опять мистерия: мрак, шаги в коридоре. И привидение с карманным фонарем».

Он вышел на улицу. Снег не падал, пахло весной. Пройдя полисадник, Лаптев оглянулся и вдруг увидел: а дом-то темный, света нет ни в одном окне. Он всмотрелся, напрягая глаза, — во втором этаже, там, где живет Эмиль, кажется, открыто окно. А в соседнем нет стекла, и внизу два окна забиты досками. Мертвый дом, назначенный на слом.

Но постой! Эмиль звонил вчера утром, велел прийти. А две недели назад я сам ему звонил, сюда, по этому номеру. И осенью заходил. А тут такой вид, будто все жильцы выехали год назад. Запустение... А та женщина?

И вдруг срвершенно явственно услышал далекий собачий лай. Он шел из черной глубины оставленного дома, и Лаптев бросился назад. Прыгая через две ступеньки, он мгновенно взлетел на площадку, кинулся к знакомой двери и навалился на нее. Дверь не поддавалась. Тогда, не помня себя, почему-то дрожа всем телом, Лаптев изо всех сил рванул дверную ручку. Он колотил в дверь ногами, толкал ее, тряс, дергал. Наконец, раздался сухой треск, точно отодрали прибитую гвоздями крышку посылочного ящика, дверь распахнулась, Лаптев бросился вперед и сразу ударился о что-то холодное и твердое. Застонав, он отпрянул, протянул руку, и она неожиданно уперлась в стену. Не веря себе, Лаптев полез в карман, нашел спички, чиркнул.

Старая кирпичная стена, глухая, тронутая плесенью. Спичка погасла.

Внезапно почувствовав страшную слабость и головную боль, Лаптев прислонился к этой стене, минуту стоял в темноте, машинально потирая ушибленный висок, а потом медленно стал спускаться. Голова болела все сильнее.

На улице он взглянул на часы, было десять, через полчаса позвонит Светлана, через час ему на поезд... Но она ведь может позвонить и раньше! Возможно, она звонила из Свердловска, междугородный разговор могут дать в десять сорок, а могут и в десять пятнадцать... А что, если Антонина Николаевна передумала ехать к сестре, на ночь глядя?.. Конечно, сперва: «Я не обязана вести переговоры с вашей бывшей женой», надо попробовать объяснить, что только всего и нужно — отложить разговор на полчаса. Неужели откажет? Это — вопрос жизни и смерти, она ведь не зверь, в конце концов, собак вон любит, а тут — человек. Лаптев бежал через улицу к телефону-автомату.

Он бросил в щель аппарата две копейки, схватил трубку, прижал к уху и другой рукой потянулся к диску. Но номера набрать не успел. В утробе аппарата вдруг громко захрипело,

как в старых стенных часах, которые готовятся отбивать полночь. Лаптев замер, держа палец в отверстии диска, а хрипение внезапно смолкло, и из трубки послышался голос:

— Ну что вам еще, Ефим Федосеевич?— голос был тихим и серым.— Не пора ли, наконец, оставить меня в покое? Ходите, ищите... Я устал и болен.

— Эмиль!— закричал Лаптев.— Эмиль, постойте! Где Динка?

— Нет у меня больше сил, поймете вы или нет? Пьян, если уж вам угодно,— тоскливо сказал Эмиль,— так что извините, если что не так. И, как честный человек, спешу довести до вашего сведения: болен я тогда не был. Сказал, чтобы...одним словом тест. Не нужны мне ваши натужные визиты и беготня в аптеку с перекошенной физиономией. Все это — эрзац. Коньяк и ассигнации в коробках с конфетами. Тоска! А я имел в виду совсем другое. Быть благородным — это счастье, Ефим Федосеевич, это — как любовь, простите за банальность... Да что вам говорить! Неудачник я, мистер Лаптев, карась-идеалист и последний романтик. Дурак, одним словом. Коллекционирую дырки от бубликов. Ну да ладно... А соседка ваша, которой вы в данный момент звоните, удаляется от нас с вами в вагоне электропоезда со средней скоростью восемьдесят километров в час.

— Где собака, Эмиль? Вы слышите? Где Динка?

— Вот кретин: «собака, собака»... А зачем она вам, собака-то? Некрасивая, старая, лапы короткие, похвастаться нельзя... А я опять проиграл. Вот и прощайте.

В трубке шелкнуло, звуки вальса «На сопках Маньчжурии» ни с того, ни с сего, хлынули в ухо ошеломленного Лаптева. Плавные и округлые, мгновенно заполнили они до краев стеклянную будку автомата. Ничего уже не пытаюсь понять и объяснить себе, Лаптев вышел на улицу; он опаздывал, вскочил в первый попавшийся трамвай, проехал три остановки, подождал минуты две своего автобуса, не дождался, озяб и быстрыми шагами направился через пустой, заваленный снегом сад к набережной канала.

Незамерзшая вода была черной, белели покатые берега. Ветер усилился, тряс деревья, стоящие вдоль набережной, только что осевший на ветках снег пластами съезжал вниз.

Узкоплечая шуплая фигура внезапно выросла перед Лаптевым. Он стоял посреди тротуара, человек в нелепой шапке, нависшей, как сугроб, над маленьким бледным лицом. Вчерашний слепой.

Лаптев шагнул в сторону. Слепой — тоже. Безобразные голые веки были похожи на пельмени. Тонкий голос выговорил:

— Гора с горой не сходятся, Лаптев, а Магомет с Магометом — всегда сойдутся. Это — как закон.

И тут Ефим понял: он украл Динку, кто еще? Предлагал деньги, целые пачки, тысячи! Сам не понимая, что сейчас сделает, Лаптев рванулся к человеку, тот не шелохнулся, только распухшие веки медленно приподнялись и черные грустные глаза внимательно взглянули на Лаптева. Он сделал еще шаг навстречу этим глазам, поскользнулся, взмахнул руками и рухнул на тротуар. Правая нога неловко подвернулась, он дернулся от боли, скрипнул зубами. А когда, с трудом поднявшись, осмотрелся, никого поблизости не было, только осыпался с деревьев мокрый снег.

Медленно, прихрамывая на подвернувшуюся ногу, Лаптев двинулся дальше, и тут снова впереди что-то мелькнуло. Он не мог ошибиться — рыжая шерсть, острые уши, темные выпуклые, грустные глаза. Мелькнуло, опять мелькнуло... Он побежал, задыхаясь, хватая открытым ртом мокрый воздух, опять упал, ударился локтем, вскочил...

Не было впереди никого! Не было.

Тупой, тяжелый, как булыжник, порыв ветра внезапно ударил откуда-то сбоку, толкнул Лаптева в плечо, сбил с него шапку, и она, крутясь колесом, покатила с берега вниз, к воде.

Лаптев сделал шаг с тротуара, и тотчас провалился в мокрый снег по щиколотку. Шапка, на глазах погружаясь, уже плыла по черной воде. Чуть пошатываясь, ни о чем больше не думая, Лаптев брел к дому без шапки, в расстегнутом пальто.

Останавливаясь, как старик, на каждой площадке, поднялся по лестнице, опустил руку в карман и тут же вспомнил, что ключ в бумажнике, что после той истории с дырой он всегда носил ключ в бумажнике — для верности.

Уже понимая, что сейчас произойдет, он полез в карман пиджака. Бумажника не было.

Бусстрастная, точно мертвая, выплыла мысль, что Антонины Николаевны нет, не будет до утра. И завтра не будет. А на часах уже десять тридцать пять.

За дверью зазвонил телефон. Лаптев вздрогнул. Телефон звонил непрерывным отчаянными звонками, истошно кричал, задыхаясь, точно на помощь зовет. И, наконец, коротко всхлипнув, затих.

Все кончилось.

ЧЕЛОВЕК ФИРФАРОВ И ТРАКТОР

Ну, чего, спрашивается, он привязался? Тащится сзади вдоль тротуара, какой-то кривобокий, неуклюжий и деревенский.

Фирфаров оглянулся по сторонам и прибавил шагу, слава еще Богу, никто не встретился из знакомых, ведь просто неудобно — идет человек к себе в институт на работу, а за ним — можете себе представить? — плетется какой-то настырный урод, которому место на свалке или, по крайней мере, на селе. И надо же так влипнуть — забыл вчера запереть гараж. Украсть там, правда, нечего — «Москвича» своего накануне как раз отогнал в «комиссионку» — получил открытку, что подошла, наконец, очередь на «Жигули». А утром вышел во двор, и — будьте любезны — оказывается, ворота в гараже нараспашку. И почувствовал себя Николай Павлович таким растяпой, охламоном, тьюшей, а таких ощущений он просто не выносил и имел, между прочим, к тому веские основания.

Как же можно считать, например, тьюшей человека, который к тридцати девяти годам достиг уровня главного инженера проекта, сумел построить себе кооператив и гараж в новом районе и вот теперь, продав «Москвич-408» (в совсем еще хорошем состоянии), покупает «Жигули»? Нет, дело тут, конечно, не в материальных ценностях, и вовсе не в них, напрасно вы думаете, что Фирфаров был каким-нибудь мещанином и барахольщиком, просто он знал, что собственным трудом завоевал право на самоуважение, и не желал, чтобы на это право кто-либо посягнул.

А то, что у всех сверстников Николая Павловича имелись уже давно семьи и дети, а он до тридцати девяти лет дожил холостяком, так это, если вам угодно, свидетельствует только о чувстве ответственности и нежелании подбирать первое попавшееся, чтобы потом через полгода разойтись, делить квартиру, имущество и платить до конца жизни алименты.

Когда-нибудь он, конечно, женится и создаст семью, каждый человек должен иметь семью, в этом Николай Павлович не сомневался, и даже иногда представлял себе, как встретит однажды в Большом драматическом молодую и непременно

очень красивую девушку, не то что расплывшиеся жены приятелей. Одним словом, когда-нибудь будет у Фирфарова семейный дом всем на зависть, но торопиться с этим он не собирался, ему и так неплохо жилось и совсем не скучно — зимой он по выходным катался на лыжах, в отпуск ездил на машине по Прибалтике, захватив с собою кого-нибудь из приятелей для компании, и, надо честно сказать, женатые эти приятели счастливы были вырваться на месяц из своего семейного рая.

Одно немного тревожило Фирфарова: в последнее время стала мучить изжога и ныло иногда под ложечкой. Мама из Мелитополя писала, что это от неправильного питания, и звала на отпуск к себе. Но до отпуска еще дожить надо, а сейчас закрутился — в июле делал сам в квартире ремонт, вообще-то и так было чисто, да подвернулись симпатичные обои — и решил переклеить, теперь вот вся эта свистопляска с продажей машины, а там — новую надо брать. Брать можно бы хоть завтра, очередь подошла, но желательно непременно в экспортном исполнении, а такие будут только в сентябре, в конце квартала, то есть через месяц. Так что насчет поездки в Мелитополь было не решено, а чтобы не получить гастрит, Фирфаров установил себе порядок по четным числам обедать в молочном кафе «Аврора» на Невском, а в остальные дни варил кашу «геркулес», и очень вкусно получалось, не хуже, чем, например, у жены Леньки Букина, у которой все вечно пригорает.

Итак, Николай Павлович Фирфаров стоял, растерянный, около своей парадной и рылся в кошельке, который назывался портмоне. Найдя там ключи с брелком в виде обнаженной женщины из Парижа, он побежал было к гаражу бегом, но представил себе, как глупо выглядит, если посмотреть на него с какого угодно этажа их кооперативного дома, и зашагал вполне достойно — не то чтобы медленно, но и не торопясь.

Украдено ничего не было. Целы оказались и домкрат, и запаска, но посреди гаража — какая нелепость! — стояла, тархтя мотором, эта деревенщина с грязными колесами и надписью на ободранном лбу — «Беларусь». Стояла, уставившись включенными среди ясного утра фарами ему прямо в лицо.

— Этт-то что? Кто здесь?— строго спросил Фирфаров.— Выведите ваш агрегат, тут вам не МТС!

Конечно же, какой-то нахал увидел, что не заперто, и загнал спяну сюда на ночь свой трактор, это у нас так всегда — только не запри дверь, сразу явится кто-нибудь без приглашения, и доказывайте, что вы не верблюд.

И откуда трактор в городе? А впрочем, мало ли откуда — со стройки, да хоть из совхоза. А водитель, естественно, дрыхнет с похмелью где-нибудь тут же, в доме, у родственников: приехал «к сестры».

— Глупость...нахальство...— бормотал Фирфаров, оглядывая двор в поисках хулигана-тракториста, спешащего на место преступления, но обнаружил не его, а с неудовольствием увидел своего бывшего одноклассника, ныне водопроводчика, Григория Болотина, оказавшегося, как назло, и в новом доме соседом Николая Петровича.

— Ну, ты, Коля, даешь! Накопил и машину купил? Чудо техники — «мерседес-бенц!»— заржал Болотин, подойдя и заметив пыхтящий трактор. Ржать Болотин умел с самого детства, при этом он разевал свою пасть так, что она делалась больше всей малопривлекательной физиономии. Сейчас Болотин хохотал особенно противно, загородив пастью весь двор. Зрелище, прямо скажем, весьма неприятное, и Фирфаров даже отвернулся — у него самого полость рта всегда была в полном порядке.

А Болотин прямо трясся от глупого смеха, и вместе с ним клокотал от возбуждения неизвестно чей трактор в фирфаровском личном гараже.

А между тем во дворе начала собираться толпа: дворничиха Полина с вечно багровыми щеками, полуинтеллигентный владелец старого «Запорожца»-броневика и, самое неприятное, два «жигулиста» в заграничных замшевых куртках. Вчера еще импортные «жигулисты» на этом вот самом месте беседовали с Фирфаровым о машинах, завидовали, что у него гараж во дворе рядом с домом, хороший был разговор, на равных, а теперь что? А теперь стоит Фирфаров посреди двора как дурак, как посмешище, а рядом эта керосинка, иди доказывай, что не

твоя. Доказать, конечно, можно и даже нетрудно, но все равно уже попал в глупое положение, теперь до скончания века будут говорить: «А-а, это тот, у которого в гараже — помните?— трактор нашли!».

Нет. Такие инциденты надо прекращать немедленно.

— Убирайтесь вон! Да поживее, слышите?— в отчаянии приказал Фирфаров трактору, и тот, послушно постукивая мотором, сразу выкатился из гаража. На дворе он выглядел еще уродливее и неуместней: непомерно высокие задние колеса и маленькие передние, облезлая краска... Фирфаров, не глядя на трактор, тщательно запер гараж, убрал ключи в портмоне, повернулся и зашагал к воротам, на всякий случай иронически улыбнувшись жигулистам, и даже пробормотал что-то вроде «бывает же!»

«Жигулисты» не услышали, зато услышал Болотин и заорал:

— Бывают в жизни огорченья, когда вместо хлеба ешь печенье!

За спиной Фирфарова опять раздалось его ржание, но это было бы ладно, плохо другое: мотор окаянного трактора учащенно и озабоченно затарахтел, что-то горячее пахнуло в спину, потянуло бензином. Так и есть! Он тащился сзади, этот железный урод!

— А придуривал, что не его!— надрывался Болотин.

До автобусной остановки всего два квартала. Фирфаров прошел их за обычные пять минут, но время-то было потеряно на гараж, и автобус восемь три уже ушел, следующий будет минут через семь и набитый, может не открыться. Так вот и на работу опоздаешь из-за ерунды. Никогда не опаздывал, и, главное, было бы из-за чего! Надо что-то предпринимать.

А трактор подполз к остановке и встал впритык к тротуару. Оглянувшись еще раз по сторонам, Фирфаров влез в безобразную кабину, тотчас же мотор восторженно заревел, затрясся от старательности, и трактор зашкандыбал по мостовой, нахально втираясь между легковыми машинами.

Вообще-то ехать было даже интересно: не нужно опускать пятак, толкаться, передавать чужие, грязные монеты, не нужно уступать место толстым, якобы тяжело больным гипертонией старухам, которые всегда нарочно положат тебе свой живот на колени, или хныкающим деткам, тем, что вполне могли бы постоять, но мама уговаривает: «Садись, Алик, садись, дядя уступит».

Откуда этот сумасшедший трактор узнал дорогу? Они добрались до института на десять минут раньше, чем Фирфаров приезжал обычно. Правда, к самой проходной Фирфаров трактор не подпустил — оставил за два дома, выскочил, и опять никого вроде не было, никто не заметил; короче, обошлось.

Возвращался с работы Николай Павлович, конечно, на автобусе и всю дорогу, сидя у открытого окна, слышал сзади пыхтение и лязг — нахальная машина, громыхая, шла следом.

«Завтра выйду из дома пораньше и поеду в метро. Не ползет же он под землю. Нечего приучать», — решил Фирфаров.

Но назавтра он проспал, потому что сломался будильник, а когда выскочил в семь минут девятого из дома, началась такая гроза, что конец бы финскому костюму, но у самой фирфаровской парадной, растопырив, точно крылья, свои железные двери, топтался вчерашний трактор. Фары его преданно сияли сквозь дождь, как глаза неврастеника, мотор гремел, будто военный оркестр. Дождь тоже грохотал прилично, и, быстро оглядевшись, Фирфаров прыгнул в кабину. А вообще-то в такой ливень никто не станет разглядывать — кто там в тракторе да за чем.

Пока они ехали до института, дождь кончился, но фанатик ни за что не хотел выпускать Фирфарова до самой проходной. А тут, как нарочно, с той стороны улицы прямо к ним направлялась Зоя Николаевна Прозорова, дама из бухгалтерии, самая любопытная и болтливая особа во всем институте.

Фирфаров жиманул на тормоз, но трактор сделал вид, что не слышит. Зоя Николаевна была уже в пяти шагах.

— Слушай, ты! — тихо, но грозно произнес Фирфаров. — Немедленно остановись! Совершенно невоспитанный жлоб! Это тебе не зябь, понимаешь ли... ворошить и не это... окучивать. Ставьте чеазка в дурацкое положение!

Когда Фирфаров волновался, то вместо «человек» производил «чеазка», что, кстати, давно, еще в юности, в старом доме на Петроградской, заметил Гришка Болотин и дразнил Николая Павловича гнусными вариациями этого слова.

На трактор речь Фирфарова произвела сильное впечатление, он разом встал, точно споткнувшись, и Фирфаров выскочил на тротуар навстречу Прозоровой, которая, подойдя, тоже его заметила и подняла было тонкие накрашенные брови, но Фирфаров предупредил ее неуместный вопрос.

— Техника на грани фантастики! — сказал он, кивнув на трактор. — Труженник полей. Хотел вот взглянуть, как у этих динозавров переключаются скорости.

И, подхватив Зою Николаевну под локоть, Фирфаров повел ее к проходной, рассказывая по дороге содержание статьи в журнале «Советский экран», которую ему вчера давал почитать Букин.

Неделю ездил Фирфаров на работу на «козле» — так он про себя назвал трактор, — и очень все удачно складывалось: ни разу никого не встретили, Николай Павлович сэкономил двадцать пять копеек — конечно, ерунда, а ,все-таки, тоже деньги. С работы ездить он считал неудобным: выходит из института вместе с подчиненными, и очень было бы несолидно забраться в кабину «козла» у всех на глазах.

А «козел» всегда упрямо ждал конца рабочего дня, ошивался за углом или напротив института на пустыре и тащился за автобусом как приклеенный.

И дождался-таки своего: в четверг Фирфарова задержал директор, он вышел на сорок минут позже обычного и вспомнил, что на сегодня намечено кафе «Аврора», что ночью мучила изжога, а в кафе этом подлом, чуть опоздаешь, наступишь в очереди и простокваши уже не достанется. Посмотрел Фирфаров налево, направо и сел на «козла». Путешествие прошло вполне благополучно, только на Невском засвистел милицио-

нер, но хитрый трактор, высадив хозяина, тотчас же влез в какой-то двор и отсиделся там, пока свистки не стихли, а потом выкатился опять на мостовую с таким видом, будто он тут работает, производит капитальный ремонт зданий. Словом, довез-таки «козел» Фирфарова до «Авроры», и тот сразу нашел место и заказал свой любимый молочный суп-лапшу.

А в воскресенье они съездили на Сытный рынок и привезли десять килограммов картошки — запас на месяц. На рынок — рассудил Фирфаров — вполне естественно ездить на тракторах, и верно рассудил: нахальный «козел» въехал прямо в ворота и, расшугав бабок, торгующих вязанными шапками анилинового цвета, покатил между рядами. Чуть не раздавив очередь, которая тотчас разбежалась, он высадил Фирфарова у прилавка как раз того мужика, чей товар был самым крупным и чистым, а потом стоял, загородив Николая Павловича от вернувшейся разозленной очереди, для острстки ее разведа дымовую завесу из выхлопных газов. А Фирфаров тем временем наполнял свою сетку отборным картофелем.

Ночевал трактор во дворе, в противоположном от фирфаровского гаража углу, около навеса для мусорных бачков, так что даже сам Болотин не смог бы теперь ничего заподозрить. Впрочем, Болотина Фирфаров не встречал уже целую неделю, «жигулисты» же опять здоровались с ним, как со своим человеком, и даже раз они втроем обсудили положение в Кувейте. Дело в том, что один из владельцев «Жигулей» побывал недавно в этой стране транзитом и успел, не выходя из здания аэропорта, сделать множество интересных наблюдений, из которых на Фирфарова самое большое впечатление произвели серебряный слон величиной с овчарку, продававшийся в киоске «Сувениры» на доллары, а также местные женщины легкого поведения, запросто разгуливающие среди пассажиров в белоснежных нарядах, вроде туник, но с разрезом на боку от подмышки до полу.

— И красотки же все — обалденные, — рассказывал «жигулист».

— У них конкуренция там, — веско предположил Фирфаров, и все согласились, что да, конкуренция, а что же — среди всех профессий в капстранах она имеется, и среди этой тоже.

Так они беседовали во дворе, серьезные мужики, дымили сигаретами, даже Николай Павлович закурил для такого случая, а трактор в это время стоял в своем углу с молчаливым мотором и выключенными фарами — спал.

Но через два дня все-таки разразился скандал.

Только Фирфаров, отдохнув после обеда, уселся с журналом «Наука и жизнь» в кресло, как в дверь позвонили. Звонок был противный, так звонила только Полина-дворничиха. Некогда он первый и единственный раз в жизни вовремя не заплатил за квартиру, и она тут же явилась скандалить и звонила таким же вот визгливым бесконечным звонком. Фирфаров открыл дверь. Конечно же, это была она, вся багровая, не то кирнула, не то от злости.

— Сейчас убери безобразие, не то штраф в двадцать четыре часа! — проорала дворничиха и, повернувшись, стала злобно спускаться по лестнице, а Фирфаров побежал за ней. Так они и выскочили во двор — Николай Павлович в пижамных штанах и выкрикивающая бессмысленные угрозы дворничиха.

Посреди двора зияла пасть Болотина.

— Говорил я — его этот драндулет, — заквакал Болотин, увидев Фирфарова и показывая на забившийся в угол трактор. — Скажешь — нет? Ты! Че-е-ек с одной большой буквы!

Стоило Фирфарову показаться во дворе, как трактор радостно засиял фарами и затарахтел.

— Вот! Вот так и кожно утро! А меня-то мучают, меня-то терзают: кто это спать не дает? Убирай бандуру, а то завтра в товарищеский суд! — завизжала Полина.

— Да причем же здесь я, товарищи, — нарочно очень тихо и спокойно сказал Фирфаров и повернулся к трактору спиной. — Смеетесь, что ли? Я «Жигули» покупаю, все знают...

Но трактор, это идиот, металлолом чертов, выполз из угла, развел пары и остановился рядом с Фирфаровым. Тут Фирфаров увидел одного из «жигулистов». Усмехаясь, тот шел прямо к нему через двор, а подойдя, сказал, не вынимая рук из карманов своей пижонской куртки:

— У вас же есть гараж, коллега. Поставьте свой транспорт туда, и инцидент исчерпан.

— Исперчен!— зогоготал Болотин.— Удавится — не поставит!

И Фирфаров не выдержал. Щеки его побелели, подбородок задрожал. Не помня себя, он изо всех сил пнул железную подножку и больно ушиб ногу. От боли и от обиды слезы подступили к его горлу, и он закричал тонким голосом:

— Что это такое в самом деле?! Что вы пристали к чеазку! Не мой это транспорт! Не мой! Не знаю — чей! И знать не хочу! Он посторонний, посторонний!

И вдруг во дворе стало темно.

Погасли фары, замолчал мотор. В полной тишине трактор двинулся к воротам, беспомощно рыская в темноте, два раза наткнулся на стену, но все-таки нашел дорогу на улицу, будто кто-то толкал его сзади в спину.

— Как же...— забормотал Болотин,— куда это он, на ночь глядя? Эй, друг! Стой, слышь!

— Он же слепой, пропадет!— вдруг закричала дворничиха и побежала в подворотню.

Пожав плечами, Фирфаров медленно вышел за ней, игнорируя Болотина.

Трактор был уже довольно далеко. Приседая на правое колесо, он ковылял прямо на красный свет, кургузный и нелепый рядом со сверкающими легковыми машинами и важными автобусами. На мгновение туристский «Икарус» заслонил его, а когда проехал, трактора было уже не видно совсем.

Фирфаров постоял еще немного у ворот, поежился и пошел домой.

Во дворе Фирфарова нагнала зареванная Полина.

— Зараза! — яркостно сказала она и плюнула ему под ноги.— Наставили в кооперативном дворе гаражей! Все часткову скажу! За квартиру никогда не плотишь...тоже еще...чеазк!..

Фирфаров хотел было поставить обнаглевшую дворничиху на место, но что толку связываться с полуграмотной бабой!

Мокрый холодный ветер дохнул из подворотни, и он вдруг вспомнил, что завтра-то уже осень, первое сентября.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Home Fantasy	5
ПОВЕСТИ	
Сенная площадь	15
Червец	79
РАССКАЗЫ	
Волшебная лампа	251
Коллекция доктора Эмиля	263
Человек Фирфаров и трактор	306

Фирма «ПОЗИСОФТ» предлагает

Впервые на русском языке.

Джон Кристофер

Смерть травы

Хранители

научно-фантастические романы.

Фирма «ПОЗИСОФТ» предлагает вниманию господ читателей романы известного английского фантаста Джона Кристофера «СМЕРТЬ ТРАВЫ» и «ХРАНИТЕЛИ» (серия «Синкс»).

Кристофер — талантливый продолжатель традиций английской фантастической литературы Уэллса и Уиндема. В творчестве Кристофера сочетается сказка и реальность -- в этом он типичный англичанин.

Роман "Смерть травы" -- это первое крупное произведение писателя, с которого началась его слава. Повесть "Хранители" была признана лучшей книгой года для детей.

Перевод обоих произведений специально для данного издания выполнен Ольгой Радько.

СМЕРТЬ ТРАВЫ

... Стоял теплый майский день. По лазурному небесному пастбищу неспешно брели облака. В долине всегда как-то по-особенному ощущалось небо, словно обрамленное окружающими ее холмами.

- Какая мирная, спокойная земля! - воскликнула Анна. - Тебе повезло, Дэвид!

- Оставайтесь, - предложил он. - Нам нужны лишние руки - ведь Люк болеет.

- Мое чудовище зовет меня, - сказал Джон. - Да и дети не станут делать задание на каникулы, пока они здесь. Боюсь, нам придется вернуться в Лондон в воскресенье, как намечали.

- Такие богатства вокруг! Посмотрите на все это, а потом вспомните о несчастных китайцах.

- Ты слышал какие-нибудь новости перед отъездом?

- Увеличилось количество судов с зерном из Америки

- А что слышно из Пекина?

- Официальных сообщений нет. Но похоже, Пекин в огне. А в Гонконге пришлось отражать атаки на границе.

- Очень благородно, - насмешливо произнес Джон. - Вы когда-нибудь видели старые фильмы о кроличьей чуме в Австралии? Изгороди с колючей проволокой в десять футов высотой, и кролики - сотни, тысячи кроликов. Сгрудившись возле ограждения, они давят на него, напрыгивая друг на друга, пока в конце концов, не перелезут через изгородь, или она сама не рухнет под их тяжестью. То же самое сейчас творится в Гонконге. Только, давя друг друга, через изгородь перелезают не кролики, а человеческие существа.

- По-твоему, это также плохо? - спросил Дэвид.

- Намного хуже. Кролики движимы только слепым инстинктом голода. А люди обладают разумом, поэтому, чтобы остановить их, придется приложить гораздо больше усилий. Я думаю, патронов для ружей у них предостаточно, но, если бы даже их было мало, ничего бы не изменилось.

- Думаешь, Гонконг падет?

- Уверен. Давление будет расти до тех пор, пока не уничтожит его. Людей можно расстреливать с воздуха из пулемета, бомбить, поливать напалмом, но на месте каждого убитого тут же окажется сотня из глубинки.

- Напалм! - воскликнула Анна. - Нет!

- А что же еще? Для эвакуации всего Гонконга нет кораблей.

- Но ведь в Гонконге нет достаточного количества продуктов, и, если они действительно захватили его, им придется вернуться, не солоно хлебавши.

- Верно. Но что это меняет? Люди умирают от голода. В таком положении человек способен на убийство из-за куска хлеба.

- А Индия? - спросил Дэвид, - Бирма и вся остальная Азия?

- Бог знает. В конце концов, они получили какое-никакое предупреждение на примере Китая.

- Как же они надеются сохранить это в тайне? - спросила Анна.

Джон пожал плечами.

- Они отменили голод с помощью закона - помнишь? И потом, в начале все выглядит просто. Вирус был изолирован в течение месяца, когда уже поразил рисовые поля. Ему даже придумали изящное название - вирус Чанг-Ли. Все, что от них требовалось, - найти способ уничтожить вирус, сохранив растение, либо вывести вирусоустойчивую породу. И, наконец, они просто не ожидали, что вирус начнет распространяться так быстро.

- Но когда урожай уже был уничтожен?

- Они боролись с голодом - честь им и хвала - в надежде продержаться до весеннего урожая. К тому же, они были убеждены, что к тому времени справятся с вирусом.

- Американцы считают, что смогут решить эту проблему.

- Им удастся спасти остальную часть Дальнего Востока. Спасать Китай уже слишком поздно - отсюда и Гонконг.

Анна смотрела на склон холма. Маленькие фигурки по-прежнему карабкались к вершине.

- Дети умирают от голода, - сказала она, - ведь наверняка можно что-нибудь сделать?

- Что? - спросил Джон. - Мы отправляем продукты, но это каша в море.

- И мы спокойно разговариваем, смеемся, шутим на плодородной мирной земле, - сказала она, - когда творится такой кошмар.

- Что мы можем сделать, дорогая моя, - ответил Дэвид. - И раньше было достаточно людей, умирающих каждую минуту. Смерть есть смерть - случается ли это с одним человеком или с сотней тысяч.

- Наверно, ты прав, - задумчиво проговорила Анна.

- Нам еще повезло, - сказал Дэвид. - Вирус мог уничтожить и пшеницу.

- Но тогда результат был бы менее плачевным, - возразил Джон. - Мы ведь не зависим от пшеницы, как китайцы, да и вообще все азиаты - от риса.

- Ничего утешительного. Наверняка - нормированный хлеб.

- Нормированный хлеб! - воскликнула Анна. - А в Китае миллионы борются за горстку зерна.

Наступило молчание. В безоблачном небе сияло солнце. Слышалась звонкая песня дрозда.

- Бедняги, - сказал Дэвид.

- Как-то в поезде я видел одного парня, - заметил Джон. - Так он с явным удовольствием разглагольствовал, дескать, китаезы получили то, что заслужили, мол, так им, коммунистам, и надо. Если бы не дети, я бы поделился с ним своим мнением по этому поводу.

- А разве мы намного лучше? - спросила Анна. - Мы чувствуем сожаление только сейчас, а в остальное время забываем о них и продолжаем как ни в чем ни бывало заниматься своими делами.

- Нам ничего другого не остается, - сказал Дэвид. - Тот парень в поезде - я не думаю, что он постоянно злорадствует. Так же и мы. Не так плохо, пока мы понимаем, как нам повезло.

- Разве?...

Заказ на данное издание можно сделать в книжном магазине «ЭНЕРГИЯ» по адресу:

Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 183.

НИНА КАТЕРЛИ СЕННАЯ ПЛОЩАДЬ

серия *Сфинкс*

38

